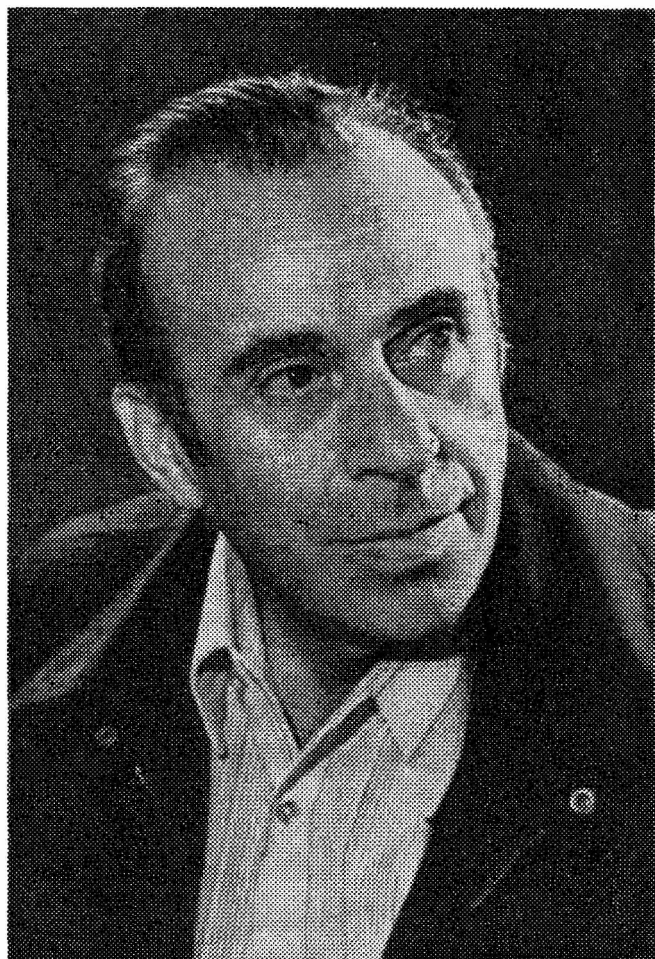


В.КАРДИН

**Открытый
фланг**

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ
ПОВЕСТИ



В.КАРДИН

**Открытый
фланг**

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ
ПОВЕСТИ

**ОТКРЫТЫЙ
ФЛАНГ
•
ВОЗВРАЩЕНИЕ
•
ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ
ЗАПИСКА**

•
МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1989

ББК 84 P7
К 21

Художник Давид ШИМИЛИС

4702010201—097
К _____ 59—89
083(02)—89

ISBN 5—265—00564—1

© Состав, оформление. Издательство
«Советский писатель», 1989

ОТКРЫТЫЙ
ФЛАНГ

ИЗ «ОСОБОЙ» В ОБЫКНОВЕННУЮ

В армии бывает так: приказ как гром среди ясного неба. И — прощай, друзья-товарищи! Тебе — дорога, новые края, новые люди вокруг. С ними жить, нести службу, может, встречать смерть.

От деревни, где размещался наш подрывной отряд, поредевшим перелеском я шел до городка, стараясь угадать причину неожиданного вызова к комиссару бригады.

В отрядах Отдельной мотострелковой бригады особого назначения служили чекисты-разведчики, командиры республиканской Испании, коммунисты из европейских стран, захваченных Гитлером, цвет предвоенного советского спорта во главе с братьями Знаменскими, молодые рабочие и московские студенты. Бригада сегодня широко известна благодаря книгам Д. Медведева, М. Прудникова, А. Цесарского, И. Давыдова, славе, окружающей имена Николая Кузнецова, Кирилла Орловского, благодаря ранним стихам Семена Гудзенко (его «Баллада о дружбе» посвящена погибшему омсбонцу Олегу Чернию).

В июле 1941 года вместе с группой студентов Института истории, философии и литературы я был направлен ЦК ВЛКСМ в эту бригаду. К осени 1942 года, когда мы овладели кое-какой нужной на войне премудростью, успели применить ее на практике, я оказался в отдельном отряде, который предназначался для совершенствования в подрывном искусстве. Сюда приходили бойцы, сержанты, уже взрывавшие мосты, железнодорожные линии, эшелоны, водокачки, минировавшие шоссе и переезды, чтобы изучить новую технику, новые приемы и продолжить прежнее дело.

В отряде я был солдатом, а недавно получил звание заместителя политрука, то есть оставался таким же рядовым бойцом, но с четырьмя треугольничками в петлицах, звездой на рукаве и обязанностью помогать политруку, а в случае чего замещать его.

Военкома бригады старшего батальонного комиссара Майсурадзе — он у нас не с самого начала, заменил убитого предшественника — последний раз я видел в августе сорок второго. Мы жили тогда в новеньких — перед самой войной из-под топора — дачах. Отряды небольшие, у каждого свое задание. В нашем — человек пятнадцать, из них два испанца. На соседней даче — и того малочисленнее — отряд Орловского.

Оба отряда выстроены в две шеренги. Перед строем — Майсурадзе. Фуражка с зеленым верхом (погранвойска), значок депутата Верховного Совета. Военком читает приказ Сталина № 227: «...Пора кончить отступление. Ни шагу назад!»

Майсурадзе сложил приказ, сунул в планшетку, платком вытер изнутри фуражку, лысеющий лоб, дал «вольню».

Мы застыли, онемевшие. Он тоже молчит, бледный, тяжело дышит.

— Можете спрашивать! — Комиссар резко нарушает тишину. — Спрашивайте.

О чем?

Однако кто-то не выдерживает:

— Сталинград захватят, Москву... Тогда что?

Майсурадзе не отводит прищуренных глаз:

— Будем выполнять свою задачу.

— Под Москвой партизанить?

— Да, под Москвой.

...Я вхожу в штаб бригады — наискосок от Курского вокзала, в сторону Таганки — в то время, когда опускают маскировочные шторы, опечатывают сейфы, сдают дежурства. Мне встречаются малознакомые командиры, здороваются, говорят с завистью:

— Повезло тебе...

Майсурадзе кивнул:

— Садитесь.

Смотрит на меня, рассматривает. Подробно объясняет.

Война длится полтора года, рассуждает он. А что такое полтора года, раз немцы в Сталинграде и неподалеку от Москвы? Лучшие командиры, политработники погибли,

ранены. (Эту мысль: в войне погибают лучшие — я не однажды услышу еще от него.)

Глубоко в тылу, в Сибири, на Урале комплектуется армия из старослужащих солдат пограничных войск и некоторых внутренних частей. Майсурадзе назначен комиссаром дивизии. Он отобрал было в нашей бригаде группу толковых командиров, политработников, контрразведчиков. Но начальство отказало: ни одного человека из командного состава.

Майсурадзе толкнул ко мне лист, наотмашь перечеркнутый карандашом:

— А вы не комсостав.

Карандаш обрывался перед самой последней, перед моей фамилией.

— Поскольку остальные товарищи остаются в бригаде, не настаиваю на вашем откомандировании.

Но на меня, видно, произвел сильное впечатление список «толковых», хоть я лепился в самом конце его.

Я сказал о своей готовности ехать в дивизию, и Майсурадзе не без ехидства покосился на меня:

— Здесь особая бригада, там обыкновенная дивизия. Пока еще можно отказаться.

— В особой я уже послужил, пора и в обыкновенную. Он рассмеялся, откинувшись в кресле.

— Я то же самое сказал наркому...

Я сохранил добрую память об особой бригаде подрывников и разведчиков, о царившем в ней духе дружбы и интернационализма, о ее командирах, о товарищах по батальону Прудникова, по отрядам Золина, Ботина, Мансурова, но никогда не жалел о переводе в обыкновенную дивизию...

Вечером радио разнесло весть о начале нашего наступления под Сталинградом...

Наутро я выехал в Новосибирск.

За время службы в бригаде я привык к различным способам передвижения: будь то лыжи, полуторка или самолет, с которым расстаешься в воздухе, услышав команду: «Пошел!» 15 октября 1941 года на пригородной электричке нас доставили в Москву, — мы вышли на темную, кипевшую привокзальными толпами Комсомольскую площадь, с примкнутыми штыками, с маузерами в деревянных колодках, с гранатами за поясом, перекрещенные

патронташами... Теперь предстояло ехать на обыкновенном поезде — паровоз с дымком, проводник с флажком.

В вагоне полумрак, пелена махорочного дыма, запах портянок и пеленок.

Курить я выхожу в тесный коридорчик перед тамбуrom. Оттянув боковые парусиновые лямки, опускаю окно. Стой себе, кури, гляди, как мимо сквозь паровозный дым летит пересеченная телеграфными проводами Россия.

В Новосибирске под штадив отвели Дом колхозника. Дивизия находилась в стадии лихорадочного формирования — одни сбивались с ног, другие томились бездельем, ожидая назначения. Я относился ко вторым. Единственное, что мне удалось, — стать на довольствие. Трижды в день получал в столовой пшеничную кашу с кетой.

Сунулся со своим предписанием в штаб там глянули и направили в политотдел. В политотделе сказали, что никаких замполитруков больше не существует.

Институт комиссаров и политруков недавно был отменен, как и звания политсостава. Вводилось единоначалие и единые офицерские звания.

Первоначально назначенный комиссаром дивизии, Майсурадзе прибыл к месту новой службы заместителем комдива по политической части. (Вскоре эта должность была объединена с должностью начальника политотдела.)

У него хватало забот, и лишь через несколько дней он вызвал меня, не глядя кивнул на стул, протянул газету:

— Читайте.

Я углубился в газетный лист с жирной типографской краской, темными загадочными пятнами клише. Кончив, осторожно положил газету на стол.

Майсурадзе машинально спросил:

— Все? Понравилось?

— Газета как газета.

— Пойдете работать в газету. Понятно?

— Понятно. Не пойду. У меня есть специальность.

Я подрывник.

На мгновение Майсурадзе оживился, гневно и недоуменно поднял на меня глаза:

— Кто ты есть?.. Встать!.. Выполняйте приказ!

Много лет спустя, когда мы с Майсурадзе были уже не начальник и подчиненный, а старые знакомые, он продолжал изумляться:

— Слушай, как ты мне тогда отвечал: «Не хочу», «Не пойду»? В Грузии, даже на гражданке, так не отвечают старшему. Ты был московский хулиган. Почему я тебя не отдал под трибунал?

Тогда и убеждать меня он не считал нужным:

— Нет времени... По коридору напротив сидит батальонный комиссар Комаров, секретарь парткомиссии. Скажи, чтоб с тобой побеседовал о воинской и партийной дисциплине. Не поймешь, пусть заведет персональное дело. Я так велел. Очень хорошо, ай-яй-яй, исключим из партии молодого коммуниста...

Анатолий Иванович Комаров не спешил заводить персональное дело. Он хотел меня перевоспитать. Он говорил вдохновенно, убежденно, но по-домашнему, без пафоса. Маленький, подвижный, быстро ходил по комнате, оставивался передо мной, грозил коротким пальцем. Сердился, если я вставал: «Да сиди ты! Думаешь, дисциплина — когда вскакивают?..» Он красочно описывал, что будет, ежели в условиях войны каждый станет поступать по собственному хотению...

Мне показали политрука Дажина, редактора дивизионной многотиражки. Я подошел к нему на лестничной площадке и доложил, что прибыл в его распоряжение.

Возможно, я доложил недостаточно четко или редактор знал о моем нежелании идти в армейскую прессу. Но не успел я закрыть рот, как он закричал. Кричал долго, прочувственно. Я смотрел на него, высокого, тощего, в короткой серой шинели и буденовке («кадровый»), и думал, что мне предстоит приятная служба под его началом, что за полтора года в бригаде меня столько не воспитывали, сколько за один день в дивизии.

— Вопросы, просьбы имеются? — закончил Дажин вполне официально.

— Одолжите, пожалуйста, десятку... В кино бы...

Дажин опешил, сменил гнев на удивление. Достал из кармана скомканные бумажки, не разворачивая их, ни слова не говоря, сунул мне и припустил вниз по лестнице, перемахивая через ступеньки. Снизу, будто вспомнив, прокричал:

— Работать надо, а не кино глядеть...

Но уже без ярости, скорее для порядка.

Так началось наше знакомство, которому суждено было стать дружбой, тянущейся и поныне.

Лет десять назад мы с товарищем задумали проехать по знакомым с войны местам. Ось наступления танковой армии, в которой он служил, пролегла неподалеку от пути нашей дивизии. На ходкой машине да по асфальту — сто верст не крюк. Будем заезжать, куда каждый пожелает...

Я стою в прибрежной траве. С влажными всплесками плюхается рыба, круги, тая, подкатываются к кустам. Под кустами с плетеными корзинами возятся голые пацаны. Заводят корзину под коряги, пенят ногами темную воду, норовя выманить сома или щуку в ловушку. Чуть выше к реке спускается широкая дорога с рыхлой путаницей подковных следов и россыпью конского навоза — брод.

...Тогда у брода форсировал реку дивизион майора Чмута. Я к нему пришел еще засветло. НП был оборудован в полуразрушенной хибаре где-то тут поблизости.

Спросить у ребятишек? Да они про ту хибару и слыхом не слыхали.

Майор Чмут немного «работал» под Чапаева,— была тогда такая мода. Топорщил усы, покрикивал, отечески матерился.

Уже ночью я попал в соседний дивизион, к Михаилу Камышану, где чувствовал себя всего вольготнее. Здесь не было, кажется, ни одного офицера старш двадцати пяти, господствовали легкие, молодые отношения. Замполит Камышана Сима Воловикис — косо подбритые черные виски — учился до войны в Москве, в авиационном институте. С начальником штаба Лешей Подосинниковым я лежал в одной медсанбатской палатке...

Я вышагиваю по тому же самому берегу. Но вижу: это не тот берег. Форсирование, пушки, торопливо погруженные на сорванные с петель ворота, связист, разматывающий в лодке катушку и беззвучно рухнувший в воду,— совсем, совсем другое, из другой жизни, неправдоподобной для безмятежного августовского дня, для речушки, потревоженной всплесками окуней.

Человечество давным-давно оповещено о невозможности дважды вступить в одну и ту же реку. Мне предстояло сделать скромное открытие, для самого себя: нельзя дважды форсировать одну и ту же реку, первый раз на самом деле, второй — в воображении.

Мы завершили маршрут во Львове. На Холме Славы перед могилой командира 140-й дивизии Героя Советского Союза генерал-майора Александра Яковлевича Киселева впервые за путешествие я испытал волнение, чувство щемящей причастности к прошлому, к человеку, чье имя высечено на черном мраморе.

Тогда, на львовском кладбище, я подумал: путешествия по дорогам войны, залитым новым гудроном, по рекам войны, доставшимся теперь рыбакам, байдарочным туристам и дачникам, — тоже, конечно, приобщение.

Но живая память — в людях. В сегодняшних и вчерашних. Живых и павших...

Приключилась, правда, еще одна дорожная непредвиденность, причастная к предмету разговора.

Несколько лет назад мне посчастливилось ехать на машине из Крыма, из пахнущего степной травой, нагретым камнем и остывшим морем Коктебеля в осеннюю Москву. Переночевав в Курске, мы остановились позавтракать в Фатеже.

В ранний час нас, единственных посетителей столовой, обслуживали радушно, словоохотливо. Если б не это, я не полез бы со своим вопросом. Я спросил, где тут в сорок третьем размещались госпитали.

Молоденькая официантка уставилась на меня:

— Госпитали?.. Сейчас разужаю.

Я слышал, как она крикнула в окно раздаточной, что посетитель спрашивает про госпитали. Потом — обрывки разговора.

Вскоре девушка вернулась. Весь персонал столовой, кроме одной женщины, родился после войны. У женщины сегодня отгул...

Слабеет память у тех, кто был на войне. Естественно неведение тех, кто пришел после. Это — закономерности, безразличные к эмоциям.

Что остается? Помнить.

Никуда нам не деться от нашей памяти. Но если не станет она необходимой девушке из Фатежа, не поможет ей в какую-то минуту, не одарит крупницей душевной ясности, — наша вина. И перед девушкой, и перед теми, кого выносили из фатежских госпиталей и опускали, опускали в братские могилы.

Я много раз слышал и сам повторял: для тех, кто был на войне, война никогда не кончается.

Она кончилась лишь для тех, кто с нее не вернулся. Память о них — продолжение нашей войны.

Где бы мне ни повстречалась братская могила, обелиск, я читаю всю колонку фамилий — от первой до последней. Мое поколение дало более всего павших. Статистика установила, что наибольший процент потерь приходится на родившихся в начале двадцатых годов...

Выпадают минуты — остаешься наедине с собой, оглядываешься вокруг и видишь двор большого, памятного старым москвичам «Курниковского» дома, асфальт, исполосованный мелом: клетки для «классов», линии для лапты, черта для «расшибалочки». Где они, те, что когда-то прыгали по расчерченным квадратам, дулись в «расшибалочку», гоняли в лапту? Скольких из них покосила война?

Предвоенная школа-новостройка в переулке подле Селезневки. Класс, спаянный такой дружбой, что и дня, думалось, не прожить врозь. На «пустых» уроках пели: «Мы так близки, что слов не нужно...»

В ИФЛИ долговязый Шура Мостовенко размахивал длинными руками, читал забавные стихи, казавшиеся ему серьезными. Подслеповатый, медлительный Сережа Ювенальев мог между делом изучить итальянский или шведский. Жора Вайнштейн с запальчивой готовностью лез спорить с кем угодно, о чем угодно...

Они ушли из жизни, нашей сообща начавшейся жизни, обнажив один из ее флангов.

Я назвал это памятью о невернувшихся, мой сверстник и однокашник поэт Д. Самойлов — зависимостью: «Я от них завишу». С годами не ослабевает зависимость. Память бьет в открытый фланг, рождая то боль, то тоску, то сложное чувство, в котором и горечь и печальное сознание невозвратимости нашей юности — трагичной и по-своему величественной...

И это все в меня запало
И лишь потом во мне очнулось.

Очнулось, заставляя припомнить то, что, казалось, безвозвратно кануло. Кануло — и все; так тому и быть.

Выходит, не так.

Ты начинал с ними, числился в общем списке. Каждый прочерк отдавался в тебе все более крутой с годами зависимостью. Как-то — пусть отрывочно и бегло — скажи хоть о немногих. О тех, с кем прошагал добрую толику войны, месил дорожную грязь, скреб ложкой о дно котелка,

судорожно ковырял землю, надеясь, что поспешно открытая щель укроет от пули...

Нет, это не воспоминания в прямом и строгом смысле: процент сегодняшнего, доля соучастия других превышает мемуарную норму. Вернее всего — документальная повесть, записки о 140-й Сибирской стрелковой дивизии.

Я не берусь за ее боевую историю, начатую у Ельца и законченную у пражских стен. Я вспоминаю людей, которых знал на войне, наблюдал вблизи, их судьбы фронтовые, а иногда и повоенные. Буду пользоваться подлинными именами. Редкие отступления не выведут за границы жанра. Читатель легко догадается о причинах вынужденной уклончивости и, полагаю, извинит ее.

Объяснить надо другое. Почему все же «дивизия»?

Я служил в скромных чинах. Был политработником — сотрудником дивизионной газеты, одно время — инструктором политотдела; последний год войны, оставаясь в штате многотиражки, — парторгом управления дивизии. Я из числа немногих, кто начал в дивизии с ее первых шагов и кончил с последними.

Произнося слово «дивизия», я очерчиваю примерный круг записок. Не более того.

Отстав на марше, угодив в госпиталь, каждый — за редчайшим исключением — торопился к себе, в свою дивизию, свой полк, в свою роту. Другое свое отрубила война.

После войны 140-я Сибирская, Новгород-Северская, ордена Ленина, дважды Краснознаменная, орденов Суворова и Кутузова второй степени дивизия была расформирована. Ее знамя передали на хранение, ее оперативные документы легли на стеллажи военных архивов. Обыкновенная дивизия военных лет, сформированная по мере фронтовой необходимости и расформированная, когда нужда отпала.

Но для тех, для кого «война никогда не кончается», не кончается и дивизия.

У каждого она — своя. Помимо официально и документально зафиксированной 140 с. д., было еще столько сто сороковых дивизий, сколько людей прослужило в ней, прошло через ее полки, батальоны, батареи.

То, что я пишу, — это моя сто сороковая. Штрихи человеческих портретов, ставшие в моей памяти ее штрихами.

Многое осталось за пределами мне доступного. Кое-

что из того, что три-четыре года назад всплывало с отчетливой ясностью, расплзается, теряет контуры. Ты гонишься за ускользящей памятью и досадливо думаешь: с каждым годом погоня эта будет все менее успешной.

В намерении дополнить, в чем-то оспорить меня, может быть, возьмутся за перо и другие. Тогда из общих воспоминаний, из общих поисков, возможно, и родится «История 140-й Сибирской».

Ни у кого нет монополии на память о дивизии. Но у каждого есть право.

Самая добросовестная биография способна вызвать полемику, оспариваться теми, кто знал ее героя, и наивно было бы уповать на единодушие по поводу наброска биографии дивизии, то есть тысяч людей. Неизбежно подвергая себя риску, утешаешься сознанием: «должен же кто-нибудь» — и мыслью, сформулированной в предисловии к жизнеописанию знаменитого историка Т. Грановского. Автор его А. Станкевич писал:

«Они (друзья.— В. К.), знавшие его лично, может быть, всех менее могут быть удовлетворены ею (биографией.— В. К.), но им дорого все, что хотя бы слабо напоминает о нем. Эта уверенность вселяет в нас надежду, что они простят нам недостатки и неполноту нашего биографического очерка».

Строки эти написаны свыше ста лет назад, в 1869 году.

...В первое время после войны мы почему-то мало интересовались друг другом. На площади Маяковского я встретил одного из офицеров нашей дивизии. Сперва удивились, обрадовались. Потом закружили вокруг: «Как ты?», «Где ты?», «Да ничего, понемножку» — и ни с места.

— Может, зайдем, посидим...

Зашли в ресторан «Баку», посидели. А разговор все такой же пустопорожний. Надели шинели, прогулялись по сочившейся осенней слякотью улице Горького.

— Ну давай...

— Ну бывай...

В одну из годовщин окончания войны я пришел на площадь Свердлова. Меня затащило, поглотила толпа старых кителей и новых мундиров, пиджаков, платьев с орденами и колодками.

Люди всматривались один в другого, радостно и печально обнимались, оглядывались вокруг в безотчетных поисках того, что миновало, тех — кого уже нет (а вдруг

да есть?) Рождалась новая общность, не укладывавшаяся в штаты прежних рот и дивизионов, заставлявшая немо стоять перед бумажным листком, старательно приклеенным скотчем к стволу яблони: «Кто знал моего дедушку — Сухачева Бориса Павловича?» Ниже добавлено: «лейтенант». Еще ниже — просьба позвонить по такому-то телефону...

Я перешел на другую сторону площади, к памятнику Марксу. У памятника было многолюдно. Я не всех узнавал, и не все меня узнавали. С кем-то здоровался, с кем-то обнимался, кому-то неуверенно пожимал руки

Улыбающийся Игорь Финицкий, такой же ладный, как прежде, румянец во всю щеку. И сейчас в военной форме. Его друга Бармашова укатали, видно, крутые горки. Из далекого города он прикатил на такси. («У меня директор автопарка — приятель».) Не успел побриться. Бармашов останавливает одного, другого, пристально выспрашивает:

— Не узнаешь? Приглядиись получше...

Не дожидаясь ответа, поспешно подсказывает:

— Я это — Юрка Бармашов. И зови: Юрка.

В суматошном потоке, который обрушивается на каждого, что ни встреча — печальные вести. («Журавлева помнишь? Ну да, полковник, в пенсне. Помер». Спустя несколько лет: «Давидюка, начальника связи, нет уже... Борис Щербина ездил в Казатин хоронить».)

И неотвратимые эти напоминания укрепляют властную зависимость. Закон тающего ряда (как давно, как неумолимо он тает): оставшимся достается то, что несли ушедшие. Их груз. Их память. Покуда ты в ряду, слушай, вспоминай, всматривайся в лица...

Время по-разному обошлось с людьми. Иных измяло до неузнаваемости, иссекло морщинами лица. Бравый, подтянутый офицер превратился в тучного словоохотливого отставника. Иные же словно не задеты годами.

Много женщин — прежних санинструкторов, медсестер, полковых и санбатских врачей. Они съехались из Сибири — там комплектовалась дивизия, из Западной Украины — там она расформировалась. Больше было вдов и одиноких. Приехало немало и вполне благополучных жен, матерей. Назавтра им предстояло поспеть в ГУМ, в «Детский мир», в Мосторг...

Женщины, как видно, точнее и острее чувствовали нерушимость того, что на годы и годы связывало всех

нас, образовав заповедный мир — непредвиденное продолжение того давнего, пылающего, грохочущего. В нем, давнем мире, где неумолимо являла себя истинная ценность слова и поступка, ты, застигнутый сегодня бедой или обидой, порой безотчетно ищешь прибежище. Вспоминаешь тех, с кем связан войной, и счастлив, когда связь эта уцелела, возобновляется без усилий. Когда она спустя долгие годы продолжает прежние дружбы, надежды, разговоры...

Мы сели на скамейку с Катей Камышловой, врачом из Канска. В сорок третьем она, свежеиспеченный командир госпитального взвода, входила по утрам в нашу палатку, решительная и суровая, с головой, напоминавшей одуванчик,— только еще отрастали волосы после весеннего сыпняка.

В письме домой 22 августа 1943 года,— отец сберегал мои письма, недавно я натолкнулся на них, целая коробка из-под пластинок,— строчки о «враче, которая меня лечила. Это одна из самых светлых встреч в моей жизни. Замечательная, скромная женщина, совсем молодая, очень заботливая. Она убежденный лепролог¹ и интересно об этом рассказывает».

Четвертого августа 1944 года в польском городе Санок при неожиданном налете немецкой танковой колонны Камышлова была ранена в ногу, в коленную чашечку. Плохое ранение. Госпитали, операции, больницы...

Долгие годы я ничего не знал о Кате. Сейчас — постоянные письма, ежегодные встречи.

Я по-прежнему вижу в ней врача милостью божьей. Катя написала мне, как ее ночью вызвали к заболевшему ребенку и как она ехала в буран, в мороз. Я посочувствовал: легко ли! Она ответила: «Вы ничего не поняли, это — счастье...»

К нам на скамейку подсаживались, разговаривали. Многие искали Камышлову. Она сидела, склонив седую голову, застегнув до ворота плащ.

Сто сороковая в нарядных платьях, туфлях, в отутюженных пиджаках с воскресными галстуками собирается на площади Свердлова. Шесть часов вечера. Очередной послевоенный год.

¹ Лепролог — врач, лечащий прокаженных.

Комплектоваться дивизия начала в недостроенных цехах Новосибирского авиазавода, а кончила в землянках и деревнях. Продолжалось это каких-нибудь два месяца, слившихся в памяти в один день, морозный и солнечный.

По снежной целине, проваливаясь по пояс, пехота атакует обозначенного противника. Отрабатывается тема: стрелковый взвод в наступлении. Потом рота. Отработали батальон. И вот уже на платформе разнеслось: «По вагонам!»

С курьерской скоростью мчались эшелоны. На станциях под парами ожидали сменные паровозы. Утром останавливается состав, со скрипом откатываются по железному желобу двери теплушки, солдаты спрыгивают, на ходу расстегивают штаны, а над паровозом уже белое облачко гудка.

Под Москвой скорость иссякла. В морозном тумане прорисовался шпиль Казанского вокзала. Поворот, еще... мелькнула башня Ленинградского, гребень Ярославского.

— Будь друг, прикрой дверь, на улице не лето...

Я сел к «буржуйке», протянул ладони к ее прозрачно алеющим от жара бокам.

На юг едва-едва двигались по забитым железнодорожным линиям.

От Ельца пеший марш на запад.

Продовольствия и фуража — две сутодачи. Механической тяги нет, автотранспорта нет... А что есть? Приказ идти, метельное бездорожье.

Пристали некормленные, некованные лошади. Упала, моргнуть не успеешь — голый скелет да на оттаявшем снегу сизые внутренности. Но лошадей — раз-два, и обчелся.

Минометы, пулеметы волокли на себе. Пушки — в бурлацкой упряжке, 30, а то и 40 километров в сутки. Преимущественно ночами, чтоб не засекала вражеская авиация. Но за ночь при скупых харчах и такой выкладке сорокакилометровую норму не осилишь.

Днем иногда пригревало солнце, набухал снег, мокли валенки. К вечеру замерзали, звенели как железные.

Дмитрий Дажин и на марше вел дневник. Сегодня передо мной его поспешные записи. («Сгодятся — пользуй», — сказал он.)

Описана в них и наша с ним встреча в пути, минутный разговор о сухарях — ни у меня, ни у него нет; потом

раздобыли полбуханки. Блуждания по снежной степи. Знакомство с солдатом по имени Прохор (фамилия не записана). Солдат в дороге пересказывал «Жана-Кристофа». Любил Ромена Роллана. Сам по специальности водопроводчик.

«Больше всего боюсь,— признался он,— чтоб душа на войне не ожесточилась. Что к немцу злость большая, это понятно. Но чтоб эта злость осадка не дала вообще...»

Я шел с 96-м полком. Числился представителем политотдела. Командир полка Александр Сергеевич Григорьев и замполит майор Леонид Федорович Поляков в моей помощи не нуждались. Она могла пригодиться разве что Коле Абраменко — вместе несли станину «максима». С Колей мы быстро сблизились. Он мурлыкал «Синюю рапсодию», вспоминал районную газету, где прежде работал.

Полковник Григорьев шел в общей колонне и легко вступал в разговор с бойцами. Он был их попутчиком в долгой и тяжелой дороге.

Дажин в записках своих заметил: «Вести серьезные политотдельские беседы в такой обстановке немислимо. Слушать не станут. А так, за «жисть» потолковать — охотников много».

Григорьев и толковал.

Курскую дугу непосредственно выгибали части первого эшелона. Зимнее наступление напоминало о себе выглянувшими из-под снега пушками, скособочившимися танками, автомобилями без скатов, грузовиками со сдернутым брезентовым верхом, обломком самолетного крыла, четкой надписью на бревенчатой стене: «Belegt 2 Abt»¹.

Двадцать суток длился марш — около четырех сотен километров. Едва приняв боевой участок, не успев подтянуться полностью, мартовским вечером дивизия с ходу бросилась в наступление.

Солдаты бежали по рыхлому снегу. Вскидывали винтовки, стреляли, помня наказ экономить патроны. Перебежали, стараясь не высыпать из котелков отрытую перед боем картошку. Падали убитые, и из вещевых мешков высыпались картофелины.

Из-за ледяных укрытий, бревенчатых огневых точек немцы били пулеметными очередями. Целиться по серым

¹ «Занято 2-м батальоном» (нем.).

цепям на белом фоне нетрудно. Когда цепи все же приблизились, вышли фашистские танки.

Подходили новые батальоны, подтянулся весь арtpолк. Но снарядов — кот наплакал. Атаки выдыхались, в разгар боя иссякали огнеприпасы.

Откатывались поредевшие роты.

Был ранен и отправлен в госпиталь командир дивизии генерал М. Еншин, убит его заместитель, убит начальник разведки.

Две недели атак, две сотни метров отбитой у врага и возвращенной ему земли. Из окрестных хуторов и деревень застряли в памяти два названия: Ржавчик и Муравчик.

Дивизию вывели из боя, она заняла оборону во втором эшелоне 70-й армии.

Апрельское солнце быстро расправилось со снегом. Началась распутица — распутица на черноземных орловско-курских землях. Машины намертво застряли там, где последний раз повернулось колесо. Шоферы рассеялись по близлежащим деревням в надежде на местные ресурсы и крестьянскую благосклонность.

Специально назначенные подразделения пешком доставляли сухари. Их несли в больших бумажных кулях. До войны в таких кулях продавали древесный уголь. Пока несли, часть сухарей превращалась в труху.

На подогретом солнцем косогоре, на исходящей паром земле полукругом лежат солдаты. В середине на плащ-палатке старшина распределяет по кучкам сухари, делит крошки. Снова пересчитывает бойцов, проверяет кучки, отбавляет от одной, присыпает к другой. Солдаты вяло следят за его движениями. Лениво поднимаются, каждый забирает свою порцию...

Почему я вспоминаю об этом сегодня? Да потому, видно, что, как однажды занес в свой фронтовой блокнот Валентин Овечкин: «Не дай бог помнить только росписи на рейхстаге и забыть про Керчь, забыть про немцев под Эльбрусом».

Знаю, сколь прочно в каждом, кто выжил, засел март — апрель сорок третьего года. Ржавчик и Муравчик...

В мае 1943 года дивизию принял генерал-майор А. Я. Киселев. В одном из полков генерал Киселев собрал старшин и рассказал им, как варят зеленые щи и как надо насыщать солдат витамином С. На совещании строевых командиров, где речь велась о дисциплине в бою, он припомнил случай

сорок первого года. Отступает в растерянности батальон, сержант подбегает к лейтенанту: «Прикажите мне остановиться, занять оборону».

Я писал, что многие командиры пришли в дивизию из погранвойск. Смелости им не занимать, исполнительности, сознания ответственности тоже. Они пеклись о бойцах и голодный марш переживали как личную трагедию. Однако им не хватало опыта общевойскового боя, знания общевойсковой тактики. Сейчас этот пробел восполнялся.

Занимались все и помногу, с реальным ощущением будущего боя и противника. Учились прорывать сильно укрепленные позиции, крушить новинки гитлеровской военной техники — «тигры», «пантеры», «фердинанды». В газете печаталась схема «Уязвимые места немецкого танка».

И не переставая рыли. Сколько переброшено лопатой курской землицы! Наверно, метрополитен можно было отгрохать.

Дивизия зарылась, ушла в землю. Дневное передвижение вне траншей и ходов сообщения запрещалось. В окопах жили, ели, спали.

В предвидении боев проводилась обкатка танками. Сидишь, зажавшись в щели, а на тебя с грохотом и жаром ползет танк. Навалился, закрыл небо, обдал теплым железно-солярочным дыхом — и пронесло. Развернулся, снова уютит.

Учились наступать, прижавшись — «ближе, ближе!» — к своему огневому валу.

По затвердевшим, уже пылящим дорогам везут не только хлеб, мясо, неистребимый концентрат — суп-пюре гороховый. Ночные дороги режут, гудят машинным потоком. Высунулся солдат поутру из землянки, а из-под знакомого кустика торчит труба гаубичного ствола, на месте другого — танковая башня, там роют капонир для «катюши», там укладывают снарядные ящики, натягивая поверх маскировочную сетку. До чего же мила солдату такая теснота!

В последних числах июня я угодил в комиссию, направленную в 96-й полк на предмет проверки котелков и портянок. Угодил единственно по причине недокомплекта. Когда в какой-нибудь комиссии кого-нибудь не хватало, вспоминали про нашу редакцию.

Я видел: в комиссии собрались доки, мне остается

быть пятой спицей в колесе. И отправился за материалом для газеты.

Полк жил сосредоточенной, размеренной окопной жизнью. На небе — редкое облачко, редкий самолет-разведчик. Целыми днями я бродил по ротам, делал записи, собирал заметки. Вечера проводил с Ваней Сытником, комсоргом полка, Ваней Маломановым, комсоргом батальона. Коля Абраменко стал адъютантом полковника Григорьева и зазывал меня в гости. Мы читали «Красную звезду», размышляли, как оно будет после войны, спорили, кто к кому должен ехать в гости... Через год его, уже командира батальона, сразило прямым попаданием.

В самом начале июля комиссия завершила свою деятельность. Среди прочих подписей я поставил свой крючок и хотел возвращаться в редакцию. Но последовал приказ Майсурадзе: оставаться в полку представителем политотдела.

Григорьев объяснил: дивизия приведена в боевую готовность, с минуты на минуту начнется...

Какой из меня представитель! Не советы же мне давать людям, куда более сведущим? Но и полковник Майсурадзе не чудил, не до чудачеств было. Он не обольщался насчет моего опыта.

Откуда он получал сведения о том, что творится в полках? Три основных источника: личные встречи и посещения, политдонесения, доклады политотдельцев. Самому всего не охватить, политдонесения — документ сухой, лаконичный, склонный к неизменным формулировкам и к запозданию. Тут-то и дорого живое свидетельство.

Во фронтовых мемуарах военачальники нередко бранят это обыкновение — посылать представителей. И то сказать, кто только не направлял своих уполномоченных и толкачей, — дивизия, корпус, армия, фронт; общевойсковые штабы, штабы артиллерии и тыла; политотделы, политуправления, военные советы. Перед иным боем у несчастного командира полка соберется добрый десяток представителей. Удел! он каждому полчаса, на свою часть не останется минуты...

Из всего сонма представителей я был самым «неглавным», самым «своим», особенно в 96-м полку, в дивизионах арtpолка. Да и не лез с советами, ценных указаний, «цеу», как говорят в армии, не давал. Занимался своим газетным делом, смотрел по сторонам, наблюдал из любопытства и по долгу представителя. Но положил

себе за правило: прежде чем уйти из полка, из отдельного батальона, доложить замполиту все, что доложу Майсу-разде. Никаких сюрпризов за спиной. Да и как знать, не сгодится ли замполиту что-нибудь из замеченного мной. Все-таки лишний глаз.

Потому, вероятно, на меня не обижались, не косились, я не чувствовал себя ни ревизором, ни варягом, потому сохранялись добрые отношения с замполитами Прохором Ивановичем Черновым, Александром Ильичом Шматовым, Иваном Михайловичем Филатовым, Иваном Пименовичем Татаринцевым, Сергеем Николаевичем Косяковым, Иваном Филипповичем Яцурой. Вспоминаю их с уважением, благодарностью. Думаю, и они не таят против меня дурного.

Утро 5 июля так же безоблачно, как предыдущие дни. Безоблачно над боевыми порядками нашей дивизии. А правее — мы отлично видим — подымались и оседали грузные облака. Самолеты — и это нам видно — снижались каруселью и взмывали, будто подброшенные взрывной волной собственных бомб.

В то утро перед атакой немецким солдатам зачитали патетический приказ Гитлера: «С сегодняшнего дня вы становитесь участниками крупных наступательных боев, исход которых может решить войну. Ваша победа больше, чем когда-либо, убедит весь мир, что всякое сопротивление немецкой армии в конце концов все-таки напрасно... Мощный удар, который будет нанесен советским армиям, должен потрясти их до основания... И вы должны знать, что от успеха этого сражения зависит все...»

Не знали мы тогда этого обращения, но чувствовали: от успеха начавшихся боев зависит многое. Нам, солдатам и пехотным офицерам, невдомек было, что гитлеровское командование нарекло свою операцию кодовым названием «Цитадель». Но догадывались о ее направлении и задачах, о надеждах, возлагаемых на нее вермахтом.

Все как предполагалось: немцы рвутся по радиусам, ведущим к Курску. А мы — почти в центре полуокружности, во втором эшелоне. Они рассчитывают захватить нас в кольцо, размолотить авиацией, смять снарядной бурей, растоптать гусеницами.

Не отводя глаз, глядели мы на северо-восток и ждали команды. Приказ последовал назавтра, 6 июля. Дивизия — машинами и в пешем строю — перебрасывалась на стык 70-й и 13-й армий.

В пути автоколонну обстреляли. Не думаю, чтоб прицельным огнем. Но снаряды рвались неподалеку. А когда неподалеку рвутся снаряды и посвистывают осколки, люди вздрагивают, втягивают головы, ищут укрытие, хоть кочечку какую-нибудь, бугорок.

Но никто не выскочил из кузова без команды, ни одна машина не остановилась без приказа.

Не стану уверять, будто не случалось оплошностей, неувязок. Командир 258-го сп на марше утратил управление батальонами, они замешкались и в район сосредоточения прибыли с немалым опозданием. Командир был тут же отстранен, его место занял майор Василий Михайлович Иванов.

Наши полки занимали рубеж, к которому отходили, сдерживая натиск, 6-я гвардейская и 175-я стрелковая дивизии.

Встреча с отступающими — солдаты с почерневшими лицами, рваные шинели, бинты, серые от пыли, бурые от запекшейся крови, — не лучшее предзнаменование.

Но и отступление отступлению рознь.

Помню, в ноябре сорок первого года наш отряд ехал на задание. Где-то за Клином машины нагнали кавалерийскую дивизию, сформированную в Казахстане. Справа по обочине двигались к фронту не обстрелянные еще эскадроны, а слева, в тыл, — эскадроны, уже потрепанные, поток раненых людей и лошадей. Самый горестный признак: отступавшие частенько шли и ехали без оружия.

Бойцы 175-й дивизии, встречавшие 96-й полк, отступали, среди них тоже много раненых. Но это были не разбитые части; если у солдата ранена рука, автомат болтается на шее.

Полк занимал оборону в тылу 175-й дивизии, зная: завтра тыл этот станет огненной чертой переднего края.

Я попросился с полковником Григорьевым. Он сказал:

— Ты вольный казак. Сам выбирай пулю для своей головы.

Возле «тридцатьчетверки» со свежими рваными вмятинами на броне Григорьев окликнул командира. Из башни вылез лейтенант, соскочил на землю: Полковник отозвал его в сторону, усадил рядом на траву. Григорьева интересовало, какие танки немцы пустили, сколько, как взаимодействуют с пехотой, какой наш снаряд берет «тигра».

Командир экипажа отвечал толково; когда не знал — не придумывал.

— А сами подбили? — прощаясь, спросил Александр Сергеевич.

— Так точно, товарищ полковник!

— Спасибо за помощь и службу!

Утром слегка познабливало — от рассветной ли свежести, от бессонной ночи или от того, что открывалось перед глазами.

По южному склону широким валом спускались танки.

Мы на артиллерийском НП — изгиб окопа, стереотруба, рация, телефонист, рядом — замершая пехота. Пробовали считать танки. Получалось по-разному. Да и как считать? Из-за гребня выползают новые машины, а в первых рядах черными чадящими свечами догорают подбитые. Те, что ползут, отбрасывают направо густые разлапистые тени.

Офицеры-артиллеристы кричат в трубку, когда обрывается связь — на телефониста. Снаряды летят с невидимых от нас закрытых позиций. Но десятки, сотни орудий бьют прямой наводкой, поднимая перед стволами пыль, оглушая всех вокруг.

Немецкие танки обходят пылающих собратьев и вскоре вспыхивают сами. В невозмутимом, методичном упорстве, с каким невредимые танки огибают уже подбитые, проступает что-то угрожающее, леденящее спину.

Но это еще начало, еще утро, еще солнце видно.

Появится авиация, и остановится время, солнце утонет в дымной пелене, загорится земля. Сперва займется трава возле окутанных огнем танков — так и останутся черные плешины вокруг почерневшего металла, сады у пылающих деревень, запекутся яблоки на обуглившихся яблонях. Потом все вокруг станет ревушим пламенем, воздухом, раскаленным от раскаленного металла — осколков, пуль, орудийных и пулеметных стволов. Батарейцы сбросят гимнастерки, нательные рубахи пойдут на перевязки — индивидуальных пакетов не хватит. Запершит в горле от гари, приторно-сладковатого трупного смрада.

В духоте этой пыльной горечи, в неумолчных раскатах и столах минует день, лишенный протяженности. Ночь приглушит дневные звуки. Заурчат машины со снарядами, тягачи зацепят пушки, повезут на новые позиции, командиры будут выкликать, повторяя фамилии, ожидая ответа — ранен, убит, может, заснул в окопе. Заржут лошади,

запряженные в батальонные кухни. Звяканье черпаков по котелкам, заплечным термосам...

Похоронные команды стаскивают тела в воронки — своих и немцев.

На обгоревшей, недавно еще устрашающей лобовой броне «тигра» выведено мелом: «Учтено трофейной командой».

9 июля, когда солнце перевалило зенит, полковник Гусев, человек хитроватый, медлительный и хладнокровный, надумал контратаковать. Он показал своему соседу по НП, командиру минометной бригады, на скопление немцев. Тот наклонился к стереотрубе. У бригады имелись свои цели. Но велик соблазн, — повернуть ноль пять — и все. Бригада без пристрелки дала налет. Гусев бросил поредевший полк в контратаку и продвинулся на полтора километра. Это был первый наступательный успех дивизии.

Можно описывать словами. Можно цифрами, которые тут сильнее слов.

За каких-нибудь двадцать минут 7 июля противник обрушил три мощнейших артиллерийских налета на Самодуровку и восточную окраину деревни Теплое. В это же время сюда сбросили бомбы полсотни самолетов. Шло в атаку около ста танков.

В первые два дня, то есть 7 и 8 июля, на нашу дивизию наступали две немецкие танковые дивизии (6-я и 20-я) и одна пехотная — 7-я.

8 июля «ожесточенность боев нарастала с каждым часом. Особенно сильным был натиск врага в стыке 13-й и 70-й армий в районе населенного пункта Самодуровка»¹. Там и сражалась наша дивизия. В этот день, прежде чем солнце начало клониться к закату, батальоны капитанов Митрофанова и Грешнева (96-й полк) отбили пять атак, в каждой участвовало до пятидесяти танков...

Довольно цифр. Первейшая задача тех июльских дней — лишить немцев таранного танкового прикрытия — легла прежде всего на артиллерию, батареи прямой наводки. Намертво застывший ствол против накатывающейся на него огнедышащей брони.

Не с НП, а здесь же, в открытом поле, перекрывая грохот, охрипшими голосами отдавали короткие приказы командир дивизиона Иван Митрофанович Чмут, командир

¹ «Великая Отечественная война Советского Союза 1941—1945. Краткая история». М., 1965, с. 240.

батареи Иван Михайлович Кузюков, командир расчета сержант Василий Андреевич Пода...

И броня, прославленная, легированная, высокосортная немецкая броня, сдала, словно бы лопнула от небывалого непредусмотренного накала. Спешившие за ней потные солдаты в расстегнутых серо-зеленых мундирах с закатанными рукавами падали на горячую землю. Как бежали волна за волной, так бессчетными волнами полегли на холмистых полях в самом центре России.

И. Эренбург писал: «Немцы недаром с ужасом говорят о наших артиллеристах. Я завидую товарищам Пода и Чмут. Вот кто бьет фашистов оптом. Желаю боевого успеха»¹.

Не только артиллеристы уничтожали закованную в броню технику. Пехотинец Сало одним из первых подбил «тигра» противотанковой гранатой. Тяжелую эту гранату далеко не закинешь — надо либо танк подпустить к себе, либо самому подползти к нему. Между солдатом и «тигром» оставалось пятнадцать метров.

Ефрейтор Патогов подбил танк уже после того, как он миновал его окоп. Страхнул с себя землю и швырнул гранату.

Из противотанкового ружья — не ахти какое мощное оружие это самое ПТР — рядовой Горюнович перебил гусеницы у двух машин. Неподвижный танк — полтанка. На него найдется снаряд, граната, бутылка с горючей жидкостью.

Старший лейтенант Неронов первым в нашей дивизии из ПТР сбил пикирующий бомбардировщик. (Вовек не забуду Колю Неронова, почти мальчика. Попав в медсанбат, он с ложки кормил тех, кто не мог шевельнуть рукой, умывал, выхаживал, как сиделка. Позже Коля погиб...)

9 июля пал в бою парторг 96-го полка капитан Котов. На его место заступил старший лейтенант Стариков. Тяжело ранен замполит Поляков.

Сержанты Кефидов, Захаров, Попредухин в разгар атак командовали взводами, заменяя выбывших офицеров...

Схватки завязывались в самых невероятных обстоя-

¹ Дажин переписывался с Эренбургом, рассказывал ему о боях и героях дивизии. Два из ответных писем были напечатаны в нашей многотиражке. Генерал Киселев приказал зачитать их перед строем.

тельствах. Немцы-автоматчики пробирались в тыл, «тигры» выныривали возле командного пункта полка...

Многое ли попало в донесения, реляции, на страницы дивизионки? Лишь часть событий и имен, даже, вероятно, небольшая. Большая погибла вместе с теми, кто совершал подвиги и был их свидетелем.

...С той поры, как я узнал эту цифру, она всплывает в мозгу в самые неожиданные минуты: на эскалаторной лестнице метро, в зале кинотеатра, в воскресной толпе, на праздничной встрече в День Победы. Я пытаюсь представить ее себе не голым числом, а живыми людьми.

513 человек было убито в дивизии за один только день 10 июля 1943 года.

В рукописных заметках начальника штаба армии В. М. Шарапова мне попала такая фраза: «Упорно дрались в окружении 7-я, 8-я роты 96-го стрелкового полка, а когда в расположение рот прорвались танки противника, роты погибли, но не сдались врагу».

Известное переплетается с неизвестным. На воронках, превращенных в холмики братских могил, ставили — и то не всегда — фанерные обелиски. Имена не писали.

Мы придирчиво допрашиваем свою память, рассылаем запросы. Но ответы скупы.

Среди тех, о ком узнала, кого запомнила дивизия, — сержант Петр Алексеевич Ерипалов, парторг 3-й роты 96-го полка.

Ерипалов участвовал в рукопашной схватке, когда уже не поймешь, где кто. Был ранен, остался в одиночестве. Окруженный немцами, бросил себе под ноги противотанковую гранату.

Взрыв взметнул комья сухой земли, пыль медленно развеивалась, оседая на рожь, истоптанную гусеницами и сапогами...

Через два месяца в боях за Новгород-Северский сержант Афанасий Симаков прикрывал своим пулеметом перегруппировку роты. Вражеский снаряд ранил Симакова в ноги, разбил пулемет. Когда немцы навалились, сержант взорвал под собой противотанковую гранату.

Известное и неизвестное складывается в один непреложный факт. Кровью своей и своей стойкостью 140-я дивизия обессилила, обескровила противника. Вместе с соседями вынудила его отказаться от наступления, от грозного, честолюбивого замысла и занять оборону. А потом сломила оборону и рванула вперед.

Безбрежная зелень сгущалась в балках, перелесках и блекла на покатых гребнях.

Сейчас — слепящая желтизна с редкими зелеными вкраплениями.

Тогда стоял июль, сейчас — август. В сочную июльскую зелень впечатывались рваные черные пятна. И отражением вспухали в блеклом небе темные разрывы бризантных снарядов.

Тогда был тысяча девятьсот сорок третий год, сегодня — семьдесят третий. Преодолев тридцатилетие, мы вернулись на желтую грядку Тепловских высот, потому что для нас они оставались высотами 216,5; 217,7; 234, 5; 259,0; 237,0; 274,0 — последней природной препоной к северу от Курска. Бешеным в ярости стадом валили к ним немецкие танки. Хотя такой боевой порядок не предусмотрен уставами, но бронированная лавина, менявшая на ходу равнение и скорость, более всего походила, когда вспоминаешь сейчас, на дикое стадо. Вырвись оно на вершины Среднерусской возвышенности — и простор для маневра, обзор до Фатежа, под огнем главная коммуникация, связывающая передовую с тылом...

Многое из творившегося здесь в том июле не согласовывалось с обычными представлениями и правилами. 122-миллиметровые гаубицы не предназначены для стрельбы прямой наводкой. Однако Василий Андреевич Пода бил с нулевого прицела, лоя приземистый танк в перекрестье панорамы.

Озираясь по сторонам, что-то прикидывая, Василий ищет свои огневые. Жилистый, длинноногий, коротко подстриженный; по-мальчишески торчат уши, весело морщит нос.

— Скажешь: не изменился. Мне все говорят. Может, правда. Я и сейчас молодой, — через два года на пенсию. Двадцать лет по горячей сетке, в термитном цеху. Да и вечером — туда-сюда. Я ж печник еще, каменщик...

Он прочен в привязанностях и прирастаниях. Как был для него первым человеком командир батареи Кузюков, так и остался. Едва разыскал после войны адрес, наострил к нему лыжи...

Книги написаны и фильмы сняты про то, как, намереваясь согнуть дугу в кольцо, рвалась к Курску с юга и севера немецкая броня, как высокосортный металл,

уверенный в своей сокрушающей неуязвимости, превращался в чадящий металлолом — предмет заботы трофейных команд. («Тигру» дырявую на тракторе приволокли, — рассказывал старик колхозник в Теплом. — Ну, железа и железа, а сколько людей сгубила!»)

— Сколько, — задумчиво повторил Болонин. — У меня в роте было сто двадцать человек. Два часа контратаковали вон там, в жите. Трое остались...

Он при орденах, в мундире с подполковничьими погонами.

— Расстегнулся бы, Саша, — прошу я.

— С высоты спустимся, мундир под мышку.

Все эти годы, поначалу ничего о нем не зная, я берег фотографию, подписанную «Сашка Б.», с короткими карандашными строками: «Будем живы, вспомним дни фронтовой жизни. 7.10.44. д. Мшаны».

На снимке — красивый, высоколобый малый, радостно глядящий в объектив. На нем кособокий, весь в складках китель. Не иначе, доморощенный портной-солдат расстарался для командира батальона. (В Карпатах Саша командовал батальоном.)

Когда я принялся за документальные записки о нашей 140-й, среди материалов мне попалась реплика о награждении А. Д. Болонина орденом Александра Невского:

«Командир 2 сб 283 сп капитан Болонин А. Д. в боях с немецкими захватчиками за дер. Прыштата и дер. Пленкув (Львовская обл.) 22—23 июля 1944 г. под непрерывным арт., мин. и пулеметным огнем смело и решительно действовал во встречном бою. Руководимый им батальон с хода в ночных условиях атаковал немцев. Лично сам капитан Болонин А. Д. вел своих бойцов в атаку...

В последующих боевых действиях батальон, управляемый капитаном Болониным, все поставленные боевые задачи выполнял с честью и умело».

На высотах между Теплым и Молотычами, где контратаковала рота тогда еще лейтенанта Болонина и десятки других стрелковых рот, где било оружие сержанта Поды и сотни других орудий, пролегал рубеж не только оперативно-тактический — последний для немецкого наступления и исходный для нашего, — но и тянувшийся сквозь жизнь каждого, кто остался в живых, рубеж, что по сей день отдается памятью и болью, тревожной потребностью найти собственную точку, с какой он начался для тебя.

— Тут, точно говорю, тут стояла моя батарея, — возбуж-

денно твердит Андрей Ременюк, вытирая красную шею, потную грудь.

— Чего ты видел сквозь кусты?

— Тогда кустов не было,— объясняет рассудительный Павел Букаткин.

— Точно, не было,— подхватывает Андрей.— Танки вон оттуда... в девять ноль-ноль...

Человек восемьдесят из Иркутска, Москвы, Кишинева, Волгограда, Ивано-Франковска, Красноярска глядели по сторонам, отыскивая свой ровик, подбирая черные смятые гильзы. («Дай очки. Плюс полтора? Молодой еще. У меня плюс три».) Сверх общей памяти у каждого своя, личная. Собственный обломок Курской дуги.

На западной окраине Теплога я нагнулся за ржавым осколком и поймал себя на мысли: тот самый, что впился мне в ногу. Вгорячах, не заметив раны в руке, я вырвал его за торчавший из икры зазубренный конец. Рядом пылала штабная изба 96-го полка. Ефрейтор Сабликов вынес из огня полковое знамя. В щель, где вповалку набились офицеры, прямехонько угодила бомба. Среди яблонь рвались снаряды истребительной батареи. Начальник штаба 96-го Борис Чугунов прижимал к груди папку с документами, в правой руке стискивал пистолет. Пистолетом он ткнул шоферу полуторки в мою сторону:

— В Фатеж, в госпиталь.

До Фатежа я не добрался. В Молотычах на командном пункте дивизии отыскал начальника политотдела. Майсурадзе велел Дусе, жене, перебинтовать меня. Пока она разрезала сапог (я с горечью подумал: «Не видать мне больше яловых, дадут кирзу»), накручивала бинт на руку, на ногу, Майсурадзе, не отводя глаз от карты, с неизменной въедливостью тянул из меня детали обстановки. Две роты 96-го полка бились в полном окружении, лишённые связи и поддержки.

— Долго будешь терзать человека? — вступилась Дуся.— Раненый ведь.

— Не умрет.

Дуся налила из фляги полстакана. Я нерешительно протянул левую руку. Неудобно вроде бы при начальнике политотдела. Но Арчил Семенович великодушно кивнул.

— С кем ходил во второй батальон?

— С Ваней Маломановым, Колей Абраменко.

— Коля-Поля, Ваня-Маня... Детский сад, понимаешь. Водку-то научился хлестать...

Через четверть века после этого разговора я встретил в Омске фронтового друга. От пола до потолка — стеклянная стена, схваченная алюминиевым переплетом. По ту ее сторону — Иртыш, по эту — ресторан «Маяк».

За столиком напротив — мужчина лет под шестьдесят. Серый пиджак, из-под широкого лацкана — орденская планка, рядок выцветших ленточек. Щеки впали. Очки без оправы. Зачесанные назад седые волосы.

— Простите, я не ослышался, вы упомянули Абраменко? Не сочтите за труд: как его имя?

— Николай.

Глаза прищурены, веки дрожат.

— А отчество?

Мы с товарищем переглянулись: в те времена обходились без отчества.

— Когда он погиб?

— В конце сорок четвертого.

— В конце, говорите... Он не из Сумской области?

— Не похоже. Мы проходили Сумщину. Он бы сказал.

— Мог и не сказать.

— Мог.

— Простите, бога ради, нарушил вашу беседу.

Через пять минут.

— Извините меня. Ваш Абраменко — офицер?

— Вначале был сержант. Погиб старшим лейтенантом.

Командовал батальоном.

— Батальоном... Стрелковым батальоном... Не из танкистов?

— Пулеметчик.

— Бывало, и танкист делался пулеметчиком.

— Бывало. Но кто-нибудь из нас знал бы.

— Ваш Абраменко — украинец?

— Возможно.

Не проходит и пяти минут:

— Каков он из себя? Извините, прошу покорно.

— Плотный, волосы темные.

— Вы уверены, что он в начале сорок третьего был сержантом?

— Все мы, трое, в одно время получили по лейтенантской звездочке. Это уже, наверно, весной было.

— Еще раз приношу извинения. Не смею больше досаждать вам.

Поздравил официантку. Расплатился. Поклонился нам. Серый пиджак колыхался на сухой спине...

Майсурадзе, продержав меня минут двадцать, направил в госпиталь, опрометчиво развернувшийся на окраине Молотычей. Тогда, в сорок третьем, как и в семьдесят третьем, лето выдалось сухое, безветренное, яблочное. Госпитальные палатки белели среди яблонь, клонивших к земле отяжелевшие ветви.

Не прошло и часу, госпиталь смело огневым налетом. Запах эфира перемешался с запахом гари и взрывчатки.

Мы, «ходячие», брели стежкой по бескрайнему зеленому полю, тронутому первой желтизной. С трудом ковылявший русоголовый солдат с черным от солнца, усталости и щетины лицом неодобрительно посмотрел на мою набухшую кровью перевязку, извлек из болтавшегося на одной ляжке вещмешка новые байковые портянки и туго накрутил их поверх влажных бинтов.

Где она, узкая стежка через поле, на котором рвались, заставляя нас прижиматься к вздрагивавшей земле, тяжелые, гулкие снаряды? Думали мы тогда, что спустя тридцать лет вернемся на эти поля? Кто мог предугадать неотвратимость такого возвращения?

Был, пожалуй, один такой человек.

Генерал Киселев не слишком жаловал на фронте «личную жизнь» и на рапорте одного офицера, просившего узаконить приказом его брак, начертал: «Штаб дивизии не загс, я не поп». Когда «личная жизнь» очень уж расцветала, принимались меры по охлаждению: накачки, а также «задушевные беседы» о моральном облике и товарищеском отношении к женщине. Не помню, помогали они или нет.

Но женитьбу военврача Лидии Ждановой и начальника штаба батальона связи Александра Гаркавенко генерал Киселев благословил. Явился на свадьбу и, желая молодым счастья, сказал вроде бы так (я при этом не был, передаю из вторых рук): «Кончится война. Убитые останутся в земле, а живые разбредутся по ней. Хорошо бы иметь дом, где и через десять лет смогут встретиться однопольчане...»

Сам он, видно, не надеялся дожить до мирных дней...

Лида и Саша Гаркавенко выполнили предсмертную волю Александра Яковлевича Киселева. Годами, десятилетиями собирали они сохранившуюся лишь в архивных реестрах дивизию. Писали, запрашивали, рылись в документах. Искали адреса живых и могилы павших. Случалось, натыкались на безразличие. Чаше — получали поддержку. Особенно в Курске.

Сюда они приехали в двадцатипятилетие Орловско-

Курской победы. С ними был Пода, еще несколько человек. В столовой Пода заметил одноногого мужичонку в линялой командирской фуражке. Вася, как всегда полон доверчивого сочувствия, прицелился веселым носом.

— Кого шукаешь, служивый?

— Сто сороковую...

Так курский колхозник Петр Михайлович Ефименко после долгих лет прибил к своей давно расформированной части. Все бы хорошо, да одна забота — отыскать, если жив, конечно, Сашу Штреймана. Не было ближе окопного друга. А из Совгавани рядовой Штрейман бомбардировал письмами Гаркавенко: нет ли какой-либо весточки насчет Ефименко П. М.

Они встретились в Москве, в традиционный час 9 мая. Два солдата и женщина, вынесшая их с поля боя — Серафима Зубченко (по мужу Кузнецова). Вынесла, не веря, что выживут. Ну, а о встрече — и в мыслях не держала...

Начавшийся на Тепловских высотах рубеж, сохраняя свою топографическую непреложность, связывает и издавна помнящих друг друга, и порядком позабывших, и минутно встречавшихся где-нибудь на переправе или в медсанбатской палатке, и тех, кто, казалось бы, не имеет точек соприкосновения.

— Привез книжку? Тот написал, в синем берете.

С этого начала Галя, едва мы увиделись в Курске. Она вообще не признает предисловий. И никогда не признавала. Навестив меня однажды под Москвой, с ходу кинулась в атаку:

— Ну, как ты живешь?

Галя произнесла эту фразу с интонацией, с какой ее обычно произносят: не столько спрашивая, сколько осуждая, в незыблемой уверенности — уж мне-то доподлинно известно, как надлежит жить.

— А на столе что делается? Бумаги, книги, календарь, письма. Сплошной хаос. Я бы за такой кавардак погнала уборщицу.

Святая правда, погнала бы! У нее в гостинице порядок, чистота. Я в этом убедился, когда двенадцать лет назад волей случая попал в небольшой городок и, отодвинув обычную табличку «Мест нет», робко протянул в окошко коман-

дишовочное удостоверение. Полная женщина, оторвавшись от книги, безразлично взглянула на него, потом обалдело уставилась на меня, вскрикнула, выскочила из своей каморки.

Узнать ее было непросто. Я ее помнил худой — тоненькой она никогда не была, — отутюженная, две складки к нагрудным карманам — гимнастерка, белый подворотничок, ладная суконная пилотка. Она всегда любила порядок. Не то чтобы по-женски, а как-то официально. Землянку, где жили она и Петр, украшали плакаты, портреты вождей. Стоило мне появиться, она критически кривилась: «Нарушаешь форму одежды. На правом погоне не хватает звездочки. Если на бриджах кант, то и на гимнастерке положено. Скидай гимнастерку, подошью».

И тогда, юная, потерянню влюбленная в Петра, она обо всем судила резко, с вызовом. Петр называл ее маршалом: «Товарищ Маршал Советского Союза, разрешите обратиться...» — «Маршал не маршал, да уж не дурее вашего...»

Следовал очередной разнос какого-нибудь командира.

Еще Петр называл Галю «ошибка родителей». Это ее собственные слова. Она считала, что по ошибке родилась девочкой, должен был получиться мальчишка.

Пожалуй, в батальоне, где Петр занимал должность адъютанта старшего (так она называлась, эта должность: не начальник штаба, даже не старший адъютант, а именно адъютант старший), последнее слово нередко оставалось не за Петром, не за комбатом, а за Галей, командиром санитарного взвода.

Когда мы так неожиданно встретились в шестидесятом, когда перебрали в прошлом то и это, она сказала:

— Про меня частушка сложена:

Вот и кончилась война,
И осталась я одна.
Я и лошадь, я и бык,
Я и баба и мужик.

Она растила сына, ухаживала за матерью, помогала брату-инвалиду. Приезжала на наши майские встречи в синем костюме, нацепив медали и всевозможные значки — отличника, передовика, ударника.

После войны работала в гостинице дежурной по этажу — командовала горничными; потом администратором — командовала дежурными; потом директором — командовала администраторами. В кабинете у нее висели грамоты, окаймленные мощным позолоченным багетом.

— Ты мне разъясни: этот Дом творчества наподобие гостиницы? Почему дирекция не следит — вода из крана капает. А пылица-то!

Она пнула ногой ковровую дорожку.

— Название придумали — Переделкино... Что переделывают-то? Рабочее место надо содержать в полном порядке.

— Ради бога, — взмолился я, — уймись.

— Ну хоть книги уложу. Надо жё, — она осуждающе усмехнулась, разглядывая обложку, разрисованную желто-черными игрушками. — Ты, кажись, из детского возраста вырос... А за окошком это писатели гуляют? Вон тот, в беретике, кислород усваивает?

Я взял у нее из рук книгу, подвинул пепельницу.

— Помолчи пять минут, покури.

Я раскрыл книгу и принялся читать:

— «На лед осторожно по крутому деревянному настилу спускается грузная, низкорослая женщина лет сорока. Но как только коньки коснулись льда, будто сбросила на настил груз лет... И тот, давний, довоенный, последний день на катке и нынешний слились в один живой, солнечный, карусельный, и между тем и этим днем не было ни войны, ни потерь, ни родов, ни воспитания детей, ссор, семейных неурядиц, болезней, тоски, бессонницы. И круг за кругом на коньках возвращается в свою молодость, юность, и ветер, и солнце, и с высоких гор, с белых облаков спустились и закружились вокруг Ольки, Сережки, Валерки, и совсем не убит, а вот стоит там, под знакомой старой, белой от инея ивой, и ждет ее с непокрытой головой, в свитере с оленями, он, первый, шестнадцатилетний, и улыбается ей, и она улыбается ему. Круг за кругом, все легче, все быстрее скольльзящий шаг, и теперь уже нет ни воспоминаний, ни сожалений, только ветер в лицо, и солнце, и Жизнь».

Галя сидела, по-мужски стиснув в зубах сигарету. На груди тяжело вздымались значки и медали.

— Кто написал, какой человек? То ж моя жизнь...

— Вон тот, в синем беретике. Кислород усваивает.

...В Курске я дал Гале книжку с желто-черными игрушками на обложке. Но не стал говорить, что того, в синем берете, уже нет в живых. Что позади у него война, окружение, тяжелые рубежи, многотрудная писательская судьба с обязанностью жить не только своей, но и ее, Галиной, жизнью...

Августовское солнце пекло нещадно, и бывшие командиры рот, орудий, батальонов делали пляжные тубетейки из носовых платков. Петр Михайлович Ефименко в выцветшей офицерской фуражке хлопотливо хромал от одной группы к другой. Он ощущал себя здесь хозяином, и до чего же ему хотелось, чтобы нам приглянулась прошпигованная металлом курская земля, полюбились Тепловские высоты, где на метр чернозема и сейчас до ста сорока осколков, чтобы мы почувствовали красоту волнами плывущего к горизонту желтого поля.

А мы все глядели и глядели вдаль. Туда, откуда катили танки, отбрасывая косую черную тень, сливавшуюся с гусеницами...

* * *

К середине августа 1943 года из медсанбата выписались Леша Подосинников, Валя Осёлков, Коля Неронов. После нескольких операций у меня, наконец, извлекли осколки, и рука, хоть гноилась, но подживала. Правда, как-то уродливо, с какими-то «пышными грануляциями». Зато рана на ноге заросла благополучно. Я поглядел на скошенный парусиновый потолок палатки, достал из-под носилок вещмешок, из-под изголовья — свой ТТ и дареный трофейный пистолет, вороненый красавец. (Лейтенанта Николая Эпова отправляли в тыл с тяжелым ранением, он оставил свой пистолет, — существовал у нас такой обычай.) Закинув на плечо вещевого мешок, никому ничего не сказав, я покинул медсанбат и, опираясь на палку, поковылял в сторону КП дивизии.

Я переоценил свои силы. Ночевать пришлось в пути. Забрался в сарай с сеном, уснул и проснулся от обжигающей боли в покореженной руке. Боль была незнакомая, точечная. Точка передвигалась. Под повязку пробралась блоха.

На следующий день добрел до редакции и начал понемногу работать. Самым трудным оказалось бриться — рука не доставала до щеки. (В санбате меня брил Коля Неронов.)

После орловской победы, после короткого отдыха дивизия продолжала наступление. Пришло пополнение — молодые ребята, вчера из школы.

Под Севском юные солдаты дружной гурьбой бежали в атаку. Раненые звали маму. Из этого пополнения в дивизии остались единицы.

Бои на Десне, за Новгород-Северский, отличались ожесточением. Немцы зубами вцепились в высокий берег.

И все-таки Десна была форсирована, Новгород-Северский освобожден. На рассвете 16 сентября 283-й, а за ним и остальные полки вступили в город. С этого дня дивизия именовалась Новгород-Северской.

До 1 ноября Сибирская, Новгород-Северская, преодолела реки Снов, Трубуж, Сож. Впереди был Днепр.

Из походных невзгод, мартовских неудач, кровавого поединка под Орлом дивизия вышла с победой, большей, чем только фронтовой успех. Она обрела истинную свою сущность — дух и искусство наступления.

ИЗ ПИСЕМ

«...Наконец станция разгрузки — Елец. Без задержки марш в направлении на г. Фатеж. Навсегда запомнилась мне цена соли — какой-то период ее не было совсем. Когда ослабевшие кони не могли тянуть пушки, им помогал личный состав батареи.

К рассвету 7 июля орудия, пушки, боеприпасы закопаны в землю. Для личного состава отрыты щели. В дальнейшем каждый рыл себе ровик — меньше вероятность попадания снаряда или бомбы. Только не успели закопать в землю лошадей. Это привело к тому, что 90 процентов всех лошадей погибло от массированного удара авиации. Старшина батареи Сарапулов и командир отделения ездовых Меньшиков со слезами на глазах добивали изуродованных животных...

Много можно написать о героизме солдат в бою — он был массовым. Мне хочется отметить наводчика Галимзана, который вел огонь с оторванными пальцами руки, пока не упал от большой потери крови. Так же героически вели себя сержант Беспалов и сержант Бурда, который погиб от тяжелого ранения в голову под Севском.

Хочу отметить самоотверженное поведение командира батареи Гусева Николая Ивановича. Он погиб в районе Днепра...

В. Салтымаков»

«...Пишу Вам как однополчанину. В этом случае легче писать, не боясь критики за стиль письма и за его судьбу.

Я бывший инженер 96-го Читинского полка, 140-й Сибирской дивизии. Мы оба были в те дни рядом, около командира полка Григорьева в дер. Самодуровка и Теплов.

Будучи на НП с Григорьевым, я считал немецкие танки, идущие на наш полк. Это было 8 июля. Полковник спросил меня: «Воронков, посмотри, что это за деревня правее Самодуровки». А я уже считал в стереотрубу: 177, 178... Остальные выходили из лощины. Я говорю: «Это танки, товарищ полковник». Он выругался и, будучи по характеру спокойным, сказал: «Все вооруженные силы Германии во главе с фюрером идут на наш полк».

За танками с громким криком шла пехота. А я уже смотрел на одного нашего солдата. Он успел только вырыть щель. И я поразился, с каким спокойствием солдат готовился к бою. Стереотруба приближала его лицо. Видны были даже морщины. Солдат раскладывал гранаты, достал патрон. А лавина все шла.

И вдруг чудовищной силы залп. Мы — а нас было тогда четверо: я, Григорьев, нач. артиллерии полка и какая-то девушка, — от неожиданности повалились на землю, друг на друга. Неожиданность прошла, поднимаем головы. Живы. Но там, где шли танки, все черно. Вырисовывается ярко-красное пламя. Немцы лежат. Много танков горит. Остальные повернули обратно. Немцы не вставали, кое-кто вставал, покачивался и опять падал...

Самый тяжелый день у нашего полка был 10 июля. Связь с батальонами нарушена. КП полка в блиндажах в Тепловских выселках. Немецкие танки позади КП. Я и Вася Яковлев, нач. связи полка, остались на этом месте с задачей: я — взорвать все боеприпасы и мины на случай захвата дер. Теплое, Вася — обеспечить связь с батальонами. Слева прорвались автоматчики и танки. 2-й батальон раздавлен. Так мне сказал ст. лейтенант, шедший в тыл с развороченной нижней челюстью.

Немцы сбрасывали листовки: «Сибиряков в плен брать не будем».

Передний край подошел на 100—150 метров к КП полка. Ночью носили в батальоны боеприпасы и питание, днем — бой.

Когда взрывать? Рано взорвешь, оставишь батальон в полуокружении без боеприпасов. Поздно — отдашь врагу. Оставалось взорвать вместе с немцами и боеприпасы. Мы были к этому готовы. Все заминировали и весь день отбивали атаки. Первое время комбаты не признавали меня и Яковлева, но у нас оставалась связь с батальонами и поддерживающей артиллерией, мы стали передовой группой штаба полка. Так было до 16-го. На рассвете прибегает солдат от

комбата-3 Митрофанова. Комбат приказал дать огонь по дер. Теплое. Туда видимо-невидимо заходят немцы. Батальон залег в ста метрах от деревни. Мы стали обзванивать всех артиллеристов: «Выходи и смотри!» (Это когда они не верили, что немцы в Теплом.)

Мы вышли из блиндажа в пять часов утра 16 июля. Со всех сторон из Молотычей начался огонь по дер. Теплое. Это был как победный салют. Минут тридцать над землей стоял высокий столб огня. На следующий день мы шли по этому месту наступая. Трупы, трупы немцев...

Воронков Г. М.»

«...Когда начался бой, только на нашу восьмую батарею двигалось около ста танков. Мое орудие сразу подожгло танк. Он взорвался. Остальные орудия подожгли танки, которые шли в обход. Но тут налетели немецкие самолеты. От вражеской бомбы загорелись ящики со снарядами нашей батареи. Мы любой ценой должны были их спасти. Я, передав команду наводчику Смирнову Василию Ивановичу, с несколькими солдатами бросился тушить пожар. Снаряды были спасены. Я снова был ранен, к двум ранениям — еще одно. В обгоревшей одежде остался в строю до конца боя. А бой длился долго, не помню, сколько времени, не засекали, никто не знал, что останется жив в этом аду. Начались потери. Из моего расчета был убит Хмыря. В этом бою наше орудие сожгло пять танков...

Осколком заклинило поворотный механизм. Нельзя проводить маневр стволом орудия. Мы начали поворачивать станину. Дорога каждая минута, но к нам на выручку поспешило 2-е орудие, которым командовал Витчинкин Виктор. Он погиб. А наше орудие артмастер Гуров сумел под обстрелом отремонтировать. Решали секунды. Немецкая пехота шла в психической атаке и косила нас свинцовым градом. На помощь пришла 7-я батарея. И мы все отбивали, не замечая времени, атаку за атакой. Немцы не выдержали...

Потом они решили собрать все силы и прорвать оборону на Тепловских высотах. Мы заняли новые огневые позиции, и наш командир Кузюков И. М. приказал зарядить орудия бронебойными снарядами и стрелять только на расстоянии прямого выстрела — 400—500 метров. В боях 7—8 июля 1943 года наше орудие подбило и уничтожило 13 танков и больше 50 фашистов... В этом бою большую роль сыграл

командир 8-й батареи ст. лейтенант Кузюков Иван Михайлович. В нашей батарее было много национальностей. В одном моем расчете были наводчик Смирнов, Неустроев, Хурцидзе, Хмыря, Куандыков, Писадзе, Азубеков. И к каждому надо найти подход. Тов. Кузюков И. М. сумел их понять и научить владеть боевой техникой. Когда Кузюкова ранило под Курском, врач убеждал его эвакуироваться. Он сказал: «Как же я брошу свою батарею?..»

Дальше было еще много тяжелых боев, но с Курской битвой не сравнить. Очень хочется разыскать тех, кто еще живой. Особенно Смирнова Василия Ивановича из Ивановской области.

В настоящее время я работаю на Лубенском химфармзаводе машинистом.

По да В. А.»

«...Сейчас, после контузии, не могу вспомнить что-либо существенное. Передо мной лежат фотографии моих товарищей, гляжу на них, а фамилии забыл.

Я только знаю одно: где стоял наш противотанковый дивизион, там не прошел ни один вражеский танк. Так было от Курска до самой Праги.

Вот все, что я могу написать о войне. Она не прошла даром, контузия и глухота дают себя знать ежедневно. А ведь до контузии я был четыре раза ранен. Один раз горел в танке. Это было 5 октября 1941 года в г. Вязьме...

М. Кривошеев»

«...Душой 371-го артполка был его командир полковник Журавлев, который давал отцовские советы и учил, как организовать оборону. Большую роль играл заместитель командира дивизиона по политчасти майор Шматов. Вся работа дала плоды в июльских боях 1943 года...

До нашей позиции с севера доносился вначале еле слышный гул моторов. К восьми часам утра около 200 танков тремя колоннами двинулись на оборону нашей дивизии. Рокот моторов нарастал. Стало трудно говорить, командовать.

Еще 3-4 минуты, и одна из колонн «тигров» будет в 400—500 метрах от моей батареи. Орудия заряжены коммулятивным снарядами, головные танки держим на прицеле. Еще минута...

Первое орудие старшего сержанта Поды В. А. накрыло головной танк. Он вздрогнул и, охваченный пламенем, взорвался. Второй танк загорелся от орудия ст. сержанта Витчинкина...

Пользуясь замешательством среди фашистских танков, мы открыли беглый огонь. Но тут на нашу батарею обрушилось до 25 «юнкерсов». Загорелись ящики со снарядами. Орудийные расчеты бросились спасать снаряды...

Истекал четвертый час боя. Перед батареями нашего полка догорало около 60 танков, а вокруг них, распластавшись на горячей земле, лежало до 900 немецких солдат.

Тут же, на батарее, мы хоронили своих товарищей.

Крупная бомба, упавшая в трех метрах от КП, тяжело ранила начальника штаба 3-го дивизиона старшего лейтенанта Малахиева, легко контузила командира дивизиона Тимофеева. Меня сильно оглушило взрывной волной и засыпало землей. Но ни один из нас не ушел с поля боя.

Огневой взвод старшего лейтенанта Уваровского В. М. огнем своих орудий подбил и поджег три танка, второй взвод лейтенанта Войтова своим огнем отрезал пехоту от танков и вынудил ее залечь...

На рассвете 8 июля немцы начали массированный артиллерийский обстрел. Появились убитые и раненые. Началась совместно с пехотой танковая атака. Головные танки взяты на прицел. Подпустили на прямой выстрел. 40-миллиметровая броня «тигров» не выдержала первых же коммулятивных снарядов. Бой только начинался. Через наши боевые расчеты прошли четыре «Т-34». Они сразу подбили 3 немецких танка.

Однако фашистская пехота местами просочилась к нашим окопам. С большим трудом бойцам 96-го полка в рукопашной схватке удалось отстоять свои позиции...

12 сентября 1944 года в боях на подступах к местечку Романув в 11 часов дня я был тяжело ранен. Мина разорвалась в полутора метрах от меня. Меня всего посекло осколками. Я получил семь тяжелых ранений. Мне на месте была оказана первая помощь. В это время нарушенная ранее связь с батареей была налажена, я дал команду, и мы заставили замолчать немецкие минометы. После чего передал командование ст. лейтенанту Уваровскому В. М. Больше участвовать в боях не пришлось, так как пролежал на лечении в госпиталях до конца войны.

В настоящее время работаю инспектором-ревизором Казатинской сберкассы.

Бывший командир 8-й батареи Кузюков И. М.»

Несколько лет назад, 9 мая, Кузюков подошел ко мне, помолчал, приглядываясь.

— А ты вроде не очень чтоб изменился.

— Да и ты...

Вот одно только нелегко себе представить: артиллерист Иван Кузюков — ревизор сберкассы...

«...Все эти годы часто хотелось знать о всех ребятах, которые были всегда рядом со мной. Где они? Как сложилась их жизнь? Кому повезло, кто остался обездоленным? Кто ученый, а кто остался неучем вроде меня?

Перед глазами всегда вставали молодые образы — Ваш (А. Гарковенко.— В. К.), Лидии Михайловны, Новикова, Скалкина, Думенко, Ашуркина, Бучина, Попкова, Сашина, Бори Смирнова, Вани Максимова, Александры Никаноровны и много-много других. Когда перечисляла своих ребят, искренне улыбнулась и вспомнила, как однажды на каком-то привале вечером я сделала хлопцам «услугу». Кто-то из ребят получил водку в ведро и поставил, собираясь поужинать. Вспомнили, что нет воды, меня попросили принести. Я посмотрела — в ведре мало, вылила на пол и принесла им полное ведро. Но когда разобрались, то оказалось: водку я вылила. Я тогда перепугалась, но мои добрые мальчики начали шутить, и каждый зачерпнул по кружке воды и выпил перед ужином.

После демобилизации нам дали памятку о пройденном пути нашей дивизии. Все 22 года этот пожелтевший от времени листок был моим боевым другом. Часто, оставшись одна, я вынимала его и, читая, проливала слезы. Какие только трудности пришлось перенести людям нашей дивизии! Помните наше первое крещение под Орлом? Молотычи — по-моему, так называлась эта деревня. Она соответствовала названию. С утра до позднего вечера были ужасные бои, бомбили так, что содрогалась вся земля. К вечеру заволкло пылью и гарью, все кругом потемнело. Моя выгоревшая, уже белая гимнастерка стала черной от пыли. Но что я, я почти ничего не значила, а все ребята не переставали бегать, соединяя провода. Потом, позже, не помню, какого числа, среди ровного поля на нас налетели самолеты и так бомбили, что в кювете меня подбрасывало над землей. Так было страшно, но я успокаивала себя: что же делать, если это судьба всех людей?.. Вечером у меня было сильное потрясение. Я вскакивала, бежала, но Вы, мой дорогой друг и командир, успокаивали меня добрыми словами:

«Надюша, ведь ты у нас храбрая девушка». Я знала, что была трусихой, но Вы подбадривали меня...

Помните, когда мы находились в кольце, как убило у нас 12 человек?.. Бомба упала у нас на крыше, и меня оглушило. Полуглухую, Вы взяли меня с собой. По пути, там, где подстерегала опасность, Вы брали меня за руку и, как маленького ребенка, вели за собой. Когда пришли к ребятам, все дружно меня встретили, кто мыл мне голову, кто готовил чай, кто писал записку, что не отдадут меня в медсанбат...

Теперь малость о гражданской жизни. Возвратилась домой, кругом была нищета и голод. Дома у нас была беднота, ели кое-что. Хлеб пополам с соломой. Папа погиб, встретила меня мачеха, у которой кроме меня было еще трое детей. Даже такому приему я была рада. Хоть я спала в тепле и спокойе. Скоро устроилась на работу в Куйбышеве телеграфисткой...

Надя Су сл о ва »

Свое письмо, адресованное А. и Л. Гаркавенко, Надя Сусл ова (по мужу Лобуцкая) снабдила просьбой не показывать посторонним. Я написал ей и попросил разрешения опубликовать выдержки. Она мне ответила: «Если мое письмо хоть чуть пригодится, берите его. Я почему-то сомневалась, боялась показаться смешной...»

Как живется? «Осталась верна традициям военных лет. Более 20 лет работаю телеграфисткой. Работа трудная, вредная и, кроме того, неблагодарная. Бросить нельзя, за спиной прожито 46 лет и большой стаж. С нового года обещают сделать шестичасовой рабочий день. Это было бы здорово, а сейчас работаем по восьми часов. Наберемся терпения, подождем».

«...В марте 1943 года, когда начались бои, вся санрота во главе со старшим врачом Яцкаером ушла на передовую, а мы остались втроем: я, Тамара Шейвехман (по мужу Кобец) и еще одна врачиха, которая в эту ночь, когда везли и везли к нам раненых, любезничала с начпродом. Я бегала за ней много раз, вызывала ее к раненым. Глупая я тогда была и молодая. Попадись мне она сейчас, я бы ее застрелила... Мы не знали, куда девать раненых и чем перевязывать (бинты остались в Ельце)...

Когда мы летом перешли в наступление, на дорогах было много исковерканной немецкой техники. Помню, как хоронили майора Логунова — прекрасного командира батальона. Это был русский богатырь и герой...

М. Аверьянова»

На эпизод с той же врачихой я натолкнулся в записках Дажина:

«...Врачиху выругал. Прихожу, она спит. А раненые не обработаны.

— Какого черта задницу греете? Немедленно работать!..»

Про Аверьянову у него сказано: «Боевая, трудолюбивая и товарищеская девушка... У нее в кармане нашлось два сухаря. Пожевали».

Дальше Дажин описывает, как пытался объяснить Марусе причины наших неудач. Но, добавляет он, «сам тоже сомневаюсь в правильности того, что происходит на передовой».

«...Посылаю Вам снимки памятника, что воздвигнут на поле бывших боев, вблизи Теплого, в ста километрах от Курска. Среди открытой местности он виден очень-очень далеко... Красив, печален. С четырех сторон стоят стройные березки, будто охраняя покой погибших.

Рядом с памятником братские могилы. За 50 дней непрерывных сражений сколько пролито крови! Тяжко вспоминать грозное лето 1943 года под Курском...

Е. Камышлова»

ФАКТЫ И СКАЗАНИЯ О ГЕНЕРАЛЕ КИСЕЛЕВЕ

С опасением принимаюсь за эту главу. Хочется убедить, что человек, чье имя вынесено в ее название, достоин чувства, которое у нас вызывал.

Мы можем расходиться во мнении о том или другом офицере, до одури спорить о подробностях боя, о месте фронтового происшествия. В одном мы все согласны — в памяти о генерале Киселеве, Герое Советского Союза.

Сейчас, после долгих лет армейской службы, после Военной академии, я могу лишь подтвердить тогдашнее впечатление, могу сослаться на слова, какие услышал в свое

время от генерала В. М. Шарапова, — он наблюдал за нашим комдивом из штаба армии.

Когда мы заговорили о Киселеве, Владимир Максимович принес пачку бумаг, порылся в них, достал один лист, отчеркнул ногтем абзац. Лист был старый, бумага утратила белизну, углы разлохматились. Я прочитал поблекшую машинопись:

«В этой смертельной схватке бились бойцы 140 с. д., ее командир генерал Киселев, человек скромный, спокойный, часто улыбающийся приятной, располагающей улыбкой. Беспощаден к проявлению в любом виде трусости. Сам храбр».

— Когда писалось? Давненько. 17 либо 18 июля сорок третьего года...

А спустя без малого три десятилетия маршал К. С. Москаленко в мемуарах «На юго-западном направлении» добрым словом вспомнил Киселева:

«Это был человек высоких моральных качеств, незаурядный командир. Скромный и энергичный, он был отличным знатоком различных тактических приемов и широко применял их в боях. Нередко мы поражались, как стремительно добивался он успеха там, где, казалось, требовалось продолжительное время для выполнения поставленной задачи. А. Я. Киселев умело подобрал и помощников себе под стать. А это тоже требовало искусства, которое высоко ценится у нас, военных...»

В мае 1943 года к нам пришел внешне ничем не примечательный человек с генеральскими лампасами. Поначалу у него были рыжеватые усы, но вскоре их сбрил. Росту он чуть выше среднего, сероглаз, русоволос, белесые сросшиеся брови. При первой встрече выглядел моложавым. Тем, кто узнал его в конце сорок четвертого, Киселев уже не казался таким: погрузнел, ввалились глаза, зальсины потянулись к макушке. Но по-прежнему охотно смеялся и круто судил.

По рождению его фамилия — Распопов. Киселевым он сделался не от хорошей, в буквальном смысле слова, жизни. Отец, крестьянин села Подеринка, умер, оставив кучу детей мал мала меньше. Мать раздала их добрым людям на воспитание, оставив при себе старшего сына и старшую дочь. Сашу усыновил местный грамотей — писарь Киселев, дал свою фамилию и отчество. Про родителей Саша узнал лет пятнадцати, тогда же увидел впервые настоящую мать. Но приемную — Дарью Гордеевну — почитал как кровную. В знак благодарности сохранил отчество, фамилию второго

отца. Так и пошло: старший брат Василий Макарович Распопов, младший — Александр Яковлевич Киселев.

Старший вовлек младшего в армейскую жизнь. Он учился в школе краскомов (красных командиров), школа усыновила маленького Киселева, взяла его вначале воспитанником, когда подросток — курсантом.

В 1927 году двадцати лет от роду Александр Киселев окончил Омскую пехотную школу командиров РККА имени М. В. Фрунзе.

В Омске начиналась и военная карьера Киселева и семейная его жизнь. В клубе он вел кружок по изучению пулемета системы «максим» и познакомился с рабочей девчонкой Шурой. Они счастливо гуляли по улицам.

Гулять, правда, доводилось мало, шиковать — того меньше. Получал курсант три целковых в месяц.

Их совместная жизнь — странствия и тревоги. В 1929 году молодой взводный воевал на КВЖД. Александра Никаноровна ожидала второго ребенка, ждала писем. Почта доставляла и похоронные.

В переездах простужались, болели сыновья. Юра выжил, Вова умер. Потом родился Саша.

Служба забирала все время и все силы. Киселев готовился в академию. Первый раз не приняли — молод. Сдавал вторично, сдал блестяще. Хотя общеобразовательная подготовка — три класса церковноприходской школы.

Его сын Юрий Александрович показывал мне тетрадь отца. Неизменная «стрелковая рота в наступлении». Ни одно поколение офицеров не миновало ее. Бросилась в глаза тщательность схемы, интеллигентность почерка, абсолютная грамотность.

Киселев обладал врожденной природной культурой. И упорным трудолюбием.

После академии — служба вдоль напряженно натянутой линии границы, финская война, Карельский фронт.

О границе узнают и пишут, когда вспыхивают инциденты, попадают нарушители. Всего этого доставало в предвоенное время в местах, где служил подполковник Киселев. Но помимо событий, становящихся всеобщим достоянием, на границе течет жизнь, отличная от всякой другой.

Границу нарушают не только злонамеренные диверсанты и лазутчики. Собака может перебежать, курица забредет. Во имя добрососедских отношений живность должна быть возвращена. Представители сторон идут в условленную точку «на свидание». Ничего особенного. Одна деталь:

пока идет наш командир, его держит на мушке снайпер-пограничник сопредельной державы, а наш снайпер держит офицера, идущего с той стороны. Если что-нибудь не так, либо снайперу почудится, что не так, он нажимает спусковой крючок.

По долгу службы Киселев ходил «на свидания». Александра Никаноровна сидела дома, считала минуты. Он-то ей ничего не говорил, она ни о чем не спрашивала...

Немало уже лет было прожито вместе, а Александра Никаноровна все открывала в муже новые свойства. Теперь не приходилось считать копейки, к подъезду подкатывала машина. Но: «Машина не тебе, Шуручка». К вещам — безразличие, пренебрежение. Из поездок в Ленинград, Москву привозил только книги. Наведывался кто-нибудь из родни, распахивал шкаф: «Берите, сделайте милость!» Радовался — может одарить.

Позже, на фронте, ненавидел барахольщиков. Платя партийные взносы, недобро глянул вслед уходившему подполковнику: «Ему дай волю, все добро в свой блиндаж затащит».

Когда из разбомбленного склада ординарец принес сапоги, выгнал его вместе с добром. В голодный час радист Саша Казанцев раздобыл для бати курицу. С курицей и новым назначением поплелся в полк. А Киселев был привязан к Казанцеву.

Стоял на одном: только честный смеет глядеть людям в глаза.

Мог вспылить, обидеть, но заставлял себя сдержаться, чтобы понять, правый перед ним или виноватый.

У Сергея Анисимова отказала рация. Ни разу не отказывала, а тут онемела, нет связи ни с полками, ни с корпусом. Пока Сергей возился с РБ, Киселев задремал — третьи сутки на НП не смыкали глаз. Анисимов наладил передатчик, вступил в связь со штабом корпуса. Корпус объявил двадцатиминутный перерыв. Сергей откинул голову к стене, забылся.

Он уснул, Киселев проснулся.

— Где командир корпуса?

Сергей, бедняга, ничего не разберет со сна. Генерал вспылил. Сергей очнулся, доложил. Киселев походил по землянке. Остановился перед старшим сержантом Анисимовым:

— Извини, пожалуйста.

Просил прощения у жены — выругался в ее присутст-

вии. Как не выругаться? Командир одного полка, в прошлом опереточный артист, вздумал разъезжать на трофейном «мерседесе», запряженном лошадьми. Киселев поднял майора из оперетты с пружинных подушек и высказался от души, не заметив, как подошла Александра Никаноровна...

Чувство молодых лет — Шура должна быть рядом — сохранилось до конца. Киселев вызвал ее на фронт — в Карелию, потом в 70-ю армию.

Александра Никаноровна припомнила слова Киселева: «Да, тебе тяжело на фронте, тяжело без детей. Но они вырастут и все поймут. Мне ты нужнее». Вот его записка с Карельского фронта: «Мне не хватает времени и тебя, Шуручка».

Он постоянно думал о сыновьях, пытался предугадать их будущее, взрослую их жизнь. Письма от детей — праздник. Ходит сияющий. «Батя в добром настроении».

Александра Никаноровна удивляется:

— В кого Юра такой уродился?

Сын мягок до застенчивости. Но мать знает в кого — в отца.

Генеральские погоны не возносили Киселева над людьми. Не для красного словца он повторял: «Без солдат я ноль». Вообще склонностью к красивым фразам не страдал. Он умел слушать и любил солдатскую речь, дорожил кстати брошенной репликой, с ходу найденным ответом.

Однажды спросил у солдата, хлебавшего супец:

— Как оно, первое-то?

— Майорский суп, товарищ генерал, просветов много, звездочка — одна.

Принял на вооружение: «майорский суп».

Превыше всего ценил он тех, кто крещен в огне, прошел через Курское сражение, Молотычи. До трогательного ценил.

Провинившегося бойца хотели укатать в штрафную роту. Тот к командиру дивизии:

— Товарищ генерал, я ж с вами под Молотычами бился!

— Под Молотычами?

И простил бойца. Отменил штрафную.

Сергей Анисимов — сперва радист Киселева, под конец адъютант — мне рассказывал:

— Получает батя приказ: немедленно взять населенный пункт. «Есть, будет исполнено». А сам не спешит. Можно дуром взять. За потери не взыщут: война, побе-

дил — прав. Батя соображает, как меньше людей положить. Разрабатывает маневр, дождется ночи. Приказ выполнит. Но как, когда — решает по-своему...

Под Дуклей дрогнули бойцы 96-го, не выдержали огня с высот, Киселев бросился наперерез:

— Назад! За каждый бугорок кровью плачено!..

О Дукле, как и о Молотычах, вспоминал до последнего дня («Мне Дукля две недели снилась»). Подобно Молотычам, она запала в душу Киселева своей ценой, числом отданных жизней.

Он вел счет на единицы, думал о сегодняшней участи солдата и о завтрашней.

На наблюдательный пункт привели двух пареньков в необычном одеянии — долгополые, не по росту, немецкие шинели поверх красноармейских гимнастерок.

Оба, по их словам, служили в нашей дивизии, неделю назад попали в плен. Немцы пристроили их на кухню — дрова рубить, воду таскать. Выпал случай, пленные перебежали обратно. Попали в траншею неподалеку от НП командира дивизии, и их доставили к нему. Киселев сам допрашивал. Терпеливо, недоверчиво — сказывалась пограничная школа. Задавал вопросы и начальник «Смерш», если память не изменяет, подполковник Буторин.

Услышав от беглецов, что родом они из Москвы — один с Красной Пресни, другой — с Тверских-Ямских, генерал подозвал меня:

— Погоняй-ка земляков по столице-матушке.

Я спросил, какой трамвай шел от Белорусского вокзала к Сокольникам, как с Суцевского вала добраться до Красной площади.

Киселев смотрел и слушал.

Обернулся к Майсурадзе, Буторину, снова к бойцам.

— Марш в свою роту!

Что-то черкнул в блокнотике, вырвал листок:

— Передадите командиру... Чтоб я на вас эту г... шинель не видел. На гимнастерку пришить погоны...

Услышал, что Лида Жданова круглая сирота:

— Будешь моей дочерью. Согласна?

На нем — дивизия. А он:

— Где мой маленький доктор?

Зазывал к себе, угощал.

— Никто не обижает? Замуж захочешь, со мной посоветуйся.

«Пришел, увидел, победил» — это не про Киселева. А все-таки и про него. Он не ошеломил тронной речью, не поразил эффектным жестом. Но каждый ощутил появление нового комдива.

Я пытался вспомнить, с чего он начал. Солдаты уверяли: почувствовали заботу о себе. Иван Андреевич Гусев сказал: пришел человек, который знал, что нужно дивизии. Полковник в отставке Николай Александрович Суханов, заместитель командира дивизии по тылу, вспомнил, как Киселев на первом же совещании первыми же словами потребовал наладить снабжение и пригрозил: кто не сумеет, будет отстранен. В письме бывшего начальника связи Дмитрия Петровича Давидюка говорилось: «С приходом нового командира дивизии генерала Киселева отношение к связи изменилось. Резко изменился стиль работы штаба. Офицеры штаба начали работать спокойно и уверенно, чувствуя постоянное внимание, поддержку и заботу со стороны командира дивизии».

Нам, сто сороковой, повезло. А что означал для самого Киселева приход в дивизию?

Я думаю об этом, слушая рассказы, сопоставляя одно с другим...

Кончив Академию имени М. В. Фрунзе, Киселев быстро и успешно продвигался по службе. В сорок втором году он, молодой генерал из пограничников, назначается заместителем командующего общевойсковой армией. После мартовско-апрельской трагедии командующий был снят. Ответ неудачи падает и на заместителя. Киселеву предлагают корпус — это незначительное понижение. Но он просит дивизию, добивается. Не какую-нибудь, а 140-ю, находившуюся в плачевном состоянии.

В мае сорок третьего года перед нами предстал собранный, деловито-властный генерал. А каково было у него на душе?..

Полководческий авторитет приобретался в боях. Уже под Молотычами выявилась способность Киселева здраво соотносить свои возможности и противника. Минутами его захлестывал азарт, но он овладевал собой.

Позже, на левом берегу Серета, свеженькая немецкая дивизия, только-только из эшелона, пошла под оркестр развернутым строем в атаку. Киселев запретил вести огонь. Он ждал, ждали части. Прежде чем ударить по атакующим, арtpолк разбил штурмовые мостики — путей отступления у немцев не осталось. А затем сосредоточен-

ные огневые налеты, контратаки рассеяли роскошно наступавшие немецкие цепи.

Не всегда, конечно, получалось так здорово и удачно. Но и когда не получалось, он знал почему, знал, что необходимо.

Во время затянувшихся боев за Кросно в дивизию прибыл маршал И. С. Конев (НП под крышей старого костела, паутина, пыль, темень).

— Что требуется для успешного продвижения? — хмуро спросил маршал.

Киселев не мешкая ответил:

— Минометный полк, основательная артиллерийская поддержка.

К вечеру город был взят.

Полковник Гусев считает, что на первых порах Киселев не всегда быстро ориентировался, неудачно выбирал наблюдательный пункт. Вполне вероятно. Но умел выслушивать чужое мнение, даже не высказанное прямо.

Не терпел, не выносил лжи, подбострастия. Многие мог простить, если верил в честность. За неправду разносил в пух и прах, выгонял, упекал в штрафбат.

Армейская жизнь и служба ритуальны. Кто прочно себя с ними связывает, усваивает эти ритуалы как нечто само собой разумеющееся. Привычно прикладывает руку к виску, приветствуя армейского собрата. В его сердце отдается раскатистая команда, открывающая войсковой парад: «К торжественному маршу побатальонно...», даже если он слышит эти слова по радио и ему не придется с гулким стуком, повторенным сотнями пар сапог, повернуть направо и с левой ноги начать торжественный марш.

Война принудила отказаться от некоторых традиционных обрядов. Не до того было. Но — таков уж армейский уклад — понадобились новые. Иногда их искали в прошлом, запоздало открывая прелесть дореволюционного офицерского собрания или умиляясь торжеству вручения государем-императором знамени прославленному полку. Обычно такие открытия совершались еще недавно штатскими журналистами, верившими, что новое начинание таится в старой, с ятем, газетной подшивке.

Не привилось это, не могло привиться. Но далеко не всегда приживалось и то, что придумывали бывалые командиры. Помню одного генерала, который обожал суворов-

скую афористичность, обращался к солдатам не иначе как «орлы», насаждал это обращение, уверяя, будто оно бодрит дух. Но солдаты оставались равнодушными и к высокопарным речениям, и к «орлам», и к самому генералу.

Киселев, воистину армейская косточка, уважал строевой ритуал, но как-то естественно, без натуги. И когда вводил какое-то начинание, оно не казалось лишним, искусственно придуманным.

Нерушимо соблюдал строгую обрядность вручения наград.

Строй, какой ни на есть столик под кумачом. Сам торжественно подтянут, выбрит, при орденах. Каждому вместе с рукопожатием два-три человеческих слова.

Не очень любил фронтовое застолье. Но в подобных случаях поднимал тост за отличившихся: чтобы пуля миновала, осколок не задел, чтобы храбрость не шла на убыль; чтобы своими глазами узреть победу.

Верил в праздничную необычность такого часа: нужна она солдату, давно не видевшему праздника. Сегодня, на фронте, нужна. И потом, став памятью, пригодится...

Когда минуют десятилетия, о человеке вспоминают общими определениями. Кто бы ни заводил речь о Киселеве, прежде всего произносилось: честный. Подразумевали не только ненависть ко лжи, но и бескорыстие.

Война — это и бой, и быт. И то и другое во многом определяется командиром.

Мы знали: генерал не жалуется фронтовые романы. Не из-за ханжества. Боялся, что разрушатся семьи, безотцовщины и так после войны будет хоть отбавляй. Жалел девушек-фронтовичек — как бы окопные связи не изуродовали и без того надломленную молодость, не исковеркали будущее.

Возможно, перебарщивал, борясь с «фронтной любовью».

Армейская практика ограничивает критику. Единственный человек, которого генерал мог попросить: «Ты за мной следи, ругай меня. Недолог час, зарвусь», — была жена.

На исходе сорок четвертого года Александра Никанорова меня упрекнула: дескать, я, парторг, смотрю сквозь пальцы, что командир дивизии выпивает. Я оправдывался: пальцы-то у меня лейтенантские. Вскоре Киселев остановил меня:

— Моя жаловалась?

Смутившись, я попытался провести беседу о вреде спиртных напитков. Вопреки ожиданию, генерал терпеливо слушал. Потом спросил:

— Думаешь, глаза мне открыл?

И тут он рассказал, как жена звонит на НП и спрашивает, почему он торчит на бруствере, а не в окопе.

— Я ей подчиняюсь, лезу в щель, когда таковая имеется. Насчет водки тоже права. Но так, бывает, прижмет — с ног валишься...

В его голосе я почувствовал усталость — физическую, нервную — от бессонных ночей, переходов, вечной близости смерти. А сверх того, от постоянной ответственности за тысячи судеб, необходимость принимать решения, оплачиваемые кровью. Передо мной стоял смертельно уставший человек.

Разговор был минутный, а впечатление осталось...

Он сознавал, какую тяжесть несет его жена. Попытался успокоить:

— Моя пуля еще не отлита.

Могло так показаться. Погибли два адъютанта, многие офицеры, бывавшие поблизости, а Киселева не задело, ни одной царапины.

Его машину — кто не знал в дивизии роммелевской амфибии с желтыми разводами! — захватили немцы, шинель захватили, а он жив, невредим. Посмеивается.

Лишь однажды, глядя, как уносят раненого, сказал:

— Уж если что, меня сразу...

О мечте Киселева я услышал, когда его уже не было в живых. С курсантских лет ему твердили: зеленый массив, маскирующий сосредоточение войск, затрудняющий наблюдение... А он «штатской» любовью любил этот «массив», надеялся: после войны в отставку, в лесники, возьмет с собой внуков, станет ловить рыбу, Александра Никанорова — варить на всех уху... Таким виделось ему далекое послевоенное счастье.

Об этом я тогда не знал, но один раз наблюдал, как саперы, натыхаясь лопатами на корни, торопливо роют щель для комдивовского НП. Рыжие комья рассыпаются у начищенных генеральских сапог. А он задрал бинокль на красноголовую птаху в зеленой вышине, не оторвется...

— Прощу тебя... — Михаил Камышан настойчиво уперся в меня взглядом.

Мы не виделись почти тридцать лет и, хоть когда-то

приятельствовали, с трудом, ощупью узнавали друг друга. В поджаром человеке с острым подбородком и впалыми седыми висками я не мог разглядеть того, кто когда-то молодо и задорно командовал вторым дивизионом артполка.

— Я тебя очень прошу,— упрямо твердил Камышан,— не вздумай расписывать, какой генерал Киселев был мягкий, добрый и все тому подобное. Это сейчас чуть что — «добрый, добренький»... Он со мной однажды разговаривал не выпуская из рук пистолета: «Здесь оборудовать энке, здесь поставить орудия...» Так что я хочу сказать?.. Меня в Карпатах долбануло... Провалы в памяти... Хочу сказать: правильно он со мной тогда говорил. Правильно с его точки зрения... и с моей. Что с моей, это я сейчас постигаю... Напишешь — не поймут... Только прошу, по старой дружбе прошу: не пиши насчет «добрый». Не то слово. Ты уж подумай, подбери подходящее. Очень тебя прошу...

Недостаточны, видимо, собранные мною и подсказанные памятью сведения о генерале Киселеве. Хочу воспользоваться солдатским фольклором. По дивизии ходили были и небылицы о командире. Прежде чем занести на бумагу, я пересказал некоторые из них Александре Никаноровне.

«В начале Отечественной войны генерал Киселев командовал ОТ¹ Карельского фронта. В Карелии действовали финны. Они на лыжах сызмальства, пробираются там, где не то что человек, зверь не проберется. Проникали в наш тыл, устраивали диверсии.

Генералу Киселеву докладывают: финский лыжник в таком-то квадрате. Он на свой самолет — и туда. Самолет совершает посадку. Генерал Киселев — на лыжи и за нарушителем. Один на один. Бывали случаи, схватывался врукопашную, до финки доходило».

(Александра Никаноровна: «Что начальником ОТ был, подтверждаю. На лыжах ходил как бог. Насчет своего самолета что-то не помню. Ножом сам? Не знаю, не знаю. Финский нож вообще у него имелся. Где-то должен быть...»)

«Приходит генерал Киселев к командиру батальона. Это уже за Днепром было. И говорит: «Как ты командуешь, когда с твоего наблюдательного пункта, извини, пожалуйста,

¹ ОТ — войска охраны тыла. Обычно эту службу несли пограничные части.

ни хрена не видно». Командир батальона отвечает: «Куда ж податься, впереди немцы». — А вон сосна зачем стоит?» — показывает генерал. «Она ж пристреляна». — «Хреновый ты, извини меня, командир батальона, — командуешь, не видя поле боя».

Сам приказывает своим саперам и разведчикам сколотить площадочку, приладить наверху на сосне. Саперы сделали, прибили ступеньки. Генерал с биноклем полез.

Немцы, конечно, подсыпали огоньку. Летит наш генерал с дерева, ветки трещат.

Поднялся, отряхнулся. «Ни хрена, говорит, полный порядок. Я ихнюю оборону как дважды два видел».

(Александра Никаноровна: «Сомнительно. Очень уж по-мальчишески. Но чем-то на него похоже».

Юрий Александрович Киселев: «А я считаю, вполне могло быть».)

Эту историю мне рассказал когда-то начальник разведки дивизии Алексей Бессонов.

«В полках осталось активных штыков не больше сорока в каждом. Немцы прут со всех сторон. На нашем НП пули жикают. Я докладываю генералу Киселеву: «Находитесь в прямой опасности». Он меня — подальше. Ладно, молчу. Немцы рядом. Я снова к генералу. Он не слушает, схватил автомат убитого бойца, строчит. Я вижу такое дело — приказываю разведчикам: «Хватайте батю силком, уносите». Так и вынесли.

(Александра Никаноровна: «Леша Бессонов был смелый офицер. Киселев его уважал. Но — разведчик: соврет, недорого возьмет. У Киселева ответственности, что ли, не было, не понимал, что нужен?.. Раз ты факты без проверки используешь, я тоже могу привести. Один раз мне сообщили: «Сегодня не было бы у нас генерала, не прикрой его солдат. Своим телом прикрыл». Так ли, нет — не знаю. И фамилию солдата не знаю».)

.....

Утром 24 января 1945 года близ местечка Тшеболь (Польша) генерал Киселев объяснял задачу подполковнику Харламову, водя карандашом по карте и тем же карандашом указывая на местности направление, ориентиры, — привычная поза. Они стояли на пустой, безлюдной дороге. В тишине грохнули три мины. Две разорвались позади, мел-

кими осколками впились в спину Киселева. Он остался бы жив. Но через полминуты рванула третья.

...Каких-нибудь недели две назад он отплясывал «русского» на свадьбе Лиды Ждановой-Гаркавенко...

Упал с перебитыми ногами Харламов. Приподнялся, разглядел комдива, простонал:

— Лучше б меня...

ДИВИЗИЯ И ДИВИЗИОНКА

Мостик как мостик — размочаленный, расшатавшийся настил, медленная вода сквозь щели, одиноко торчащие доски в память о перилах. Колесо угодило в щель или рухнула прогнувшая балка — телега резко накренилась, и вся поклажа скрылась под водой.

День был летний, место неглубокое, достать груз не составляло труда.

Но на дно ушел шрифт, высыпавшийся из наборных касс.

Мы бесцельно ныряли, извлекая перемешанные с песком тонкие свинцовые палочки. Однако это пустяки по сравнению с работой, какую предстояло проделать наборщикам, сортируя шрифт по гарнитурам и по гнездам.

И все же газета вышла в срок. Со сводкой Совинформбюро, с дивизионными новостями, с заметками об отличившихся, с известиями из далекого тыла.

Этот неперемный, невзирая ни на что, выход дивизионной многотиражки — одно из фронтовых чудес, право же, достойных удивления. Помимо того, что причиталось по общим нормам: обстрел, бомбежка, холод, распутица, бессонные ночи, недели без крова, — были еще тысячи своих бед, досад, невзгод, и половины которых, наверное, не уцелело в памяти.

Полки неотрывно преследуют врага. Десять, двадцать километров в день. Редакция не смеет отставать — газета должна выходить. Как тут поспеть — и двигаться, и выпускать номер, когда весь наш транспорт — одна-единственная дребезжащая, того и гляди развалится, подвода, запряженная клячей? А по штату нам положена была специально оборудованная автомашинка, даже вроде две.

Сотни километров оставались позади, когда мы получили сносный автобусик. Он нам служил верой и правдой. Хотя вскоре задним левым колесом угодил на мину. Нас оглушило, тряхнуло. Тем и отделались. Да еще Дажин

яростно обрушился на меня. Это я отыскал по карте самую короткую дорогу...

Если в сорок третьем, в летнем наступлении, в осенней грязище, в зимних заносах регулярно выпускалась газета, то заслуга тут прежде всего Дмитрия Павловича Дажина. Им и начинать рассказ о дивизионке, выходявшей в 140-й дивизии.

Все, конечно, старались, всем доставалось. Но Дажин не просто возглавлял, не просто вкалывал. Его одержимость выливалась в универсальный, не признающий отдыха газетный труд. Писал передовые, правил и переписывал заметки, составлял макет, придумывал рифмованные шапки, держал корректуру, принимал по радио диктовку ТАСС, вычитывал мокрые полосы, отбитые с набора жесткой щеткой. Все сам. Нам полагалось поставлять материал, сырье, из коего он творил газету. До того как в штат ввели должность заместителя редактора, Дажин занимался еще и хозяйственными делами; хотя нам положен бензин для несуществующей машины, но не так-то легко раздобыть неположенное сено для существующей лошади.

Дажин не столько обучал, он заражал своей истовостью, своим уважением к солдату, которому предназначалась дивизионка. Солдат не часто видел прочие газеты — прочие, даже армейская и фронтовая, адресуются ко многим и многим тысячам. А эта своя, маленькая, чуть поболее странички письма. Она пишет о знакомых, о твоём отделенном или взводном, о тебе самом. И ты бережешь заметку, шлешь ее домой.

Заметка эта — бывало и так — последний рассказ солдата, последнее его общение с людьми.

К газете и ее представителям относились по-свойски. Тебе могли попенять: почему давненько не наведывался, почему сорт бумаги сменился, плох для курева. Раз к тебе привыкли, доверяют, — отведут с тобой душу. Ты вроде бы «сверху», а между тем никакой не начальник — очень привлекательное сочетание.

Во всем этом со временем я убедился, разобрался сам, но еще прежде, чем убедился, начал понимать благодаря Дажину.

Без желанья, однако старательно писал я первые заметки. Но что он с ними делал! Не оставлял ни слова, ни запятой. Все молча, игнорируя меня, сидевшего рядом. Как же я его ненавидел! И не скрывал этого! Едва я заикался о штампах, газетной серятине, он выкладывал мне такое, в

таких порциях... Когда творческая полемика выходила за уставные границы, Дажин ставил меня на место, напоминая о субординации.

В этих поединках, как ни странно, рождалась наша дружба. Оно, конечно, не худо бы иметь редактора с характером полегче. Но, во-первых, я не слишком обольщался насчет собственного нрава. Во-вторых, видел, что Дажин спит меньше нас всех, а работает больше. В-третьих, он был одинаково резок и с подчиненными и с вышестоящими. Для меня это много значило. Вспыльчивостью с подчиненными никого не удивишь. Еще Салтыков-Щедрин предлагал средство от такого недуга: достаточно представить себе, что говоришь с генерал-губернатором. Дажину это средство не подходило.

Дажин задал такой рабочий ритм, из которого мы не выходили до самого конца войны, хотя менялись редакторы, менялись обстоятельства. Это, наверно, тоже называется традицией.

Дажину мы обязаны принципами, утвердившимися в жизни маленького человеческого сообщества, выпускающего дивизионку.

Газета — самое святое. Ради нее — под огонь, в грязь, в стужу, в пыль, тридцать, сорок, пятьдесят верст пешком, верхом, на попутных. Быстро ходить, быстро писать, быстро набирать, печатать, доставлять. Но не халтурь, не брешу, не путай. Не смей перевернуть фамилию солдата.

Как кадровый политработник Дажин уважал дисциплину, старался обращаться на «вы», мог потребовать, чтоб его величали по званию. Но в скученном быту редакции и типографии не признавал никаких различий. Офицеры редакции и солдаты типографии обедали за одним столом, ели из одной миски. Офицерский доппаек (печенье, консервы, сливочное масло) шел на общий стол. Личные вещи отменялись. Рубашки, кальсоны, портянки, полотенца лежали в ящике из-под немецких мин — кому надо, тот и берет.

Когда ввели должность заместителя редактора, Дажин наметил на нее старшего лейтенанта Гороховцева, замполита стрелкового батальона. Но прежде чем докладывать Майсурадзе, посоветовался с нами, с секретарем редакции и со мной, литсотрудником. Мы высказались «за».

Но советовался Дажин не всегда. Иные решения принимал единоначально, даже от имени всех.

В мае 1943 года, возвращаясь из полка, я почувствовал, что ноги отказывают, ворот и ремень душат. Кое-как

доплелся до Редогощи, до редакции. Вызвали Лиду (тогда еще Жданову, не Гаркавенко). Лида измерила температуру — сорок. Сыпняк. Немедленно в медсанбат.

— Никаких медсанбатов, — возразил Дажин. — Сами выходим. Рядом пустая изба. Пусть там лежит. Мы будем еду носить, а вы — лечите.

Он решил за всех, даже за Лиду. Моргнул Гороховцеву — тот ведал продфуражным снабжением. Прокоп Степанович понимающе кивнул и вытащил из НЗ бутылочку с самогонкой, налил мне стакан, остальное спрятал.

Это был случай, когда пить не хотелось. Но Дажин так свирепо поглядел, что я, поморщившись, выпил мутную жидкость.

— Ложись! — приказал Дажин. — Сегодня здесь переспишь, чтоб мы в случае чего...

Я проспал, не просыпаясь, до утра. Утром поднялся, почувствовал, что здоров, осталась только слабость. Перешагнул через Гороховцева и Дажина, спавших рядом на сене, и сел работать.

Вскоре проснулся Дажин, недоуменно посмотрел на меня:

— Ты что, тронулся?

— Здоров.

— Здоров? Тогда почему картошку варить не поставил?

Первый проснувшийся должен был топить печь и варить картошку в мундире. Потом все поднимались и во главе с редактором сообща ее чистили.

Я и вправду выздоровел. Скорее всего, меня выручила какая-то особая — в бригаде все было «особое» — сыворотка, которую нам впрыскивали в отряде. Или — еще одно чудо фронтовой жизни.

Дажин — прирожденный газетчик, им и остался. После нашей сто сороковой работал во фронтовой газете, после войны — редактировал окружную газету ПВО, служил в «Красной звезде».

При делении на «изменившихся» и «не изменившихся» Дмитрий Павлович относится ко второй категории, хоть и дед уже, хоть полковник в отставке и много еще всяких «хоть», не считая законченного заочного истфака МГУ.

Первый номер дивизионки, тот, что я читал в Новосибирске в кабинете Майсурадзе, Дажин выпускал вдвоем с секретарем редакции Зачесовым. Лейтенант Зачесов не

прирожденный газетчик. Он учитель по специальности, по склонности душевной. Однако направили в газету, и, человек пунктуальный, работающий, он выполнял свои обязанности, сохраняя хладнокровие и на передовой и в редакции. Безотказно лазил по окопам, возвращался, молчаливо и многозначительно поднимал кружку со своими ста граммами, вздевал на круглый нос очки, закуривал длинную, тщательно закрученную «козью ножку» и аккуратно — буква к буквке, строчка к строчке — исписывал серые листки.

Он пробыл на фронте с полгода — погиб, подрывавшись на mine.

Если б не эта ранняя смерть Зачесова, я бы лучше его узнал, а он короче сошелся бы с нами, Дажиным, Гроховцевым. А так держался не то что особняком, но оставался какой-то внутренний зазор. В минуты откровенности он сетовал на отсутствие культурного окружения, людей с высшим образованием, сокрушался, обращаясь ко мне:

— Вот вы — недоучившийся студент. А они...

Имелись в виду Гороховцев и Дажин. Не продолжая, Зачесов махал рукой.

Меня эти сетования не занимали. Проблема законченного высшего образования не беспокоила. Для Зачесова же она — любимая тема. Он учительски постукивал пальцами:

— Обязательно следует закончить институт. И вам, Дмитрий Павлович, еще не поздно, и вам, Прокоп Степанович...

Никем не поддержанный, он уходил из дому, садился на скамейку и пел. У него был хороший слух и приятный тенорок. Предпочитал «Землянку», «Вася-Василек», «Синенький платочек». Сбегались девчата с полевой почты, подтягивали. Коля Зачесов их не замечал. Он сидел прямо, строго и отрешенно смотрел перед собой.

Когда он погиб, в редакцию принесли его документы. Среди них — справка. Зачесов учился на втором курсе заочного института иностранных языков.

На место Зачесова прислали гвардии капитана Зотина. Веснушчатый капитан сверкал золотом зубов, надраенными пуговицами, ременной пряжкой, завездами и миниатюрными танками на погонах. Нам, заросшим, в замусоленном х/б и драной кирзе, посчастливилось лицезреть ожившую цветную фотографию. Гвардии капитан — это выяснилось

в ближайшие полчаса — был не только лихим воякой — море по колено, но и газетным волком, зубром газетным. Мы слушали и глядели на его неистощимо сияющую улыбку и не ведали, кого благодарить за ниспосланное счастье. Журналист такого калибра, такого успеха, таких литературных связей — в какую-то заурядную дивизионку!

Дажин, смущенно улыбаясь — «Вы уж не взыщите», — представил Гороховцева и меня, познакомил с наборщиками. Знакомство с нами вызвало у Зотина безбрежный энтузиазм. Он издавна мечтал встретиться с такими людьми. Мы вместе двинемся вперед, рука об руку, плечом к плечу.

Дажин сделал знак Гороховцеву, Гороховцев направился к ящику, где хранился НЗ, на ходу укоризненно бросил мне:

— Побрился бы.

Я пристроился с бритвой на подоконнике, наборщики бензином отмывали руки, Дажин и Гороховцев хлопотали у стола.

Капитан Зотин щелкнул замками новенького чемодана, достал запечатанную бутылку с этикеткой, банку шпрот, закуски, о существовании которых мы, привыкшие к вареной картошке и супу-пюре гороховому, давно забыли. И все это — широким жестом на стол. То был посланец небес, имевший земные связи не только среди высшего командования, в литературном мире, но и в тыловых учреждениях не ниже фронта. Иначе откуда эти яства, шитые на заказ галифе, гимнастерка, новенькие ремни, портупья, планшет, полевая сумка! И такой человек сидит с нами за одним столом, чокается своим складным алюминиевым стаканчиком, тычет в тарелку своей никелированной вилкой...

С недельку длилось взаимное восхищение. Не терпевший безделья Дажин советовал Зотину не спешить, потихоньку осваиваться. Зотин не спешил. Из своего чемодана извлек ножницы, напильники, молоточки, кусачки и принялся за работу. Прежде всего он осуществил сложную реконструкцию портупьи, менял систему колец, которыми она крепилась к ремню. Потом из обрезков металла смастерил подковки и ловко набил их на каблуки. Веснушчатые его руки были поистине золотые.

Работая, Зотин не умолкал. О чем только не рассказывал, какие только встречи не вспоминал. Дажин правил гранки, сокращал и дописывал. Гороховцев что-то сочинял, бегал на

ДОП¹, молча исчезал и молча появлялся. А Зотин весело и увлеченно рассказывал:

— Вызывает меня командующий. На вас, Петр Петрович, надежда...

— ...Танк к едреной матери. Гусеница в клочья. Башня на двести метров. Я на вторые сутки пришел в себя...

— ...Фадеев меня обнимает: «Петя, друг сердечный»...

Мы, разумеется, видели: Зотин привирает. Но что из того? Ну, прихвастнул. На фронте это случается. Не обижается на наш смех, сам хохочет, заливается.

После посещения арtpолка Зотин вернулся воодушевленный:

— Какие люди! Какие люди! Что им «тигры»-«фердинанды»!

Филигранно отточил карандаши и уединился в клетушке за печкой. Мы ходили на цыпочках, переговариваясь шепотом.

На третий день сияющий, затянутый ремнем, перекрещенный портупелями, щелкнув начищенными сапогами, Зотин торжественно положил перед Дажиным исписанные листки и попросил разрешения погулять, развеяться.

Сперва Дажин подозвал своего заместителя. Гороховцев читал, ничего не говорил и сопел. Дажин кликнул меня.

Я отлично помню этот почерк: высокие худые буквы с загогулинами и хвостиками. Почерк старательный, но его обладатель, видимо, не слишком много на своем веку писал. В этой догадке укрепляло обилие грамматических ошибок. От запятых рябило в глазах. Их Зотин не ставил только что в середине слова.

Обращала на себя внимание целеустремленность творческих интересов: все три заметки о поварах.

— Ну? — недобро уставился на нас Дажин.

Гороховцев пожал плечами:

— Писатель все-таки...

Я поддакнул:

— Странности художника.

Дажин нелитературно выругался.

Период сомнений длился недолго. Его сменил период разочарования, а затем и отвращения.

Сияющий гвардеец происходил по прямой линии от Хлестакова. Настолько прямой, что оторопь брала. Дажин его возненавидел со всей страстью, на какую был способен

¹ ДОП — дивизионный обменный пункт.

и которой возмещал недавнее свое восхищение и надежды. Невозмутимый Гороховцев просто-напросто перестал замечать Зотина, не отвечал на его бравое: «Здравия желаю, товарищ старший лейтенант!», набычившись, проходил мимо.

Как-то мы вместе с Зотиным шли в полк. Он предложил заглянуть в деревню, перекусить. Я усомнился: места бедные, нещадно разоренные немцами.

— О, молодой друг, вам неведома крестьянская психология!

Он достал из кармана бархатку, провел по хромовым сапогам, уверенно распахнул дверь, велеречиво поздоровался со стариком, с хозяйкой. Назвался известным писателем, черт-те что наплел обо мне. Старый крестьянин растерянно глядел на рыжего офицера, стройного, с золотыми погонами, в ладной шинели. Хозяйка полезла в подпол.

Вымогал он артистически. Обособившись от нас, Зотин завел свое хозяйство, взимая с тех, у кого остановился, сметану, масло, яйца. Обо всем этом хвастливо сообщал нам. Иногда его посещала фантазия осчастливить хозяев женитьбой на их дочери. Он твердил «папаша», «мамаша», ухаживал напропалую, целовал ручку, сулил квартиру в Москве и прочие златые горы.

Помимо того, Зотин имел обыкновение покупать «в долг».

Наступила полоса открытых боевых действий. Вначале Зотин ограничивался обороной — делать он давным-давно ничего не делал, лишь огрызался. Однако вскоре постиг губительность пассивной тактики и принялся строчить. Строчил он доносы. Позже я их читал: произведения достаточно убогие, но чувствовалась набитая рука, автор не был новичком в этом жанре. Основная их идея: в коллективе редакции отсутствует должная дисциплина, зато наличествует фамильярность, имеют место случаи выпивки, а однажды редактор, его заместитель и литсотрудник спали втроем на одной кровати; в таких условиях нет бдительности, борьбы за высокий уровень.

Конечно, доносы эти сколько-нибудь серьезного впечатления не производили. Зотина уже раскусили в политотделе. Однако Майсурадзе нет-нет да обронит, брезгливо поморщившись:

— Что там у вас происходит?

На партсобрании кто-то пустил: «В редакции неладно».

В поте лица сочинив очередное заявление, Зотин обычно являлся к Дажину со слезным покаянием:

— Я виноват, глубоко виноват перед вами, Дмитрий Павлович, я недостойн дышать одним воздухом... В жизни не прощу себе.

Через неделю изготавливалась следующая кляуза.

На большом совещании в присутствии чуть ли не всех политработников дивизии Майсурадзе вдруг стукнул по столу:

— Встаньте, капитан Зотин! Кто вы есть, Зотин? Вы есть трус, бездельник и клеветник. Я хочу, чтобы все это знали и в последний раз посмотрели на вас. Такому человеку не место в нашей дивизии.

В тот же день Зотина откомандировали.

Одновременно с Зотиным без всякого, естественно, шума к нам прибыл ездовой по фамилии Носок, по имени Иван Денисович, колхозник с Черниговщины — неторопливый, спокойный, с жидкими вислыми усами. На его попечении были лошадь и подвода. Но вскоре как-то неприметно он занял несомненное, хоть и трудно определяемое место в нашей жизни. Он старался всем помочь. Подхватит тяжелую кассу, которую тащит наборщик. Подогреет обед, вымоет посуду. Смотришь, утром в сапогах торчат чистые портянки, зашит рукав гимнастерки, залатаны брюки, вымыта плащ-палатка...

Притащишься ночью мокрый, голодный, стараясь никого не будить, ищешь уголок, чтоб притулиться. Неслышно поднимается Носок:

— То не дело.

Достанет из печи котелок. Заставит раздеться.

Я бы мог много еще порассказать про Зотина: проходимцы — люди заметные. А Иван Денисович Носок говорил мало и менее всего старался, чтоб его заметили. Взгляд прямой, умный и такой выразительности, что и сейчас вижу. Вижу, как он смотрит на краснобайствующего Зотина, на рассердившегося Дажина. Вижу, как смотрит на меня, когда я от большого ума осушил на спор кружку трофейного спирта и провалился в преисподнюю; очнулся на следующий день. Надо мной Носок. Всего три слова:

— Разве так можно?

Не в том даже смысле, что вредно, дескать. Разве так можно человеку обращаться с собой, чего ради?

По разным поводам, вкладывая свой смысл, часто произносил:

— Ох, до чего же вы все молодые!..

Время от времени он подходил к Гороховцеву или ко мне — Дажина не решался трогать — и просил написать письмо жинке. Иван Денисович был малограмотен, диктовал коротко и обстоятельно, заранее все обдумав, и не терпел корректив. Осложнения всякий раз возникали, когда надписывался конверт.

— Одарци Носку,— твердо завершал Иван Денисович свою диктовку.

— Носок,— поправлял Гороховцев или я.

Иван Денисович сердился:

— Кто лучше знае, як мою жинку кличут?

Для нас было праздником, когда мы наконец получили автобус. Но понимали: придется расстаться с Иваном Денисовичем. И это омрачало радость. Дажин обивал штабные пороги, еще месяца два Носок оставался с нами. Но при очередной «чистке тылов» — пришлось все-таки его откомандировать. Хотя Иван Денисович попал в армию с оккупированной территории — тогда это принималось во внимание,— его, по нашей рекомендации, направили повозочным в политотдел.

Рядовой Иван Денисович Носок был убит 4 августа 1944 года в польском городе Санок.

«КТО ТЫ ЕСТЬ!»

...Вижу, будто вчерастряслось.

Гроб из неструганных, кое-как окрашенных досок. Желтое, окаменевшее лицо Романа Кудряшова, струйка крови на верхней губе.

В ноги уткнулась девушка. Рассыпаны рыжие волосы, гимнастерка на дрожащих плечах.

Это случилось 22 июня 1944 года у горы Обыдры, в Тернопольской области. Кому, кроме пастухов, гоняющих туда коров, известна она теперь? Не всякая «Обыдра» имела название. Высота с отметкой такой-то. А за нее умирали люди, как при взятии городов. Кто держит высоту, тот хозяин положения. От нее, трижды проклятой, зависит успех дивизии, армии, фронта. Немало наших солдат полегло на пологих скатах Обыдры. Роман командовал, потом не выдержал и сам выскочил из окопа.

Крохотный осколок, в половину ногтя на мизинце,— и нет больше Романа Кудряшова.

Над гробом из сырых, наспех покрашенных досок — сникший, сгорбившийся Майсурадзе. Единственный случай, когда я видел у него слезы.

Дуся, вдова Майсурадзе, часто мне повторяет: «Он любил тебя, как сына». Преувеличивает. Он любил Романа. Возлагал на него большие надежды. Кудряшов отвечал его идеалу. Такие нужны на войне, еще нужнее будут завтра.

Непросто это объяснить. Кудряшов — парень как парень. Красивый, правда: черноволосый, смуглый, смахивающий на цыгана. Пел, на гитаре играл.

После него остался дневник — первая запись за три недели до начала войны, последняя — за четыре месяца до гибели. На фронте не полагалось вести дневник: вдруг он попадет в руки противника. Роман вел и других убеждал: надо записывать свою жизнь. Мы с Дажиным не раз листали жизнь этого двадцатипятилетнего человека сороковых годов.

Он читал Горького о Ленине, Достоевского, увлекался Макаренко. «Восхищаюсь Байроном, изучаю тактику». Чернышевский, Николай Островский, Герцен, Толстой. Цитаты, какие приводила тогдашняя «Комсомолка», осели, вероятно, в сотнях дневников. Но не только они. Андре Шенье: «Мне тягостен досуг без вашей близости, лишь вами ум мой занят, и в каждом шорохе, что чуткий слух мой манит, мне чудится ваш шаг...» Или — сквозь поспешно-деловитый перечень: «Я люблю человека, его честь».

Кудряшов — смелый, самый, наверное, смелый в политотделе. Для Арчила Семеновича Майсурадзе это многое значило. Его подпись на наградном листе.

На реке Серет Кудряшов исполнял обязанности зам. командира 96-го полка по политчасти и «обеспечил выполнение операции. Полк выдержал 19 контратак». Прошло десять дней. Роман оставался в полку. Немцы пустили во фланг девять танков и батальон пехоты...

Цитирую: «Командир полка струсил и потерял управление. (После Григорьева 96-му не везло на командиров.— В. К.) Кудряшов взял на себя инициативу командования полком, поднял боевой дух бойцов. Полк отразил контратаку противника, уничтожив 3 танка «тигр» и до 50 солдат и офицеров противника. Кудряшов организовал партийно-политическую работу во всех звеньях полка».

Один из самых молодых политотдельцев, Роман держал-

ся независимее других. Майсурадзе не отличался терпимостью. Но для Кудряшова порой допускал исключение.

Кудряшовская независимость шла не только от вольнолюбивого характера, — она и от ищущего ума. Он пытался докопаться до всего — почему на войне получается так, а не эдак; что значит мысль Чернышевского: содействовать всякой славе своего отечества и благу человечества. Минутами он бывал недоволен своей работой, сомневался в себе. «Наши помощники (имеются в виду помощники начальников политотделов по комсомолу. — В. К.) показались мне мертвыми чиновниками, и не дай бог, если я такой».

Он досаждал Майсурадзе вопросами о войне, ее начале. Не всегда удовлетворен был ответами.

Майсурадзе выдвигает своего любимца замполитом 96-го полка.

Кудряшов уважает начальника политотдела, блюдет дисциплину. Но оставляет за собой право судить самостоятельно, хотя бы в дневнике.

Спорил Роман азартно, не обязательно ради постижения истины. Ему бы победить, опровергнуть несогласного, утвердить себя. Тогда можно и подурчиться, поддеть: «То-то, парень, а ты хвост задираешь...»

В отношении Майсурадзе к Кудряшову, к Вене Панфилову, Ивану Маломанову, Ивану Сытнику, Симе Воловикису и, видимо, ко мне было что-то отеческое. Он отдавал предпочтение молодым. Хотел подчинять, вызывая осмысленное желание подчиняться.

Ему необходимо было, чтоб «люди росли». «Человек должен расти. Не растет — не человек».

За годы войны я не видел никого так поглощенного послевоенным будущим, как Майсурадзе.

Но самому-то ему было сколько?

По документам и некрологу, напечатанному в «Красной звезде», А. С. Майсурадзе родился в 1910 году. В действительности же — в 1911. Сироте, бездомному мальчугану не терпелось попасть в армию, и он прибавил себе год. Пятнадцать лет — в пехотной школе, с девятнадцати — на границе. Он среди самых молодых депутатов Верховного Совета СССР первого созыва и делегатов XVIII съезда партии.

Майсурадзе не склонен был к воспоминаниям. Вчерашнее его мало занимало. Редко кто в дивизии слышал от него о XVIII съезде, заседаниях Верховного Совета, встречах с руководителями. Никогда не козырял депутатским мандатом. Еще членом правительства он поселился в ком-

мунальной квартире на Ленинградском шоссе и оставался в ней до конца.

Как-то под Заршином Киселев докладывал по телефону обстановку. Командир корпуса, видимо, усомнился в точности. Киселев, оскорбленный, крикнул в трубку:

— Мне не верите? Поверьте члену правительства!..

Протянул трубку Майсурадзе. Тот скривился, не взял ее.

Когда шедший к фронту эшелон штаба дивизии остановился на Москве-товарной, Майсурадзе с солдатскими прошениями и жалобами, с заявлениями красноуфимцев помчался в ЦК, в Верховный Совет.

Майсурадзе умирал в пятидесятом году в московском госпитале. Почти каждый день я бывал у него. Раньше мы редко говорили о дивизии. Теперь же, когда доставало сил, он вспоминал Кудряшова, Киселева.

Его хоронили осенью на Ваганьковском, на 26-й линии. Стрелковый взвод, пугая кладбищенских галок, разрядил в воздух карабины...

Я смотрю на Майсурадзе из времени, которое осталось для него недостижимым будущим. Я стараюсь преодолеть умиление — на него щедра память — и повышенную критичность, ею одаряют годы.

Март сорок третьего. Ржавчик и Муравчик. Майсурадзе нахохлился у скособочившегося стола в темной избенке с земляным полом. На плечи накинута канадский полушубок. На лоб надвинута барашковая ушанка, — он еще не полковник, старший батальонный комиссар. Потом будет надвигать на карие глаза папаху, летом — фуражку, пряча красные пятна на высоком, с залысинами лбу. Из окружения в начале войны он вышел с двумя ранениями и нервной экземой. Раны зажили. Экзема осталась. Каких усилий требовала от него, больного человека, фронтовая жизнь, обязанности бесконечные и ответственные! Но он никому не жаловался, отвергал помощь врачей, не сознавался, когда трясла малярия. Майсурадзе прямо держался в седле. Истинный конник, в кавалерийской шинели, он не признавал автомобиля.

Кончились мартовско-апрельские бои. Майсурадзе собрал политотдельцев. Мы услышали детальный разбор положения в полках, дивизии.

Голова его работала ясно, глаз ничего не упускал. Приезжая в полки, мало разговаривал, подолгу не задерживался, но подмечал во сто раз больше, чем мы, дневавшие и ночевавшие здесь.

Он не прощал трусости. Замечал ее, и на человеке, будь тот в высоком звании, имей какой угодно опыт, категорически ставился крест. Одному самоуверенному батальонному комиссару, в прошлом преподавателю погранучилища, было заявлено: ваша служба в дивизии кончилась. Батальонный негодует, ссылается на стаж. Майсурадзе решил — отрубил. Даже не слушает.

В тот раз, по-моему, решил верно. А в другом случае такой убежденности у меня нет. На моих глазах родилась у него неприязнь к одному офицеру, и уже ничто не могло ее поколебать.

К нам прибыл новый агитатор — так именовалась должность: «агитатор дивизии» — румяный майор, круглоглазый и восторженный, в форменной фуражке с лакированным козырьком, в двубортной офицерской шинели. Майор не нюхал войны, терзался этим, досаждал расспросами, жаждал отличиться.

...Наблюдательный пункт командира дивизии возле сарая с черной соломенной крышей. От сарая в тыл тянулась к лесу поляна. Изредка на ней взрывались снаряды.

На поляне показался новый агитатор. Он носил серую шинель из отечественного сукна. У нас были зеленовато-желтые из английской ткани.

Майор сделал короткую перебежку и плюхнулся на землю. Снова перебежал, снова упал.

Майсурадзе, недобро прищурившись, следил за ним.

— Послушай, чего он падает? Никто не стреляет.

— Наверно, так учили... Человек еще не освоился.

— И не освоится. Он трус.

Ничто — ни добросовестность агитатора, ни наше заступничество не повлияли на Майсурадзе. Воспользовавшись каким-то предлогом, он направил майора в распоряжение политотдела армии.

В конце сорок четвертого года Майсурадзе спросил меня, не знаю ли сержанта такого-то (фамилия забылась). Его выдвигают комсоргом батальона, а он, начальник политотдела, не уверен, не трус ли тот. Почему трус? Сержант, видишь ли, из Львова, из семьи врача. А почему у меня об этом спрашивает?

— Ты же из этой среды.

Ход его мыслей для меня был неожиданным и чем-то неприятным.

— Полк представляет, ему видней.

— Полк-шмолк. Надо свою голову иметь.

«Своя голова» — любимая присказка, вечное напоминание.

Новый комсорг вскоре погиб в атаке. Мне попался его дневник — горячие и возвышенные мальчишеские строки. Я принес Майсурадзе. Он прочитал от корки до корки. Не произнес ни звука...

Великий был мастер распекать. Начинал обычно вопросом: «Кто ты есть?» И сам отвечал. Нам доводилось узнать про себя немало любопытного. Входя в раж, он, случалось, и преувеличивал. Но, как правило, доставалось за дело, и на свой неизменный вопрос он давал обычно более или менее верный ответ, варьирувавшийся в зависимости от настроения и обстоятельств. Далее следовали угрозы. Они тоже носили традиционный характер. Чаще всего Майсурадзе намеревался послать провинившегося «в первый взвод, первую роту». Но — уточнял — не сегодня. Сегодня это разве бой!

— Помнишь Молотычи (или Десну, или Обыдру, или Заршин)? Пойдешь, когда будет такой бой.

Любил афористичность, не страшился парадоксов:

— Война — это когда убивают лучших.

— За прошлые заслуги аплодируют один раз.

— Кончится война, будем собираться: «Как сейчас помню...»

— Для чего нужен политотдел корпуса? — вопрошал он, сразу же отвечая: — Чтобы было куда посылать копии.

(Все донесения адресовались в политотдел армии, а строкой ниже: «Копия начальнику политотдела корпуса».)

На большом совещании он обводил глазами присутствующих, растягивал в улыбке большой рот, ехидно шурился (Дажин подметил: в такие минуты он походил на японца), спрашивал:

— Каким должен быть политработник?

Все молчали, догадываясь, что обычные определения не подойдут. Майсурадзе выдерживал паузу:

— Политработник должен быть шустрым, быстрым и снова шустрым!

Он говорил с сильным акцентом, получалось «шюстрым». «Шюстрый» у него значило — собранный, оперативный, быстро принимающий решения, смело действующий. Ему нравилось это слово. Самое уничижительное, всепоглощающее ругательство — «бездарный». Трусость для него тоже была видом бездарности.

Избегал пространных выступлений, старался задачу, обстановку вложить в лаконичные формулы. Обычно

последнее слово отрывистым жестом вколачивал в стол.

Нервничая, двигал по ремню лакированную кобурку «вальтера». С ним никогда не расставался. С личным оружием тоже можно сродниться...

На окраине Санюка он застыл, широко расставив ноги, сжав «вальтер» — спокойный и гневный. Эта его поза охлаждала смятенных людей лучше, чем самые забористые увещевания.

Без надобности в огонь не лез. Но когда лез, уйти не заставишь.

Форсировали Сож. Майсурадзе появился на рассвете, часть пехоты еще оставалась на восточном берегу. Убит — болванка в голову — командир батальона. Замполит командовал с полчаса — вынесли с развороченным бедром.

Я сказал Арчилу Семеновичу: лучше бы ему уйти, противник просматривает берег. Он пропустил мимо ушей.

Кричат раненые, рвутся мины, пули секут прибрежный кустарник. Слушать такую музыку лучше, прижавшись к матушке-земле. Но когда начальник расхаживает в рост, подчиненному кланяться и ложиться негоже. Пугачев, коновод Майсурадзе, толкает меня в бок. Я снова насчет опасности. Он прищурился на меня:

— Слушай, неужели тебе моя голова дороже, чем мне? Раз я здесь, — значит, нужно.

Под Заршином немцы окружили НП, забросали минами. Нелегкая занесла туда Дусю, жену Майсурадзе. Начали выбираться. Дуся падала, Майсурадзе закрывал ее собой. Мы с Гороховцевым прикрывали его — так полагалось. Веселенькая была куча мала.

Забыл, как потом уходили. Недавно Дуся мне напомнила: ночью, лесом, ориентируясь по голосам немцев.

Майсурадзе ценил смелость не только физическую, но и смелость решения, мысли, суждения. В редчайших случаях ссылался на документы, прибегал к цитатам. Хотел сам все обосновать, найти свои доводы. Сторонился заемной мудрости. Мало читал. И не потому лишь, что доставало времени, — его не манила придуманная жизнь, кем-то сформулированная мысль. Страсть Кудряшова к чтению прощала как слабость.

Желая поддеть нас, редакционных, уверял:

— Умный и без газеты разберется.

На свою голову я рассказал ему, как приехал в редакцию соседней дивизии, застал спящего редактора и наборщика, который, глядя в потолок, без оригинала набирал статью.

Теперь чуть что:

— Ты пойдешь в первый взвод, в первую роту. Наборщики сами наберут газету.

Полагался на устное слово, считал, что убеждать надо в общении. В печатное слово верил меньше. От газеты требовал оперативности, информации. Общими статьями не слишком интересовался. Ругал за опоздания, неточность факта, неверную фамилию. Не обращал внимания на опечатки.

Надолго мне запомнилась история, связанная с номером дивизионки от 8 ноября 1944 года.

Сквозь треск, помехи мы записали по радио приказ И. Сталина и доклад о 27-й годовщине Великой Октябрьской революции. Шрифта для одновременного набора того и другого у нас не хватало. Мы надумали выпустить двухполоску с приказом, датировав ее 7 ноября, рассыпать набор и 8 ноября набрать четырехполоску с докладом.

Под вечер 8-го меня вызывают в политотдел армии. Инструктор по печати майор Привалов флегматично объяснил: генерал Ортенберг, начальник политотдела, желает проверить праздничные номера дивизионных газет.

С майором Приваловым сверили текст доклада. Три-четыре безобидные опечатки. Вместо «доколачивали» немцев — «добивали». Привалов подчеркнул их красным карандашом. Посмотрел еще раз на первую полосу и взял в жирный красный кружок дату.

— Плохи твои дела. Он этого не терпит. Не ершишься: «Виноват, учтем».

В общем-то я следовал совету Привалова. Один только раз отступил. Генерал, в прошлом редактировавший «Красную звезду», назидательно напомнил: когда в газете шли ответственные материалы, он сам ложился на полосу и вылизывал ее.

— А кроме вас еще сколько вылизывало?

Многого стоила мне эта любознательность. Генерал позвонил начальнику отдела кадров: очередного звания не присваивать, награду не давать...

Но — первейший грех — сделанный 6 ноября доклад помещен в газете от 8-го. Пусть бы газета опоздала, вышла хоть 9-го, но должно было стоять 7 ноября...

Я вернулся в Едличе, когда смеркалось. Дивизия гуляла в школьном зале — обмывался орден Ленина за освобождение Львова. Отыскал Майсурадзе, доложил. Он и в этот день не нарушил обыкновения — не пил. Однако не мог взять в толк, из-за чего сыр-бор.

— Какая разница — «доколачиваются», «добиваются»? Это в стихах нельзя менять, там рифма не получится.

Не понимал он, почему разрешалось выпустить газету с текстом доклада 9 ноября, но датировать — кровь из носу — 7-м.

Я пытался растолковать. Он не испытывал ни малейшего желания вникнуть.

— Надоело. У тебя плохая голова и плохой вид. Слушай, тебе надо выпить. Немного. Иди спать. Твой вид портит наш праздник...

Ему был чужд трепет перед начальством. Вообще должности, имена, популярность его не гипнотизировали. Я ему принес фронтовой рассказ известного писателя. Идея рассказа выражалась открыто: «Смелых убивают реже».

Дочитав до этого места, Майсурадзе пренебрежительно бросил газету.

— Безответственная агитация!..

— Почему безответственная?

Он сузил и без того маленькие глаза, накалялся.

— Агитация должна видеть сегодняшний факт и завтрашний день... Твой писатель говорит себе и всем: это убиты не очень хорошие люди, среди них мало смелых. Так, да? А после войны он будет кричать: «Слава павшим»!

— Может же человек ошибиться...

— Он такой маленький, он такой глупенький... Ай-ай-ай... Надо, чтоб здесь и чтоб здесь,— Майсурадзе ткнул себя пальцем в грудь и постучал по лбу,— тогда меньше будет ошибок. И пусть всякий, когда пишет, когда отрывает рот, думает: «А что я скажу завтра?» — Он садился на своего конька.— Кончится война, и все увидят: нам не хватает смелых людей. Надо быстро воспитывать. А как? Правильно агитировать, правду говорить...

Еще один разговор, вроде бы и о литературе.

Майсурадзе, нахохлившись, не отрывая головы от вечно-го вороха бумаг, толкает мне листок:

— Читай.

Пробегаю кривые карандашные строки:

Воет вьюга, завывая,
А со мною в блиндаже
Ночь проводит, сна не зная,
Боевая пэпэже.

Дальше — в том же роде.

— Откуда у вас?

— Когда ты усвоишь: в армии положено спрашивать старшему. Подчиненный желает задать вопрос — должен получить разрешение.

Он зябко подтягивает сползающий с плеча полушубок. Я принимаю стойку «смирно».

— Товарищ полковник, разрешите задать вопрос.

Он устало машет рукой, снова поправляет полушубок.

— Один командир роты в двести пятьдесят восьмом прочитал. Другой принял за намек — и в морду. Дуэль, понимаешь. Тоже мне Евгений Онегин... Рукоприкладство. Я велел комбату наказать своей властью...

Он не любит, когда досаждают вопросами. Но и когда безответно слушают, тоже не любит.

— У него мало прав, у комбата — к ротному, — вставляю я.

Майсурадзе — замечаю по быстрой ехидно-удовлетворенной улыбке — оценил мою осведомленность в дисциплинарных правах. И, довольный, почувствовал мое недоумение. Ведь получается: он, начподив, вынужден как-никак советовать как с лейтенантом. Пусть он ко мне неплохо относится, но одно дело — покровительственное отношение с высоты своей должности, другое — обращаться за советом. Поэтому очень хорошо, прямо-таки прекрасно, что студент-недоучка в лейтенантском звании не возьмет в толк, из-за чего сыр-бор, из-за чего он, начальник политотдела, отодвинув стопку с политдонесениями, наградными листами, приказами и директивами, вдруг занялся пустяковой дракой.

— Дисциплинарных прав у комбата для такого ЧП хватит. Не в драке существо вопроса. Соображать надо... Начальник политотдела должен думать в перспективе. Ты мне вот что скажи: стихи какие, настоящие?

— Да какие это стихи!..

— Слушай, тебя все-таки спрашивает начальник.

— Виноват, товарищ полковник. Стихи на низком идейном и художественном уровне.

Он задумчиво качает лысеющей головой.

— Надо установить: может, он талант. Тогда создать условия.

— Условия?

— Об этом я буду думать, не ты. Ничего не понимаешь. После войны таланты очень потребуются. Ты скажи: он сейчас глупость сочиняет, а потом получится великий поэт?

— Не получится. Фольклор это, бродячий сюжет...

— По части сюжета будешь после войны профессорам...
Доложи четко: имеется талант?

С неколебимостью студента-литфаковца я заключаю:

— Талант тут не ночевал.

— Ночевал не ночевал,— передразнивает Арчил Семенович.— Когда приучишься к установному языку? Можешь быть свободен...

Мне не передать всех его изречений, не охватить многообразия его работы.

Ночью, например, Майсурадзе звонит в полк: «Все ли в ротах обеспечены лопатами?»

Почему вдруг о лопатах, завтра же наступление? Именно поэтому. Он вчитался в разведданные о противнике. В глубине вражеской обороны следует ждать контратак. Придется окапываться.

Общее внимание сосредоточено на предстоящем первом рывке. А Майсурадзе думает о малой саперной лопате.

И он — никто не сомневается — выяснит, сколько лопат в полку. Не хватает? Будут завезены еще затемно. В этом тоже не сомневаются. Кто-кто, а Арчил Семенович умел заставить достать то, что необходимо солдату. Пусть из-под земли.

Он пытался предусмотреть, предугадать все — и душевное состояние, и психологическую реакцию, любые мелочи.

— Общие факты нас слабо касаются,— кривился он,— мне надо, чтоб у каждого имелись чистые портянки...

Ночью перед форсированием он обыкновенно обходил сбившихся кучками солдат. Выспрашивал, каждый ли умеет плавать.

Майсурадзе был в вечной тревоге за бойца. Жив боец — накормлен ли, одет, обут? Ранен — получил ли помощь? Убит — захоронен ли, извещены ли родные?

После Курских боев, после Красного Клина, когда прибыло пополнение 1925 года, на глазах у Майсурадзе один новичок сошел с ума во время бомбежки. Майсурадзе не мог прийти в себя от его безумных воплей. Не обедал, никого не принимал, заперся в землянке. А он, начавший войну летом сорок первого, чего только не повидал!

...Месяца три я проработал в аппарате политотдела, дни и ночи подле Майсурадзе. Погиб капитан Базарный. Я не успел опомниться, как стал инструктором по информации. Вначале нравилось. Из полков, отдельных подразделений поступали донесения, я их суммировал с тем, чтобы направить в политотдел армии (копия — в корпус). Написал первое донесение,

принес на подпись. Майсурадзе камня на камне не оставил. Не все, что приходит из полков, следует принимать на веру. Монтажа мало, надо и анализировать. Боевую обстановку давать не по-газетному, а по-штабному.

Постепенно я освоился, знал, кому и в чем можно верить, кто сообщает вовремя, кто опаздывает, кто сам пишет, кто полагается на писаря, как, не задевая замполитского самолюбия, выяснить в полку, что к чему.

Но Арчил Семенович не довольствовался обычными донесениями. Он хотел, чтобы подготавливались и специальные, по каким-либо отдельным темам. Чаще всего это касалось стрелковой роты, ее партийной организации.

Одно из таких донесений поручил Жаданову и мне. Мы покорпели, сочинили бумагу, положили перед Майсурадзе. Он нетерпеливо пробежал строчки, поднял прищуренные глаза:

— Кто вы есть? Все ни к черту. Боевую задачу и ту не сумели изложить.

Отправились в штаб, уточнили, заново переписали. Сколько раз мы перекраивали донесение, пока не увидели на лице Майсурадзе довольную улыбку.

— Когда люди стараются, они все могут.

Это тоже из его принципов: при упорстве все достижимо.

Он не делил сутки на день и ночь. В темноте у землянки окликнешь часового — не спит ли полковник.

— Разве ж они когда отдыхают?

Ему приходили на ум неожиданные задачи. Приказал мне, например, разобраться, что такое власовская пропаганда.

В начале войны гитлеровцы сами стряпали листовки. Расчет откровенный: на свои фронтовые успехи и примитивность читателей. С 1943 года листовки, открытые письма, журналы выпускались с помощью власовцев и были куда коварнее, так как сочинялись людьми, сведущими в наших делах.

Я читал, составлял обзоры, докладывал. Но зачем?

Майсурадзе не понравился мой вопрос.

— Посиди-ка на допросах власовцев.

Я посидел. В большинстве случаев история духовного опустошения одинакова: плен, голод, отчаяние, надежда как-то уцелеть, попав в РОА. Среди власовцев повальная слезка, взаимное недоверие. Советские самолеты сбрасывали обращение: при добровольной сдаче с оружием гарантируется жизнь и свобода.

Майсурадзе велел мне послушать власовские радиопередачи.

Перед микрофоном паясничал Блюменталь-Тамарин, пробавлялся антисемитскими анекдотами. Его представляли по-цирковому: «Любимец московской публики, заслуженный артист республики».

Слышал я по радио и Власова — он выступал в Праге. Обозреватель комментировал из зала: «Здесь вы не услышите бурных аплодисментов, переходящих в овации, никто не вскакивает с диким изъятием восторга...»

Власовская литература хранилась в особой папке вместе с фашистскими листовками — советами по членовредительству (будешь втирать в глаза кашу из сырого картофеля, они начнут гнить, очень крепкий чай вызывает сердцебиение, можно спровоцировать флегмону, нарывы и т. д.). Для меня «открытые письма» Власова — он предпочитал этот жанр — мало чем отличались от таких рекомендаций. Мне все было внятно, меня удовлетворяли очевидные решения, я не разделял упорства начальника политотдела.

Теперь казись, кусай локти: о том-то не узнал толком, это не довел до конца, того-то не видел. Не только рук не хватало, было еще бравое недомыслие, подхлестываемое вечной фронтовой горячкой...

В конце концов Майсурадзе удовлетворился собранными мною материалами и справками по власовской пропаганде — какая-то намеченная им для себя задача была решена. На свои вопросы он получил, видимо, ответы. Но не спешил ими делиться со мной. Он машинально кивал, не разжимая узких губ.

Когда я, завершая доклад, заикнулся о желании вернуться в редакцию, он так глянул на меня, что я проглотил язык.

Но я усвоил его же поучение: упорствуя, можно добиться своего.

Была у меня в запасе и козырная карта. По его настоянию я работал парторгом политотдела, а вскоре и управления дивизии. («Люди должны расти».) С переводом в политотдел меня ни на что больше не хватало. Майсурадзе это видел.

Через некоторое время я почувствовал, что дурею от однообразных, будто из свинца отлитых формулировок. Признался в этом, бросил и козыря, приготовившись выслушать речь насчет анархизма, мальчишества, зазнайства и многого другого. Но ничего подобного не последовало.

— Правда не можешь, да?

Я ждал подвоха — слишком уж сочувственно переспросил.

— Подготовь очередное донесение и запрос на инструктора по информации... Запрос можно без копии в корпус.

...В послевоенные годы мы виделись не часто. Майсурадзе работал в Главном политическом управлении, ночами занимался — хотел заочно кончить Военно-политическую академию. Ему бы в войска, комиссарить бы...

Однако поблек он, как видно, не только поэтому. Подтачивали старые болезни. Лечиться же, отдыхать он не умел, не желал.

Давно уже нет в живых начальника политотдела сто сороковой Арчила Семеновича Майсурадзе, а в моих ушах звучит, наполняется неисчерпаемым смыслом: «Кто ты есть?»

«В НЕКОТОРОМ ЦАРСТВЕ, В НЕКОТОРОМ ГОСУДАРСТВЕ...»

Иван Никифорович Тупиков стоял на перроне в велюровой шляпе, из-за воротника толстого драпового пальто белела рубашка с галстуком, перевитым блестящими нитками.

Из вагона воскресной электрички, набитой грибниками, сквозь пыльное окно я смотрел на Ивана. Он выглядел неуместно торжественным среди мелькавших ковбоек, рюкзаков, гитар, бородатых лиц.

Поезд тронулся. Иван кивнул и пошел не оглядываясь. Начался дождь.

Я провел у него весь день. Радиоприемник в комнате молчал, зато надрывалась трансляция в коридоре.

Разговор шел о том о сем. В прошлое вклинивалось недавнее, пустяки путались с важным.

Несколько лет назад у Тупикова умерла дочь. Они с женой Людмилой Георгиевной растят внучку. Внучка в соседней комнате — дверь открыта — корпит над учебником. Потом бежит гулять. Нагулявшись, прибегает:

— Ба, чего-нибудь поесть.

Тонконогая, смуглая, азиатский разрез глаз.

Звонят в дверь. Почтальон принес посылку от зятя. Кетовая икра. Попробовали. Солоновато, но ничего.

Зять — кореец, живет на Сахалине, когда заезжает, готовит свою еду. Наварит кастрюльку риса, кастрюльку жирного бульона. Рис и бульон, мясом закусывает...

Понемногу перешли на другое. Иван пустился в философию:

— Человека убить — страшное дело, преступление. А тогда не считалось... Вася Фисатиди нож держал наподобие кинжала. Не в ножички играл...

Произнося имя Фисатиди, Тупиков чуть оживает. Василий командовал разведротой, а он, Иван, — взводом инженерной разведки. Их вместе посылали на задания. Если же разведчики отправлялись одни, Тупиков со своими саперами обеспечивали им проходы в заграждениях, минных полях.

— У меня в кармане лежали такие флажочки. Обозначал проход. Вася по тем флажочкам ползет... Я его фотографию двадцать пять лет берег. Гаркавенко отдал. Обещал перенять.

Вмешалась Людмила Георгиевна:

— Напиши Гаркавенке, вернет пускай.

Иван не ответил, продолжая свое. Припомнил, как под Езерной в немецком тылу подорвал мост, гитлеровский бронепоезд рухнул на заднем ходу и встал на дыбы.

— Уж и на дыбы?

— Не отрицаешь, бронепоезд был?

Отрицать не приходилось. Наши за ночь наводили переправу, подбрасывали на плацдарм пехоту. На рассвете, сотрясая землю, грохотал по рельсам немецкий бронепоезд, извергал потоки разноцветного пламени. Бурлила вода, доски плыли по быстрому Серету. А бронепоезд уползал в лес, затененный утренним туманом.

На нашем берегу накапливалась техника, на западном, на плацдарме, таяла пехота.

Генерал Киселев произнес железную формулу: «Любой ценой».

Тупикова с двенадцатью саперами выбросили с самолета северо-западнее Тернополя. Следующей ночью полетел в воздух мост перед пятящимся бронепоездом.

На Серете Тупиков взорвал в общей сложности шесть мостов, чтоб не дать противнику отвести технику, артиллерию. Почти вся она попала в наши руки. За это его наградили орденом Александра Невского.

— Я строитель, а орден получаю за разрушение. Чудно, однако...

Я расспрашивал. Иван подолгу молчал, стараясь вспомнить, подробности давались ему трудно.

— Ошибся я, неверно, что Саша Коблов подорвался на mine с Левоу Тарасовым. Саша подорвался. А Лева потом, за Саном... Они по одну сторону шоссе, мы в кювете — по

другую. Лева упал. У меня на коленях умер... В сорок пятом я заходил к его родителям. На Фрунзенской набережной, ход со двора. Тяжело. Один у них сын. И к Кобловым ходил в Лаврушинский переулок... Бронепоезд на дыбы, мы по радио доложили: «Переправу можно строить. Обстрела не предвидится...»

Вспомнил: у Коблова был «умный навык» к взрывному делу, он разбирал любую мину, работал с любым детонатором. И другим умел объяснить устройство. Но и умного сапера караулит смерть.

Саперу-разведчику надо многое знать и уметь. Взрыв, диверсия — еще не все. Зашел в лес, разгляди, каков он, какие породы деревьев, диаметр ствола на уровне груди. Река: скорость течения, дно, берега, глина или песок, мосты...

Про войсковых разведчиков пишут повести, снимают кинокартины. Инженерных разведчиков редко балуют вниманием. Прозаическое это дело, будничное — стволы обмерять, вешки ставить. Но до чего же нужная на войне проза! И приключений на их долю хватало.

Взвод инженерной разведки — государство в государстве. Таких внутренних автономий в дивизии немало. Но инженерная разведка не только внутри, но и вовне. Действовать взводу приходится и за пределами дивизии.

Офицерам в полках еще не розданы листы километровки с голубой лентой из угла в угол, а взвод инженерной разведки уже за Днепром, штабной радист дежурит на приеме.

Так полагается, так оно и было. Не с первого, правда, захода.

В крошечной ночной мгле резиновые лодки — на них двенадцать саперов во главе с лейтенантом Тупиковым — причалили к западному берегу Днепра. Задача: связь с гомельскими партизанами, разведка местности, подрыв объектов в ближайшем тылу врага. Но едва солдаты спрыгнули на землю, навстречу в упор вспышки пулеметов.

Ивана ранило в руку. Как выбрались из огня, сами не ведают.

Доложили: задание не выполнено, рация брошена. Трое убиты.

Начальник инженерной службы майор Кряжев грозил разжалованием, штрафбатом — всем, чем грозят в подобных случаях.

— Хотели применить статью. И правильно, — соглашают-

ся сегодня Тупиков,— на фронте не положено, чтоб приказ был не выполнен.

До трибунала и разжалования не дошло. Инженерное начальство посоветчалось с дивизионным и остыло. Приказали повторить все сначала. Саперную группу усилить разведчиками. У Тупикова восемь бойцов, у Фисатиди — четыре.

— Как насчет Фисатиди сказали, у меня на душе повеселело,— улыбается Иван.

Переpravлялись в прежнем месте, где шесть суток назад напоролись на пулеметы. Расчет оправдался: немцы ждали где угодно, но не здесь.

Как и намечалось, их встретили гомельские партизаны. Привели в свой штаб, радуются — обнимают, целуют. Самогон подносят. Разложили на столе карты. У партизан все разведано: склады боеприпасов, штаб, минные поля.

Во вражеском тылу надо загодя делать проходы для наших танков, снимать заграждения, за которыми укрылись сами партизаны. Укрылись прочно.

Возле станции Василевичи Фисатиди залез на высоченное дерево. Место опасное — между первым и вторым эшелонном противника, но обзор как с самолета.

Тупиков стоит с автоматом внизу, Фисатиди с биноклем — наверху. Вокруг по дорогам шныряют немецкие машины, гудят танки, артиллерия.

— Мы все по долгу службы разведчики были, а Вася — он от бога. Это если допускать пережитки...

Помолчав, Тупиков вспоминает: Василий восемь часов просидел на дереве, высматривал, считал, записывал. Потом слез, размял руки, ноги, потоптался на месте. На его карте каждая дорога, высотка, лесок уже были не стандартно-условными обозначениями, но реальными препятствиями или подспорьями нашему предстоящему наступлению.

Когда приблизились к складу боеприпасов — два обшитых тесом барака, — Фисатиди и Саша Коблов сняли часовых. Фисатиди действовал кинжалом, у Саши — финка.

Тупиков и остальные саперы обматывали бараки в три ряда детонирующим шнуром, привязывали противотанковые мины — чтоб уж наверняка. Тупиков велел ребятам отбежать метров на четыреста. Сам затаился в ямке, повернул ручку ПМ-2...

Иван оторвал от стола пухлую ладонь и воспроизвел резкое движение, будто крутанул подрывную машинку. Он оживился. Людмиле Георгиевне это не понравилось. Она осуждающе повернулась к мужу:

— Все о своих взрывах. Привел бы что-нибудь положительное... Злая я становлюсь, все не по мне. Раньше другая была. На фронте стихи сочиняла ночью, как все улягутся. Одно поместили в газете:

На переднем краю обороны,
Там, где пули, снаряды свистят...

Дальше забыла. Большое стихотворение, вот столько места занимало,— она развела руки и показала, как рыболовы показывают длину пойманной рыбы.

Иван вспоминал: грохот, словно земля лопнула, куски ее со свистом летят над головой, а у подрывника — счастье на душе, готов обнять кого попало.

— Я считаю,— уже как-то безразлично прикинул Тупиков,— снарядов там лежало — артполку хватило бы вести огонь две-три недели круглосуточно. А мы их — за секунду!

При таком предприятии — давай бог ноги. Но у Фисатиди свое правило: пожар, светло — надо смотреть. И он полез на дерево.

Опять Иван внизу, Василий наверху. Высмотрел Василий: две машины с замаскированными фарами мчались к месту происшествия. Разведчики и саперы — миглом на дорогу. Сунули в мины взрыватели, присыпали землей — и тикать.

Оба грузовика грохнули с лету. Но когда дым и пыль улеглись, наши увидели, что не все немецкие солдаты погибли. Завязалась перестрелка. Василий заупрямился, не желая уходить без «языка». Пока не взяли двух, не успокоился.

Вишь как получается: хотели разжаловать, применить статью, а дали Красное Знамя. Вася получил Александра Невского, Тарасов и Коблов ордена Ленина. И прочих не обошли...

Его руки покойно лежали на скатерти, белые, мягкие. Сам он, домашний, смирный, бестрепетно произносил армейские фразы.

Я слушал, замороженный не только эпизодами, но и его почти бесстрастной, почти отсутствующей манерой рассказывать. Она нисколько не убивала интереса, однако становилось почему-то печально, делалось не по себе...

Когда Тупиков перечислял награды, Людмила Георгиевна откликнулась:

— Он ведь такой,— она осуждающе покосилась на мужа,— сказали в военкомате — два Александра Невского не положено,—сдал один, честное слово, сдал. Пришел — дырка на гимнастерке...

Иван подождал, пока жена притихла, и беззвучно продолжал рассказ.

Пленных привели к партизанам. Сняли допрос. По радию доложили в дивизию.

Оттуда передали: «Спасибо за службу, выполняйте следующую часть приказа».

Пришел черед гитлеровского штаба, расположенного в восьми километрах от Речицы...

Он вспоминал всякое.

За Дукельским перевалом в немецком тылу Фисатиди спас Тупикова. Толкнул в то мгновение, когда немец-автоматчик нажимал спусковой крючок. У Фисатиди была снайперская наблюдательность, обостренный слух, мгновенная реакция.

— Не толкни он меня, мы б с тобой не вели теперь тарыбары.

В Карпатах Иван дважды докладывал генералу Свободе. Тот угощал его чаем.

Тупиков хотел рассказать, как это было. Но в памяти всплыло другое.

— Помнишь лощину, куда пошла кавалерия на помощь словакам? После нее мы той лощиной двигались. Кругом по склонам убитые лошади...

У него выступили слезы, и Людмила Георгиевна вставила:

— Глаза на мокром месте. Верный признак — стареешь.

— Я лошадой всегда жалел, — будто оправдываясь, сказал Иван и замолчал.

Он устал от моих вопросов, от возвращения в прошлое, встреч с прежним Тупиковым, с людьми, многих из которых давно нет среди живых.

Годы своевольничают, туманят факты, смещают их границы. Вдобавок — старая контузия.

Во время разговора, как всегда в таких случаях, разложили фотографии. Одну Иван пододвинул ко мне.

— Не знаешь?

— Нет, — ответил я.

И сразу понял свою оплошность. Людмила Георгиевна поспешила на выручку. Фотография, дескать, неудачная, совсем нетипичная.

Но фотография была удачная. На ней крепкий парень — гимнастерка трещит на плечах, широконосый, густая шевелюра, глаза расширены. Не просто застыл перед аппаратом — ждет, напружинившись. Получит приказание — ветром сорвется, только его и видели.

Я смотрю на немолодого, рыхловатого человека с короткой шеей, реденькими седыми волосами. Он сутулится, говорит заикаясь.

— После контузии слова не мог выдать, — объясняет Людмила Георгиевна, — застрянет на какой-нибудь букве. Бестактные люди даже смеялись. До пятьдесят второго года мучился...

Я никак не могу совместить их, Ивана, с которым сижу, и давнего, глядящего с пожелтевшей фотобумаги. Тот, вчерашний, так и остался там, в прошлом. До него уже не дойти, к нему не достучаться.

Такова участь не только Тупикова, — разве что тут контузия увеличила разрыв. Читая собственные письма военных лет, лишь единичные фразы воспринимал я как свои...

Для Ивана Никифоровича Тупикова он, вчерашний, отстоял сейчас настолько далеко, что минутами его воспоминания звучали сказкой: «В некотором царстве, в некотором государстве...»

Но ведь не сказка. Иван Тупиков не Иван-царевич, он завхоз Дмитровского строительного техникума.

Все верно. Однако мне не избавиться от сознания: Ваню Тупикова, лихо командовавшего взводом инженерной разведки, я тогда толком не разглядел, что-то упустил. Значит, упустил навсегда.

Людмила Георгиевна принесла борщ, поставила тарелку с нарезанными помидорами. Иван содрал желтую головку со «столичной», изготовленной в городе Калуге.

После обеда вдруг надумал:

— Расскажу одну историю. Ладно уж. У нас был уговор: молчок, никому. Теперь можно раскрыть.

Взвод Тупикова вел инженерную разведку в полосе Тернополь — Львов. Обнаружил минные поля, обезвредил сотни мин, прихватив для отчета капсули. Все шло ладно. Даже удалось приспособить пленных для разминирования в их же тылу.

Но когда очень уж гладко, жди беды.

Тупиков со старшиной Арбуковым, рядовым Анисимовым и еще одним солдатом, фамилию его он запомнил, действовал отдельной группой и угодил в плен.

— Как схватили? Как мы хватаем, так и нас...

Надели наручники и погнали. Привели в какой-то дом. Перед тем домом три виселицы. Внутри — русские, украинцы, казахи, литовцы. Выводили по трое. Когда вешали, открывали ставни, чтоб из дому видно было. Потом закрыва-

ли. Темнота, теснота, духота. Многие обессилены. Но Тупиков и его ребята еще держались. Пока силы есть, надо действовать.

Иван ощупал простенок между окнами. Дом старый, доски гниловатые. Если скопом навалиться? Риска нет — так и так виселица.

Стена сперва не поддавалась, потом рухнула.

Началось невообразимое. На пленных бросились собаки. Парни отбивались наручниками.

К счастью, у немцев не было пулеметов, и сами они из «тотальных». Вешать еще годились, но дрались слабовато. Пленным же терять нечего. Бились как звери.

Сколько наших погибло, сколько немцев, Тупиков не подсчитывал. Предполагает, человек двадцать пять спаслось. Среди них — трое из взвода.

В лесу разбрелись кто куда: одни хотели к партизанам, другие — перейти линию фронта, третьи — дожждаться прихода наших.

У Тупикова была цель — найти свой взвод. Но прежде чем искать, условились: никому ни под каким видом не признаваться, что попали в плен, почти сутки провели в доме с закрытыми ставнями, что бежали, дрались.

Взвод нашли. Ни один не нарушил обещания.

— Не веришь? — уставился на меня Тупиков.— Арбуков, между прочим, проживает в Иркутске.

— Верю, Ваня.

— Думаешь, зря Иван тайну развел. Не зря. Разведчик не смеет в плен попадать...

Так вот ты каков был, простодушный парень с фотокарточки военных лет, какую тайну берег, сохранив себя и товарищей!

Мне предстояло еще раз убедиться: иное из того, что случилось на фронте, долгое время оставалось неизвестным. Спустя годы, выходя наружу, эпизод с Тупиковым должен был помочь преодолеть расстояние до «некоторого царства, некоторого государства». Но поможет ли? Не слишком ли невероятна при свете сегодняшнего для его безусловная вчерашняя подлинность?¹

Когда я собирался домой, Иван Никифорович надел

¹ Уже после нашей встречи история о пленении и побеге И. Тупикова была рассказана на страницах дмитровской газеты «Путь Ильича». Он сам прислал мне номер от 7 октября 1969 г., где помещена его фронтовая фотография и заметка под названием «Человек из легенды».

пиджак, чтобы проводить на станцию, поправил галстук. В задумчивости остановился.

— Нравится мой галстук? — Он положил на ладонь черную ленту, прошитую поперек золотой ниткой, оценивающе поглядел на меня. — В Москве купил. Я тебе дорогой объясню, где магазин.

НОЧЬ В МОСКВЕ И ВЕЧЕРА В КЕНТАУ

На праздничной встрече 9 мая 1967 года поднялся Алексей Бессонов, в прошлом начальник дивизионной разведки, подождал, чтоб улегся ресторанный шум:

— Предлагаю не чокаясь выпить в память нашего замечательного разведчика Василия Дмитриевича Фисатиди. Молча выпили.

Некогда я рассказывал Эммануилу Генриховичу Казакевичу — он знал толк в войсковой разведке — о Фисатиди: как тот однажды взял «языка».

Дело было лунным вечером. В доме на окраине села немецкий офицер меланхолично слушал патефон. Василий подкрался сзади. Скрутил офицера, платок в рот. Прежде чем унести, перевернул пластинку, повернул раз-другой ручку патефона.

Всего за Фисатиди числилось полторы сотни пленных, точнее — 156.

«Артист, — оценил Казакевич, — поглядеть бы на него».

Я сказал, что Фисатиди был ранен в Карпатах, отправлен в тыл и, наверное, погиб, не то подал бы голос.

Осенью 1968 года я лежал в больнице. Ко мне никого не пускали.

Заглянула нянечка Анна Ивановна:

— Там тебя друг фронтовой спрашивает. Три часа по Склифосовскому ищет. С войны, говорит, не виделись.

— Кто такой?

— Что с вами делать, дам халат. Только смотри, десять минут, не больше.

И он вошел в палату.

Вошел и присел на мою койку. Я глядел на него во все глаза:

— Василий?

— Тебе нельзя разговаривать, — тихо произнес он.

— Откуда взялся?

Он молчал. Немигающий взгляд из-под густых черных

бровей, скорбно сжатые губы. Резкая складка четырехугольного подбородка.

Миновало больше полугода. Девятого мая он приехал в Москву, и я увидел его снова — строгого, в черном костюме, из-под лацканов клином — ордена.

Мы поехали ко мне и просидели вдвоем до рассвета. Хотя за день устали до изнеможения — встречи гаданные и негаданные, радость, а то и слезы. Когда добрались до квартиры на Ломоносовском проспекте, Вася, вопросительно глянув на белые двери с трех сторон от прихожей, и услышав, что, кроме нас с ним, в доме никого нет, не расшнуровав, сбросил ботинки, пошевелил затекшими пальцами. От тапочек наотрез отказался; в носках прошел на кухню. Нечто кошачье прорезалось в его походке, сохранившееся, видимо, от тех времен, когда надо было неслышно ступать, чувствуя под ногами любые неровности земли, но не позволяя ей почувствовать тебя, груз твоего снаряжения, твою молчаливую стремительность.

Чай пили отдохновенно, неторопливо, перескакивая в разговоре с одного на другое. Меня с самого начала подмывало спросить, какой ветер сорвал его с благодатного черноморского берега и занес в казахстанскую степь. Однако повод не подворачивался, и когда я все же задал свой вопрос, Василий вместо ответа попросил еще стаканчик — только погорячее и покрепче. Поинтересовался, нет ли у меня ключа разводного или гаечного, удивился, как можно обходиться без таких инструментов, недоверчиво взял пассатижи, подкрутил гайку в кране мойки. Монотонное капанье, к которому я не мог привыкнуть и с которым не мог совладать, мигом прекратилось.

— Я теперь с любой техникой запросто, — улыбнулся Вася. — А по автомобильной части — как повар с картошкой... Каким ветром занесло?..

И медленно повторил:

— Ветром?..

Я не ожидал услышать что-нибудь неожиданное. После войны многими вчерашними фронтовиками овладела беспокойная тяга к перемене мест. Худо было с жильем, одеждой, особенно зимней, и потому тысячи людей устремились в южные края. Рушились иные старые семьи, новая жизнь не всегда задавалась — фронт не очень-то к ней готовил...

— Слушай насчет ветра. Хочешь — запоминай, а хочешь — забудь.

Теперь передо мной у овального кухонного стола, покрытого желто-коричневой клеенкой, сидел тот Фисатиди, какого я знал по фронту, — собранный, сжавшийся, как пружина; никаких следов усталости, расслабленности. Даже белая рубашка с черными лямками подтяжек, опущенный на грудь узел галстука с синей искрой, пиджак с регалиями, висевший на спинке стула, ноги в носках не меняли этого ощущения. Узловатыми пальцами он сжимал оставшиеся на столе пассатижи, словно браунинг. Говорил фразами отрывистыми, резкими, предназначенными только тому, к кому они обращены. Будто ставил задачу своим разведчикам. Остальное сказанное им не касалось.

После тяжелого ранения в Карпатах — то ли пятого, то ли шестого, — после возвращения из госпиталя и окончания войны у Василия все шло ладно, гладко. Хоть и попал он в новую часть, где его не знали. Кадровики и слышать не хотели о демобилизации, да и он не слишком к этому стремился, любя армию. В войсках, оккупировавших восточную Германию, он получил под начало парашютно-десантную роту и быстро навел в ней идеальный порядок. Командование, получив приказ о подборе кандидатов в Академию имени Фрунзе, сразу же занесло Фисатиди в список. Правда, вскоре произошло какое-то недоразумение. Аттестацию и характеристики отправили, а вызов на экзамены получили все офицеры, кроме Василия. Будто его бумаги где-то застряли или их придержала чья-то рука.

— Нисколько о том не жалел. Я и без академии службу знаю.

Очередной отпуск он проводил в своем селении, поблизости от Сухуми. Приехав, закатил банкет, собрав в ресторане всю родню и соседей.

— В тот вечер я ее и углядел. Зашла к отцу, шеф-повару. Тоненькая, черноглазая. У меня взгляд мгновенный. Принимаю решение жениться.

— Познакомились?

— А зачем? Я же принял решение.

На пути к загсу, однако, выросло непредвиденное препятствие. У невесты, как и у многих ее земляков, с незапамятных времен проживавших на Черноморском побережье, сохранилось греческое подданство.

Приятели советовали уладить дело через местную милицию — там свои люди. Вася закипел:

— Чтобы я, советский офицер, коммунист, женился на иностранке?!

Назавтра он извлек из чемодана с подарками отрезы на костюм и пальто, часы с золотым браслетом и поехал к сухумскому начальству.

— Секретарша увидела мой иконостас, распахнула дверь в главный кабинет... Кладу на стол рядом с телефонами отрезы, сверху часы. Сам застываю по стойке «смирно». И докладываю: «Товарищ начальник, я проливал кровь в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Но всегда уважал руководство в тылу. Примите от чистого сердца». Ну и пару слов насчет Лизино подданства. Поворот через левое плечо — и строевым на выход.

Спустя два дня невеста получила советский паспорт. Снова сняли ресторан — теперь под свадьбу.

В Лизе Василий не ошибся. Она посылала ему ласковые, подробные письма, он коротко отвечал на каждое: давал указания по всем жизненным вопросам, советовал, как вести себя при беременности.

Вдруг письма с Черного моря прекратились. Месяц, другой — ни листочка, ни словечка. Связь словно бы оборвалась намертво.

Командование вошло в положение капитана Фисатиди и предоставило ему внеочередной отпуск.

Ничего не понимая, он прибыл в свое селение. Как безумный метался от дома к дому — и ни одного грека.

Единственное, что ему наконец удалось выведать: всю родню, соседей, друзей отправили в Казахстан, в Чимкентскую область.

Фисатиди попросил у военного коменданта литер до Чимкента и в офицерском вагоне, в новеньком мундире, при орденах приехал в голую, бескрайнюю степь, на попутке добрался до населенного пункта, который ему указали местные жители. На окраине в землянке ютилась Лиза.

— Представляешь себе, не землянка даже, а наподобие лисьей норы. Только с печкой из кирпича. Возле печки Лиза с новорожденным... Я рванул мундир — пуговицы надраенные полетели. Хотел бросить в огонь... Лиза тихо умоляет: «Не кидай, хуже будет...»

Путешествие их от Сухуми к казахстанским равнинам было долгим. На коротких остановках хоронили близких. В одной из таких могил остался Лизин отец — знаменитый в окрестностях Сухуми шеф-повар.

Утром Лиза пришила пуговицы, и Фисатиди отправился в районный центр. Там-то все поймут, увидят, кто он такой, и немедленно исправят дикую ошибку.

Однако слушали его вполуха и, выслушав, рекомендовали вернуться к жене и впредь без разрешения никуда не выезжать.

Едва стемнело, в землянку, не постучавшись, вошел какой-то чин в длинной шинели. Обозвал Фисатиди фашистским отродьем и объявил, что ему запрещен выход за пределы зоны.

Василий мертвой хваткой вцепился в отвороты долгополой шинели и так толкнул ее хозяина, что тот вышиб спиной дверь убогого жилища.

Лиза проревела всю ночь, ожидая жестокой кары.

Наутро заявился очередной начальник и сказал, что вчера заходил его заместитель. Напрасно Василий Дмитриевич с ним так обошелся. «Вы, товарищ Фисатиди, такой же фашист, как я. Только сейчас никому ничего не докажете. Подчиняйтесь порядку и не тратьте понапрасну нервы. Это мой совет, моя просьба».

— Душевный товарищ, помогал грекам где мог. Его потом из органов турнули. Тогда мы ему сообща построили дом. Еще очень дружественно помогали товарищи казахи. Они и сейчас — чуть что, выбирают меня в партком или еще куда.

Из всей Васиной родни ссылки избежал лишь брат его Георгий.

Ночью к нему постучался начальник отделения МВД: «В войну я был у тебя капитаном и знаю как облупленного. На подводной лодке каждый словно на ладони. Спасти от ссылки не в силах. Но не могу мириться, чтобы моего матроса втолкнули в теплушку... Уходи в горы, сейчас уходи... Прости меня...»

После смерти Сталина ограничения начали отменять. Если раньше Фисатиди ставили в пример остальным как одного из лучших производителей в автохозяйстве Кентау, то теперь вспомнили и о его фронтовой славе. Сперва в одной местной газете написали, потом в другой. Потом рассказали по радио...

Мы давно допили чай и схрумкали сушки. В туманной весенней рани проскрежетал по рельсам первый трамвай, на остановке у кинотеатра «Прогресс» со стуком открылись и захлопнулись автоматические двери. Из сопредельной кухни доносился бодрый радиоголос, оповещающий слушателей об утренних известиях.

Василий машинально крутил в руках пассатижи. Но когда я предложил поспать часочка два, наотрез отказался.

— Имеется еще один вопрос. Ты помнишь того немца?

Я не переспросил, какого, сразу понял, кого он имеет в виду. Я не однажды вспоминал про того немца. Но он-то, он почему?

...Дивизия застряла перед вражеской обороной. Противнику подбросили отчаянно сражавшееся пополнение. Даже взять «языка» не удавалось. Разведчики каждую ночь возвращались с пустыми руками.

— Генерал Киселев пообещал оторвать мне голову, если не выполним приказ...

Помню солнечное летнее утро, лужайку с росистой травой возле НП дивизии. Помню, как Вася, залитый своей и чужой кровью, тащит на горбу молодого немца с растрепанными русыми волосами. У немца затек глаз, навывлет прострелена грудь. Не жилец.

Переводчик сразу же начал допрос. Начальник разведки Бессонов присел на корточки — не пропустить бы ни звука. Генерал нетерпеливо расхаживал рядом, косясь на пленного. Немец молчал. Трава под ним чернела от крови.

Фисатиди разорвал на немце коротенький зеленый мундир, разорвал нательную рубаху. И стал давить стволем парабеллума в белый живот. Я никогда не видел его в такой ярости. Из-за этого ли упрямого молчания она вспыхнула, из-за того ли, что немец, отбиваясь, уложил двух наших разведчиков и ранил самого Василия.

Вдруг немец с хрипом набрал воздух в легкие. И заговорил. Нет, он кричал, захлебываясь кровью и ненавистью. Кричал на чистейшем русском языке. Все, что слетало с его окровавленных губ, было нам удивительно знакомо. Я не сразу сообразил — почему.

Да ведь то был текст, который герой рассказов из школьной хрестоматии, из армейских газет произносил, попав в плен. Только исполненные злобой слова обращены были к нам, именно нас последними словами проклинал житель города Бобруйска, добровольно вступивший в гитлеровскую армию.

До какой-то минуты генерал Киселев с недоумением слушал хриплую ругань, а потом махнул рукой: «Уберите!»

— Для меня нет мрази хуже изменника, — мрачно процедил Василий. — Никогда не щадил. И не буду. Только

откуда их столько взялось?.. Насчет классовой борьбы я в курсе дел. Сам проводил политзанятия.

— Что мы знаем про этого, из Бобруйска?

— Кое-что знаем: он двадцать пятого года рождения. Учился в такой же школе, как и мы с тобой, читал небось те же книжки. Смотрел «Путевку в жизнь», «Чапаява», «Мы из Кронштадта»... На войне чикаться некогда — линия фронта вносит ясность. Но насчет мирного времени мне понятно другое: нельзя никого понапрасну обижать, ущемлять в чем-нибудь. Несправедливость толкает на злобу, на месть. Человек слепнет. Чем-то, наверно, и его озлобили. Озлобленный человек — как зверь...

Василий еще и еще говорил про несправедливость, которая может обернуться опасностью для государства в трудный час.

— Тебя тоже обидели, — не удержался я.

— Меня? — удивленно вскинулся Василий. — Я офицер, разведчик. Я люблю обиду стерплю.. Помнишь, генерал Киселев говорил: «Если бы в нашей дивизии все воевали как Фисатида, она бы самого Гитлера доставила на аркане в Москву».

Честно говоря, я не помнил этих слов и сейчас, не подавая вида, усомнился в них. Но мысль Василия, его внутренняя несгибаемость становились мне доступнее. Возможно, какая-то давняя похвала Киселева — он высоко ценил Фисатида — трансформировалась в его сознании в четкую фразу, помогавшую ему сносить невзгоды, несправедливость, подниматься, что ли, выше их. Но при всей своей кремневой твердости он помнил того немца. Вечерами в Кентау, наверно, думал о нем.

Только никогда больше не заводил о нем речь. Как и о злом ветре, занесшем его самого в степи Казахстана.

Мастеря завтрак, я порезал палец. Вася присыпал табаком и пеплом.

— Проверенный способ. В тылу, бывало, кровотечение останавливали.

Он был ранен много раз. В отметилах с ног до головы. На животе белая полоса от немецкого штыка: память о рукопашной в сорок первом.

— Никогда не терял себя. А тут все забыл, ничего не чувствовал. Озверел...

Утром мы отправились к Юрию Киселеву.

— У тебя плащ найдется? Это прикрыть,— Вася склонился на орден.— Вчера можно, особый день. Сегодня не надо.

Переходили улицу. Он намертво стиснул мою руку. Пропустили машину, Вася разжал пальцы:

— Теперь иди... У тебя такая же походка, как раньше. Одно плечо выше другого.

Сам он свободно нес мускулисто-гибкое тело, ступал легко, движения выверены. На улице все схватывал с одного взгляда: фасад дома, марка автомашины, брикетик фруктового мороженого на лотке.

Я прежде не бывал у Киселевых. Василий ночевал у них в день приезда.

— У тебя адрес записан?

— Не надо, рядом дом с башней,— заверил он.

— Глянь в записную книжку. На Садовой башен хватает.

— Не бойся.

Он уехал к себе и слал короткие письма. Письма-донесения и письма-распоряжения.

«Работал я по спасению животноводства в степях Казахстана. Нынче зима небывалая. Старики (аксакалы) говорят, что подобной зимы не видели 30 лет. Морозы достигали 48°. Сейчас период появления маленьких ягнят. Овца, бедная, сама не выдерживает. Закрытых помещений или дувал нет. Ничего не приспособлено, все рассчитано на подножье».

А вот — распоряжения:

«Режим и еще раз режим. Здоровье прежде всего. Надо воздержаться. Мы это видим, когда крайне приспичит, а заранее не реагируем. Мне обещали товарищи достать меду из дерева Сары-агача по течению реки Сырдарьи. Помогает от сердца. Этот мед будешь употреблять только с какао. А спиртные напитки забыть. Особенно курение».

Прислал мед и банку жира дикого кабана. «Кабан водится в горах Каратау. Корм его состоит из корней растений. Этот жир будешь употреблять с хлебом, а сверху жира обязательно мед».

Ныне это горняцкий городок с большим индустриальным будущим. По утверждению кентаусцев, один из самых зеленых в стране. Сюда наезжают делегации, туристы, и недавние землянки кажутся неправдоподобно далекой историей.

Часто и упрямо он повторяет: «Я живу хорошо», «У меня все хорошо». Каждый раз, по всякому поводу: «Хорошо я живу, знаешь, хорошо».

Еще в Москве Василий описывал свой дом, чертил план: кухня, зал, комнаты. В Кентау я все это увидел воочию: прочно, по-хозяйски, поставленный дом, залитый цементом погреб, бетонные канавки, чтоб вода не размывала фундамент, сад с виноградником, укрытым на зиму. Все своими руками.

Мы бродили по тенистым улочкам. Кентау невелик. На одной окраине чихнешь, на другой: «Будьте здоровы!» По мостовой трусил ишак, на нем пожилой казах в роговых очках и малахае. Василий коротко аттестовал встречных: «Хороший товарищ», «Общественный товарищ», «Товарищ фронтовик».

Нехороших товарищей в Кентау не водилось.

Поднялась буря. Налетел ветер, загрохотал крышами. Величественные тополя кренились как травинки. Мгновение — и ветер понес над землей потоки воды.

Василий остановился у чужого «Москвича», прижавшегося под деревом, кивнул хозяину. Сам распахнул дверцу. Через пять минут мы были доставлены домой. Все свершилось как само собой разумеющееся.

Город знает Фисатиди, его фронтовое прошлое. Многие пионерские дружины Казахстана носят его имя. В Алма-Ате вышла книжка Н. Наумова «Позывные разведчика — «Коршун». На первой странице портрет Василия. Красивый юноша с округлым лицом и мечтательным взглядом, аккуратный китель, нашивки ранений, ордена.

Я помню его другим: на шее бинокль и автомат, в черной треугольной кобуре парабеллум, на поясе кинжал, спереди и сзади гранаты, карманы оттопырены, в каждом по «вальтеру», из-за голенищ кирзовых сапог — рожки автоматов («Взорвался бы — почище бомбы»).

Н. Наумов рылся в архивах, в старых подшивках, постарался восстановить увлекательные и опасные эпизоды. Книга полна восхищения перед героем, и язык не поворачивается побранить автора за пристрастие к преувеличениям и кинематографическому детективу.

Я поинтересовался, как Вася относится к «Коршуну»: — Все там правда?

Он улыбнулся:

— А сколько процентов полагается?

Восемнадцать лет он работает на кентауской автобазе.

Работает, как и все, за что берется, на совесть. Я читал письмо, адресованное в городской комитет партии:

«Руководителем хлебоуборочной кампании с начала и до конца был начальник эксплуатации тов. Фисатиди В. Д. Мы убедительно просим вас постоянно на период хлебоуборочной кампании закреплять за совхозом XXII партсъезда коллектив кентауской грузовой автобазы».

Когда небывалая зима шестьдесят девятого года перемела дороги, столбы по провода утонули в снегу, Фисатиди вел в горы автоколонны с сеном. Дни и ночи, сквозь стужу, метельные заслоны.

Он освоился в степи, сблизился с коренными жителями: казахское хлебосольство выручило в тяжелый час. Уезжая к брату на Черное море, Василий тоскует по Кентау. Но и дома, в степном городе, минутами что-то тревожит: не вернуться ли? Отчая земля, полуденное небо...

Уже на вокзале, когда я садился в поезд, он спросил: — Ты бы как решил?..

«Я живу хорошо»... Дом — полная чаша. В доброй семье все ладится. Лена уже замужем. («Знаешь, повезло, Одиссей — тактичный товарищ».) Старший сын Дмитрий почитает родителей и технику, учится и работает. Семиклассник Коля, левый крайний нападающий, великий знаток футбола, без запинки перечислит состав любой команды. Для него нет бога, кроме Пеле. По заказу сына Василий пишет портрет знаменитого футболиста. Еще в 1940 году Вася кончил художественное училище, и теперь это пригодилось. Пеле ведет мяч прямо на зрителей...

Четкость, искони свойственная Василию, чувствуется теперь в налаженности семейного уклада. Кажется, чего еще надо?

Я прижился в домике по Пионерскому переулку. Меня уже не удивляет, что за забором живет Пенелопа, что предстоит свадьба Венеры. Не удивляет осколок Эллады в казахстанской степи.

Днем сбегаются на полчаса соседки, меня приглашают на кофе. Гадают на гуще. Мне выпадает короткая дорога с двумя удачами, мне должны деньги, но какой-то мужчина не отдает, коварная женщина выпадает. Но хорошее тоже предвидится...

Мне всего милее в Кентау вечера. Из комнаты долетает казахская, узбекская, русская речь — телевизор в новинку, его редко выключают. Мы с Василием на кухне. Он потягивает пиво. Кончается бутылка — выходит на крыльцо, там

целый ящик. В ногах возится настырный котенок с тугим белым брюшком.

Говорим о войне.

Да. Василий здесь, с семьей, с автоколоннами, «МАЗами» и «Татрами». Но еще и там, на войне. Больше, чем кто бы то ни было. Для него она никогда не кончается. Про него эти строчки:

На нас до сих пор военные сны
Как пулеметы наведены...
И снаряд, от которого случай спас,
Осколком во сне настигает нас...

— Среди ночи просыпаюсь, не верю: я это? живой? мои это дети? моя жена рядом?

Многих на фронте держала надежда: смерть не для меня, я уцелею. Рядом падал убитый, — и «смерть опять проходит мимо». Василий, наоборот, был уверен: ему не вернуться. Доколе может длиться игра с костлявой? Как бы он ни изловчался, она свое возьмет, и не с такими справлялась. Радовался удаче: жив, приволок пленного. Но не забывал: удача может быть последней. Надо смотреть в глаза правде. В глаза смерти.

— Перед заданием норовлю забежать в медсанбат, поглазеть на девчат. На случай, если не вернусь...

Он выжил. Трудится. Он дома, рядом родные, вокруг все спокойно. Но гремят выстрелы, зовут умирающие.

Всем тяжело давалась война, но не каждому из нас так, как Василию. И не каждый себя так в ней нашел, как он.

Я рассказываю ему: вот он, уходя в тыл, заставляет своих разведчиков попрыгать — не бренчит ли что-нибудь, хорошо ли все пригнуто. Сам прыгает, а другие слушают.

Он доволен:

— Так, так, верно.

Ему сейчас всего дороже то, что помню и я. Сам же он бережет в памяти все до мелочей. Как, захватывая пленного, оглушил его ребром ладони, как схватил, перебросил через себя, на лету ударил локтем в бок. Не ударишь — быстро опомнится, набросится сзади. Ударишь — часа на четыре выведен из строя. «Быстрота и еще раз быстрота».

С такой же обстоятельностью описывает подготовку поиска. Когда удавалось, поиск проигрывался от начала до конца в своем тылу, на сходной местности, в расчете на проницательного противника.

Почему взял с собой этих солдат, а не тех. Как часами

высматривал, затаившись в траве на нейтральной полосе. Как выбирал время — лучше всего около двух ночи: меньше ракет, слабее зоркость у противника, ко сну клонит.

Искусство разведчика — это и искусство перевоплощения. Напялить зеленый мундир не шутка; Василий не раз облачался в него. Ты влезь в шкуру гитлеровца, предугадай его настроение. «Нужна полная внутренняя бутафория». Будь готов к тому, что все произойдет совсем иначе, не так, как рассчитывал. И не спеши радоваться.

Весной сорок четвертого года — ночью еще прихватывал морозец — после долгого перехода остановились в отдельном домике. Все как будто удачно. Немцев не видно, не слышно. Василий прилег отдохнуть. Разведчик, стоявший часовым, зашел в избу. «Погреться, видишь ли, захотел, ряженки захотел».

А тут — гитлеровцы. У наших оружие в углу, у них — в руках.

Дремавшего в другой комнате Василия — автомат рядом — разбудил «хальт!». Он ногой распахнул дверь и дал длинную очередь. Оба немца грохнули замертво. Под обмундированием у одного обнаружили хромовую кожу. Очередь прошла ее дырочками. С трудом выкроили потом пару сапог для Василия.

...Повезло — врасплох застали троих немцев. Двое возились у коновязи, третий сидел верхом.

Василий выскочил из-за угла с парабеллумом, и все трое согласно подняли руки. Вася показал знаками: подойдите ближе. Еще ближе. Сорвал автоматы. Третий все сидел на лошади с поднятыми руками.

— Лошадь на меня глядит, головой качает. Глаза большие, умные. Какие были немцы, я забыл. Лошадиную морду, глаза помню.

Василий рассказывает истории, которые я уже слышал от Туликова, непременно уточняя подробности.

В Василевичах, что верно, то верно, он часов восемь куковал на дереве. Но не один, с радистом. Держал связь со штабом дивизии. Еще бы просидел, но немцы могли запеленговать.

— В Карпатах ты толкнул Ивана? Когда немец в него целился?

— Было. Толкнул — слабо сказать. Швырнул — метров пять летел...

Да, к Днепру двигались вместе. Противник еще держался

на левом берегу. Не только перейти реку — выйти к ней невозможно.

Фисатиди предпочел пробираться с проводником. Никакая карта его не заменит.

— На карте — съемка 1938 года — домик лесника. Подходим, и на местности и в самом деле домик... Я старику хозяину напрямую: «Мы разведчики. Веди к Днепру».

Почему прямо? Вероятно, почувствовал доверие. Разведчику, сверх всякой информации, нужен нюх на людей. Иначе в тылу — конец.

Дед согласился. Повел лесом. Километров двадцать восемь. Уверяет: немцев нет и в помине. Вдруг — тени в маскировочных халатах. Дед не испугался: «Не может быть, чтоб немцы». Кричит: «Не стреляйте, товарищи! Это свои!» Оказался прав. Разведка 69-й дивизии.

— Я перед дедом виноват, — сокрушается сегодня Василий. — Все «дед, дед». Не записал фамилии. Ему причиталась медаль «За боевые заслуги». Самое малое. А я: «дед, дед». Стыдно даже... Тебе Иван сказал, что мы сперва у немецкого штаба перерезали связь?..

Обычно в газетах писали: взяли «языка» или привели контрольного пленного. А откуда? С переднего края «язык» не всегда полезен. Уже известно, какая часть перед нами. Важнее знать, кто в глубине, на подходе. Надо проникнуть подальше в тыл, взять не первого попавшегося, а подходящего «языка». И через всю вражескую оборону доставить его к своим.

Под Тернополем захватили в плен полковника из свежей дивизии. Привели целехонького. Генерал Киселев благодарит разведчиков: «Спасибо, сынки!» Полковник Самуэльсон, начальник штаба: «Будете представлены к награде».

А от пленного полковника ничегошеньки не добились. Молчал как рыба.

Допустим, взяли нужного, толкового, разговорчивого. Все данные нанесли на карту. А завтра эта карта представляет скорее исторический, чем оперативный интерес. Снова наблюдать — обнаружена новая огневая точка, новый изгиб хода сообщения. Снова — через минные поля, проволочные заграждения, спирали бруно...

— За день не достану из планшетки карту, не нанесу чего-нибудь, — плохой день.

Ночью ли, на рассвете, вечером Киселев вызывал Фисатиди, ставил разведчикам, как выражается Василий, «цельзадачу».

— Разведчики несли потери. За счет кого пополнял роту? — спрашиваю я.

— Из раненых брал. Кто уже служил в пехоте. По доброму желанию. Приходили и молодые. Про разведку знали по книжкам. Мечтали. Таких тоже брал. Хорошей мечтой надо дорожить...

— Ошибался?

— Я не господь бог. Один, помню, новичок замешкался на нейтралке. Я решил откомандировать в пехоту. Объяснил ребятам: в разведке нужна смелость. Но голова тоже нужна. Кто с поздним зажиганием, с дурцой, тому тут не место...

Все дни в Кентау я убеждался: голова Василия Фисатиди устроена так, как того требует войсковая разведка.

Мы гуляли, и он, сам того не замечая, профессионально оценивал «рельеф», определял «ориентир». Речь заходила о юношеском увлечении рисованием, и он рассказывал, как поднимал карту, как любовь к пейзажной живописи помогала ему подмечать малейшие изменения на местности. Хвалил своего Колю: хорошо учится, увлекается спортом, но жаль — бросил дзюдо.

Дзюдо, джиу-джитсу — страсть Василия. На курсах разведчиков в сорок первом году его обучал японец Окалама. Василий каждую свободную фронтовую минуту тренировал солдат.

Мы сидим на кухне. Василий начинает очередную бутылку жигулевского. Из комнаты доносятся последние известия.

— Дукля, Дукля... — Вася прикрыл глаза. — Наши навалом полегли... Возле генерала Киселева разорвалась граната. Радист — Анисимов, да? — ранен. Мягкие ткани предплечья... Чех один попался. «Хенде хох» без сопротивления. Даже охотно. Показал, где немцы. Схватил гранату с деревянной ручкой...

— Ты дал?

— В разведке, дорогой, всегда риск. Сплошной риск... Он метнул гранату куда надо. Потом у нас в роте картошку чистил. Я б его взял себе. Не разрешили...

У Василия есть еще одна область дорогих ему воспоминаний: курсы офицерской переподготовки. Он побывал на них. Совершил тридцать прыжков с парашютом. После курсов ему присвоили звание майора. Помнит день присвоения и номер приказа.

...Хорошо живет Василий Дмитриевич Фисатиди, ни на что не жалуется. Про него пишут в газетах, он получает письма даже с Камчатки...

...На дорожку мы посидели, помолчали. Вася усмехнулся:

— Попрыгаем? Чтоб где-нибудь не звякало...

Ты живешь обычной своей городской жизнью среди телефонных новостей, литературных споров и папок с рукописями. А где-то в зеленом казахстанском городе — двое суток скорым, — в домике в Пионерском переулке, тебя ждут, будут рады, коль приедешь, попеняют — почему долго не появлялся, отведут в комнату с занавеской вместо двери: сиди, работай, — чем хуже, чем в Москве! А днем минут на десять сбегутся соседки, позовут тебя составить компанию, выпить чашечку кофе, погадать на кофейной гуще...

И одна эта возможность неуловимо меняет твою жизнь, добавляет в нее что-то дорогое и необходимое.

ДИВИЗИЯ И ДИВИЗИОНКА (ОКОНЧАНИЕ)

Через редакцию дивизионки — я подсчитал — прошло десять человек. У иных недолг был срок газетной службы; у Юры Уткина еще короче Зачесова — месяца полтора-два. Очень ему хотелось сшить галифе из новенькой немецкой шинели, и портного отыскал первоклассного. Портной обещал «пану капралу» выполнить заказ к вечеру. Это было 4 августа в Саноке...

Юра — самый молодой в редакции. Даже мне он казался пацаном — тугие красные щеки, толстые губы. По-мальчишески дурачился, зычно хохотал.

Сержант по званию, связист по специальности, он прибыл к нам из стрелкового полка. Я познакомился с ним в землянке батальонного КП. Он дремал с телефонной трубкой, привязанной к уху.

— Наш поэт, — гордо показал комбат.

Кто знает, получился бы из Юры поэт или нет. Стихи он сочинял легко, любил слово, знал поэзию.

После ухода Дажина на курсы наша газета оказалась без стихов, и Гороховцев добился: сержанта Уткина «временно», вопреки штатному списку, откомандировали в редакцию.

Он с готовностью брался за все: стихи — так стихи, гранки — так гранки, за заметками в полк — пожалуйста, обед сварить — «пять минут, и бульон готов». Учился набирать, записывал по радио. Погрузка — первым под-

ставлял широкую спину, раздобыть канистру бензина — в два счета.

Был бы он поэтом или нет — пустое гадание. Но наверняка был отличным товарищем...

Не помню, каким образом на исходе войны залетел в нашу редакцию лейтенант Иван Кононов. Помню конопатый нос, веселый чуб. Писать Ваня был не горазд, но рисовал, умел резать по дереву, линолеуму. Для нашей газеты дар бесценный: ни фотограф, ни цинкография нам не положены.

Жил Кононов весело и безоглядно.

— Дай совет. Хочу жениться.

— Женись.

— Ты с душой подойди, спроси, на ком.

— На ком, Ваня?

— Тут одна в ансамбле. Советуешь?

— Валяй.

— А где я с молодой женой жить буду, ты подумал? Я не подумал, однако Ваня женился.

Были еще люди вокруг редакции. Политработники, командиры, штабники, солдаты — любители печатного слова. Представится случай, такой человек заскочит в редакцию, при первой возможности напишет заметку.

Военфельдшер Анатолий Афанасьев сочинял стихи и по собственному побуждению, и по заказу редакции: «Надо, Толя».

Садится, пишет. В редакции он свой, есть время, — торчит целый день, остается ночевать. Он у нас на должности домашнего врача — аспирин от всех болезней. И в поговорку вошло: «Силён, как Толя в медицине».

Иные заходили посидеть, порассказать. Одно время зачастила девушка — командир санитарного взвода. Робко спрашивала, нельзя ли послушать музыку. Маленькая, хрупкая.

Дочь генерала-кавалериста, она не пожелала служить в отцовской дивизии. Предпочла обыкновенную пехоту.

Рассказывала красочно, метко. Так же красочно ругалась. Я ее упрекнул. Она отбилась с вызовом:

— Вам можно, а нам на фронте в тысячу раз тяжелее — и нельзя.

В другой раз согласилась:

— Наверно, ты прав. После войны не отучишься.

В бою она круто командовала своими нерасторопными

пожилыми санитарями. Пистолет в руке, густая ругань в воздухе.

Отучиваться после войны ей не пришлось. Она не дожила до «после войны».

...Новый редактор, прибывший на смену Дажину,— назову его Мурашов — первой же фразой расположил к себе:

— Ох и достается же вам, ребятки!

Ходит сгорбившись, вперевалку. Руки висят до колен, пальцы слабые, сжимаются в бледный, вялый кулачок. Мягкие волосы отступили на лбу, поредели на макушке.

— Отдохнул бы, Прокоп Степанович, всех дел не переделаешь.

Посмотрел подшивку — понравилась. Поговорил с наборщиками — похвалил. Пробежал заметки — одобрил.

Сердечный человек майор Мурашов, заботливый. Работать не любит. Или не может — усталый, болезненный.

Майсурадзе он не приглянулся. Мурашова это нисколько не огорчило. Нашел выход:

— Ребятки, кто из вас будет на КП, покажитесь начальству.

Развертывалось летнее наступление 1944 года. Позади оставались руины Тернополя. (В Тернополе запомнилось: полосатая немецкая зенитка, неподвижно вытянувшаяся в небо; на сиденье наводчик с опущенной головой; заряжающий навалился животом на казенную часть, подносчик как бежал — растянулся на земле с длинным медным снарядом в руке. Все убиты...)

Прячусь от обстрела под днище сгоревшего танка. Там мертвый красноармеец. Раненный, он заполз сюда умирать. Я взял у него комсомольский билет, из медальона извлек свернутую трубочкой бумажку с адресом. После написал родителям о гибели сына...)

В составе 38-й армии дивизия крушила глубокую — местами до полсотни километров — вражескую оборону. Пехота взаимодействовала с танками. Когда удавалось сбить немцев с очередного рубежа, едва поспевала за машинами. Каждый день — слава новых имен. Десятки из них — на страницах дивизионки, в заметках, очерках, стихах, в списках награжденных.

В общем валу наступления неприметной точкой катился редакционный автобус. Его обгоняют самоходки, танки, теснят к обочине, то он в колонне машин с боеприпасами, то среди бензовозов, то нагоняет обозы, то сам

уступает дорогу напористым «виллисам». Маленьким шариком бежит он по взбаламученным дорогам.

На остановках набиралась, версталась газета, стучала в очередной раз сваренная, заклепанная «бостонка». Тираж допечатывался на ходу.

Наступление — тоже потери, кровь. На ближних подступах к Львову я потерял одного из фронтовых друзей — капитана Воловикиса. До сих пор Лида Гаркавенко, плача, вспоминает, как он умирал у нее на руках. Плачет от жалости и от восхищения его мужеством. И прожить последние часы тоже надо уметь...

Стояли погожие летние дни без тяжелой июльской духоты прошлого года. В один из таких дней — 27 июля — мы вступили во Львов.

Кажется, было воскресенье. Город светился праздничным светом. Нарядные, смеющиеся женщины в белом. Ликующая смесь русской, украинской, польской речи. Никогда не слышанное: «Лёды, лёды», — мороженое! Из переулка — отряд рабочей гвардии, красные повязки на рукавах, немецкие винтовки.

К быту привыкаешь всякому. А к угрозе смерти не привыкнуть. И не привыкнуть к чувству, с какимходишь в город, избавленный от врага. Враг еще всюду — на стенах приказы со свастикой и узкокрылым орлом, на мостовой — машины со странными номерами. Его газеты, журналы, его мундиры на убитых, штабелями сложенные снарядные ящики, ранцы, обнажившие свое содержимое: пластмассовые баночки для масла, тюбики с пастой, разноцветные конверты, безопасные бритвы, глиняные трубки с выгнутым чубуком. В ратуше на портрете в рост фюрер, тупой и надменный; на полу служебные бумаги, картонные папки с металлическими кольцами...

Сейчас сорвут портрет, поверх распоряжений со свастикой наклеят приказ № 1 советского коменданта, уберут с тротуаров недвижимые тела, с мостовых отбуксируют черные от гари танки.

Во Львове нам повезло. В брошенной немцами типографии — «американка», портативная машина, куда совершеннее нашей допотопной «бостонки».

Как удачно все складывалось!

Дивизия развивала наступление. Мы ехали сперва по шоссе Львов — Перемышль, потом взяли южнее по дороге, вившейся между высот — начинались Карпаты. Полки форсировали Сан, и 4 августа нам надлежало быть на западном

берегу, в Санок. Автобус спешил под горку. Навстречу своей гибели.

По прибрежному шоссе мы двигались в общей колонне с немцами. Они не обратили внимания на автобус. Происхождения он был неясного, контуров неопределенных, цвета защитно-грязного.

Нам и в голову не приходило, что обгонявшие нас бронетранспортеры — гитлеровские. Какая-нибудь новая модель, либо присланы союзниками. Откуда здесь взяться немцам?

Однако это были они.

Воспользовавшись отставанием левого соседа и открытым флангом, они избрали как раз эту дорогу.

Лишь заметив в кустах нашего прячущегося регуляровщика, узнав у него о случившемся и смекнув: дело неладно, мы отвалили в сторону. Вброд, с помощью польских крестьян, преодолели какую-то речушку, вышли из машины покурить, обсудить положение.

Но неестественность соседства обнаружили не мы одни. Фашистский транспортер из тонкоствольной пушки грохнул сзади по нашему автобусу, обогнал его, перевернул турельную пушку, грохнул спереди и помчался догонять своих в Санок.

В масштабе победной Львовско-Сандомирской операции этот гитлеровский прорыв — булавочный укол. Но немецкие стальные гусеницы опустили на свернутые в тюки парусиновые палатки. Укрывшиеся на броне автоматчики били вдоль улиц, по окнам, пушки — по домам (в городской больнице лежали наши раненые), по автомашинам, повозкам...

Наутро стало известно: в Саноке оставались Иван Денисович, Юра Уткин. Да и вообще много наших. Ни о ком из них никаких сведений.

Через несколько дней город был вновь освобожден. Мы с Прокопом долго бродили по его улицам, по булыжной мостовой со следами недавней трагедии. Искали Юру, Ивана Денисовича, расспрашивали местных жителей. Все тщетно.

Спустя месяц вышла наша дивизионка, набранная новым шрифтом, отпечатанная на новой «американке»...

Осень застала дивизию на мокрых от дождей карпатских склонах. Линия передовой петляла по ущельям, горным склонам, обрывалась, непредвиденно восстанавливалась. Раненый проковылял уже километров пятнадцать, верит, что он в безопасности, в тылу, вдруг — очередь.

Противник почти всегда наверху, он тебя видит, ты его слышишь.

Места эти славятся красотой. Старик поляк сказал, что в их края, в Закопане, Крыницу, на горные курорты, съезжались люди со всей Европы, со всего мира. Свои туристские трости украшали металлическими нащепками с названиями карпатских городов и перевалов. Мы верили и не верили: сюда по доброй воле, отдыхать? Развлекаться? (В 1968 году в Крынице я не в силах был представить себе черный от минных разрывов снег на лесистых нагорьях со сверкающими лыжнями, на звонком льду весело кружащихся катков.)

Чехословацкий корпус сражался по соседству с нами. Как-то мне показали его командира. Генерал Свобода устало вылезал из заляпанного грязью «виллиса».

В сарае, где мы расположились на ночевку, в сене были припрятаны ящики с непонятными предметами, впопыхах брошенными немцами. Обнаружив бормашину, мы смекнули: полевой зубо­врачебный кабинет. Решили передать его чешской части, заночевавшей в том же селе. Командир-чех не понимал, что нам от него надо, зачем со зверскими лицами показываем, как сверлят зубы. Мы притащили разобранный на части бормашину, и чех обрадованно рассмеялся, вызвал врачей, а нас оставил завтракать.

Много крови пролилось в те дни. Наша сто сороковая и соседняя — 70-я гвардейская обеспечивали фланги 1-го гвардейского кавалерийского корпуса, брошенного на поддержку Словацкого восстания. 38-я армия, в состав которой мы входили, осуществляла центральную часть операции. Приказ командующего армией генерала К. Москаленко гласил: «...достичь Словакии и соединиться со словацкими подразделениями и партизанскими отрядами».

Впоследствии маршал К. Москаленко вспоминал:

«...Проведение операции в чрезвычайно сложных горных условиях, при крайне сжатых сроках подготовки, необходимость согласованных действий со словацкой армией и партизанами, а также другие особенности обстановки создавали исключительные трудности. Между тем войска нашей армии в результате предыдущих операций имели большой некомплект личного состава и материальной части. Но с этим считаться не приходилось. Надо было наступать и наступать немедленно».

Замыслом операции предусматривалось нанесение главного удара силами нашей 38-й армии. Наступая из района севернее и северо-западнее Кросно в направлении Дукля — Прешов и развивая успех подвижными соединениями, следовало овладеть Дуклинским перевалом и соединиться со словацкими частями и партизанами.

В нашу армию входили 52-й, 67-й и 101-й стрелковые корпуса со средствами усиления. В ее составе к операции привлекался 1-й Чехословацкий армейский корпус под командованием Людвига Свободы.

Сто сороковая была одной из дивизий 101-го корпуса. Она дралась за Кросно и Прешов, участвовала в Дуклинском сражении.

В мемуарах маршала К. Москаленко описываются условия, в каких протекала карпатская эпопея:

«К сложному рельефу горно-лесистой местности прибавилась особо неблагоприятная метеорологическая обстановка. Начались осенние дожди. Они шли теперь почти непрерывно. Окончательно вышли из строя грунтовые дороги. Это создало дополнительные трудности в перемещении боевых порядков войск, особенно артиллерии. Резко ухудшился подвоз материальных средств. В грязи застревали не только повозки и автомашины, но даже танки».

Как бы тяжело ни приходилось нам в редакции, с каким бы трудом ни давался каждый номер, все это несравнимо с участью солдата-пехотинца в Карпатах. Окоп и тот толком не отроешь в неподатливом грунте. А чуть отроешь, зальет проливной дождь. Ранения тяжелые, чаще всего в голову, — мины и снаряды рвутся в ветвях, в кронах деревьев.

Мурашов и вовсе сник. Едва притрагивается к заметкам, черкнет раз-другой по гранке.

Зато развернулся новый литсотрудник Бениамин Мартиросов. Не такой, впрочем, уж новый. Его направили к нам после откомандирования Зотина.

Уныние — понятие недоступное для младшего лейтенанта Мартиросова. Холод, сырость, грязь — ну и что? Стреляют, бомбят? На то война. Не просидит лишнего часу в редакции, но и в полку не застревает... Туда-сюда, взвод, рота, батальон — быстро, увлеченно.

— Забыл в 94-м с одним лейтенантом поговорить. Сейчас смотаюсь. Оставьте пожрать...

Он любил и умел разыскивать смелых солдат, писать об отважном. Лез в самую гущу, под огонь. И неохотно

организовывал отклики, праздничные заверения. Это у него называлось «собирать гай-гуй». Придуманное им словечко прижилось в нашей редакции.

Он, кажется, постоянно ждал повода рассмеяться. А когда повод долго не подвертывался, обходился без него.

— Что с тобой, Беня?

— Вспомнил одну историю...

На захваченных продскладах его интересовало лишь варенье, конфеты,— соглашался и на эрзац. Раздобыть сахару, яиц, взбить гоголь-моголь — праздник. Мартиросов заставлял каждого полакомиться, нетерпеливо ждал одобрения, грозился:

— Все сам съем, губы вытру, скажу: ничего не было!

Так его в детстве пугала мать. Ей он шлет открытки — десяток строк крупных каракулей. На письмо ему не хватает усидчивости.

Мурашов и Мартиросов — люди разного склада. Оба это чувствуют и избегают друг друга. Но Мурашов ценит, конечно, Мартиросова, а Мартиросов проявляет к редактору необходимое почтение. Он умеет изображать исполнительность: «Есть», «Так точно», «Будет сделано». И все на свой лад, по собственному усмотрению.

Однажды вечером нам пришлось впопыхах бежать из карпатского села — на улицу откуда-то выкатились два «фердинанда». В спешке мы оставили на столе банку с сахарным песком. Она не давала Бене покоя. Гороховцев не на шутку рассердился. Мартиросов благородно вознегодовал:

— Как можно, чтобы я допустил такое мальчишество!..

Но за банкой вернулся.

Стремительно, с первого взгляда влюблялся в полек, украинок, русинок, в медсестер, врачей. Влюблялся и задаривал лакомствами.

Сладкоежка, он спокойно переносил отсутствие всякой еды. Любитель пофрантить, приходилось — ночевал в окопах, зарастая смоляной щетиной. Никогда не отчаивался. Сохранял веселое дружелюбие.

Мурашов все чаще жаловался на недомогание, на гибельные Карпаты, откуда, уверял он, никому не вернуться.

— Устал я, ребятки, с самого начала воюю. Эту «за бэ зэ», — он показал на медаль «За боевые заслуги», — еще в сорок первом отхватил... До чего все надоело. Домой тянет — спасу нет... Фурункулез замучил. В госпиталь бы...

Однажды, когда редактор отлучился, Мартиросов воскликнул:

— Правда, пусть едет, лечит свои чирьи! От него проку...

Гороховцев рассердился — он не терпел нарушения уставных норм:

— Не тебе судить!

— Так точно, товарищ капитан, вам судить, он только и ждет вашего слова.

Безделья Гороховцев тоже не терпел. Когда Мурашов в очередной раз занял, Прокоп холодно предложил:

— Вы б, товарищ майор, с медсанбатским начальством посоветовались.

Нерешительный Мурашов нуждался в толчке. Он его получил.

Вскоре наш редактор уложил свой сидор, прочувственно распрощался, надписал мне на прощание фотографию: «Помни Карпаты» — и убыл с направлением в госпиталь. Еще недели через две мы получили от него открытку: «Привет из столицы нашей Родины».

Редактором дивизионки стал Гороховцев, а на его место прибыл капитан Белорыбка — неторопливый, полноватый, по тогдашним нашим представлениям — пожилой, а следовательно, для работы в многотиражке малопригодный.

Мартиросов подмигнул: «Тюлень». Прокоп развел руками: «Все от бога и от начальства». Не приглянулся нам капитан Белорыбка. Сильно мы были проницательные. Спасибо, что Борис Никитич, оказавшийся куда умнее нас, никогда не напоминал о кислой встрече, какую мы ему устроили.

Сельский парубок из бедняков, он многое успел повидать, многому научился у жизни. Был во всем тщателен, методичен, дотошен. Человека гражданского по складу и облику, его отличала врожденная дисциплинированность. Ему не приходилось смирать себя. Он из тех штатских, которые так и не научились носить форму, однако прониклись армейским духом.

Мы молча признали старшинство Бориса Никитича, хоть он на это и не претендовал. А он принял наш быт, наши установления и учил Мартиросова «собирать гай-гуй». Очень полюбилось ему это словечко. В послевоенных письмах пользовался им.

Отношения у нас четверых сложились надежные, ровные. Так бы и жить, работать до брезжившего уже впереди дня победы.

Но война до последнего своего часа — война. В марте сорок пятого Матиросов не вернулся вечером в редакцию. И утром нет. Гороховцев, сдерживая тревогу, послал меня искать.

В полковой санчасти я встретил раненного в грудь инструктора политотдела Сергея Жаданова. Голый по пояс, перебинтованный, с посиневшими губами, землисто-серым лицом, он привалился на носилках, ждал эвакуации. Да, Мартиросов ранен. Кажется, в голову, кажется, не вывезли... Я поцеловал на прощание Сергея и отправился на поиски...

По густой грязи, переваливаясь с боку на бок, плетется длинная фура. Угрюмый поляк не понукает лошадь. Наверное, опасен каждый толчок. Я иду рядом, поправляю сено, подтыкаю край одеяла, проверяю, не сползла ли повязка. По замызганному бинту расплывается желтое пятно — мозговая жидкость. Мартиросов в забытьи, мешает русские и армянские слова, зовет мать, иногда меня.

В Бельско-Бяла — специализированный для черепных раненых госпиталь. С поляком вносим Мартиросова в сортировку. На минуту он приходит в себя:

— Расстегни задний карман... Забери на память... Ты завидовал...

Плоский бельгийский браунинг, изящная игрушка для стрельбы по мухам.

16 марта я писал отцу:

«Недавно тяжело ранен Бенья Мартиросов — мой лучший друг последнего времени. Рана почти безнадежная — в череп, проникающая. Осколок вынуть не удастся. Уже начался менингит».

Из письма от 24 марта:

«У меня самое главное то, что Бенья выжил. Кризис, видимо, миновал. Он уже все время в сознании, говорит, улыбается, постепенно становится человеком. Но все это, конечно, не очень твердо. Ведь осколок-то остался в мозгу, и возможны самые неожиданные мозговые явления, в том числе и смерть».

...Так я писал, не зная, что самого отца уже нет в живых, что он умер 20 марта 1945 года...

А Мартиросов выжил.

В первых числах апреля мы с Гороховцевым приехали в Бельско-Бяла. Навезли, каких раздобыли, сладостей. Обрадовались, увидав прежнего Беню. В сером до пола халате он расхаживал по большой комнате, обносил гостинцами соседей, смеялся.

Полковник, главный хирург, харьковский профессор с вьющимися бакенбардами, назвал дату операции. Однако в после ную минуту передумал. Объяснил нам примерно так: осколок небольшой, но добраться до него трудно, закапсулируется и, возможно, беды не принесет; войне вот-вот конец, в хорошей больнице, с хорошей аппаратурой легче принять верное решение, при необходимости прооперировать...

После войны долгие годы от Мартиросова не было ни слуху ни духу. В Москве я живу неподалеку от Дажина. К празднику шлет обязательную открытку из Винницы Гороховцев. Я у него гостил однажды. Уволившись недавно в запас, Прокоп подался по профсоюзной линии.

Лишь в 1961 году в разговоре со случайным знакомцем я выяснил, что Мартиросов — в Баку.

Я прилетел в Баку. Без предупреждения пришел к Мартиросову.

Он спал, радостно растерянный поднялся навстречу. Я не верил глазам своим, так мало он изменился. Только седина...

Не только. Я присмотрелся — взгляд у Мартиросова стал настороженный.

Жизнь, случалось, била его наотмашь. Но было надежное прибежище — семья: жена, сын. Была решимость работать, несмотря ни на что.

...Ежедневно в бакинской городской газете колонка информации. Недавно я узнал: ее ведет Мартиросов. И с облегчением подумал: Беня на своем месте.

Нет-нет подавал весточку Белорыбка. Последний раз мы виделись, когда он перед демобилизацией заехал ко мне в Станислав (так тогда назывался Ивано-Франковск). Думали, прикидывали, куда ему ехать. Письма он присылал короткие. Не в его характере распространяться о собственном житье. Знал я о нем мало, все намеревался съездить к нему, на Днепропетровщину.

В ноябре шестьдесят девятого года получил письмо, написанное чужой рукой:

«Почему я, муж дочери Бориса Никитича Белорыбки, а не он сам вам пишет, догадаться не так уж трудно...

Последнее время он очень болел. Наконец ему сделалось немного лучше, и он выписался из больницы. Оделся в приемном отделении, взялся за входную дверь, вернее

за ее ручку, и упал. А через некоторое время, несмотря на принятые медиками меры, он скончался. Вот так.

И писать об этом больно, и не написать нельзя...

С приветом Павел Хоменко

3.XI 69 г.

Р. С. Умышленно опущу письмо 4. XI 69 г. Пусть печальная весть не омрачит праздника».

Не уцелела подшивка. Разрозненные номера у многих из нас в альбомах, повывавших виды полевых сумках, старых папках, перетянутых шпагатом, на дне ящиков, выдвигаемых по особым случаям. Желто-серые листы пористой газетной бумаги: призывные шапки, коротенькие заметки, темные прямоугольники клише, сбитый шрифт...

Дивизионка — не к чему обольщаться — отнюдь не лепотись дивизии. Лишь строчка в ее истории.

Время ужимает строку. Но не гасит.

ИЗ ПИСЕМ

«...Кругозор у меня лишь в пределах своей батареи. Геройски сражался расчет командира Петра Бурды (родом с Харькова, погиб в Сумской обл.), братья Потаповы Сергей и Иван. Был случай, когда немецкий танк прорвался и НП оказался в опасности. По приказу на прямую наводку выкатили мое орудие. Это пришлось делать среди бела дня под разрывами бомб. Тогда мы с Потаповыми подбили 4 танка.

За подбитый танк выплачивалось вознаграждение — командиру орудия 600 руб., наводчику — 500 руб. Мне причиталось получить 2 400 руб., Сергею Потапову 2 000 руб. Эти средства мы передали на постройку самолета.

Потапов был тяжело ранен под Новгород-Северском и помер, когда везли в медсанбат. Я был ранен в районе Львова вместе с майором Черновым. Там же был ранен и помер капитан Воловикис.

Это все дорогие мне имена. Потаповы из Ивановской обл. Гусевского района, село Федотовка.

Геройски погиб также сержант Котельников Василий, он из Коми АССР.

Аброскин погиб в Струмени, там же похоронен. Ро-

дина его — Пенза. Старшина Сарпулов погиб под Краковом, название местечка не помню...

Ваш однополчанин Саша Беспалов».

«Посылаю тебе плоды своих воспоминаний. Ты посмотри сам, что годится, а что нет. Может быть, что покажется очень резким — убери. Но я ничего другого не могла написать: то, что видела, запомнила, то и писала.

В дивизию я пришла с пополнением из запасного полка после госпиталя. В маршевой группе со мной была Катя Жукова, девушка очень миловидная, рослая, шатенка с веселыми, добрыми глазами и общительным характером.

Пришли мы на место ночью и, чтобы не будить своим появлением и без того короткий сон солдат, устроились во дворе в копне сена. Ночь была теплая, ласковая, мы долго разговаривали и о старом и о новом, что ждало нас здесь, в части, да и о будущем, послевоенном.

Я рассказала Катюшке о своих перипетиях в прежней части, где, как в шутку говорят, за «непочтение родителей» была разжалована в рядовые. Дело было и грустным и глупым. Один из «высокопоставленных гостей» позволил себе вольность, вследствие которой получил телефонной трубкой по голове. Это и вызвало такие нежелательные последствия.

Эта ночь была располагающей к интимным разговорам, и мы мечтали обо всем.

Утром пошли знакомиться со своими будущими однополчанами. Мне было очень приятно попасть в среду какого-то душевного тепла и домашности. Люди были очень сердечными, добрыми, и, забегая вперед, хочу сказать: за все время пребывания во взводе я не имела повода усомниться в искренности и чистоте их отношений. За такое отношение я старалась платить тем же, если смогла, конечно. Мне кажется, долг за доброту невозможно оплатить.

Самыми молодыми во взводе были Максимов и Ватутин. Максимов Иван — brunet, среднего роста, очень подвижный, застенчивый, как девушка, лицо доброе и открытое, густые, почти сросшиеся брови, пушистые ресницы и удивительно яркие, голубые глаза. Его настолько любили и уважали, что даже старые солдаты не позволяли при нем своих обычных соленых шуток.

Ватутин Митя был несколько иного склада. Темно-русый,

выше среднего роста, хорошее юношеское лицо. Характер был вспыльчивый, обидчивый, ершистый, как у подростка, но незлобивый. На шутки по отношению к себе как-то болезненно реагировал. Мне страшно нравились его мальчишеские вспышки, и я подшучивала над ним, называла его генералом армии...

Комсорг роты Ашуркин Андрей — высокий, стройный молодой человек с маленьким ртом и глубоко посаженными глазами. Развитые надбровные дуги делали его лицо каким-то немного угрюмым. Это было первым впечатлением. На самом деле Андрей был скорее бесхарактерным. Я не хочу сказать, что это было его главной чертой. Нет, как солдат он был молодец.

Другом его был парторг роты Вася Шкредов. Темноволосый, выше среднего роста молодой человек, с мягкими, задумчивыми глазами. Чрезвычайно деликатный в обращении с товарищами. Не зря, когда у нас в роте в мае 1944 года появился подобранный мальчик Левка, он поступил в ведение радистов, к Васе Шкредову.

Командир взвода старший лейтенант Скакалин — юноша светловолосый и голубоглазый, изящный, подтянутый. Как командир пользовался большим авторитетом, был прост и душевен с подчиненными. О таких натурах говорят: «Виден насквозь». Таким он остался навсегда, с чистой, как бы детской душой.

Еще одним запомнившимся лицом был телеграфист, фамилию я его не помню, звали его Грицко. Был это человек среднего возраста, высокий, худощавый, темный, очень замкнутый и угрюмый. Уж не знаю, за какое причиненное ему зло слабым полом он терпеть не мог женщин. Если приходилось с ним говорить, глаза у него загорались каким-то неприязненным светом. Была у него странная манера: если он находился не в смене, то при всей боевой выкладке с оружием садился на корточки у двери и так проводил ночь.

...Иногда я устраивала концерты по линии во время тихих часов обороны. Я понимала, что мои нехитрые песенки доставляли людям радость, делали теплее воспоминания о своих близких и милых сердцу.

Вот, пожалуй, и все, что сохранила память тех лет.

Н. Маслова».

...Тревожно-долгий телефонный звонок. Междугородная. Красноярск: скончалась Надежда Маслова...

«...Вечером 29 апреля 1945 года части дивизии форсировали р. Одер и вошли в г. Моравская Острава с юго-запада и тем самым способствовали окружению группировки противника в этом городе.

Неожиданно около 22.00 доложили, что в направлении НП дивизии движется колонна противника. Тут же завязался бой. Он временами стихал, а временами вновь разгорался. Немцы неоднократно в пешем порядке пытались освободить дорогу и шли на нас в атаку. Немцы превосходили нас числом, но в условиях ночи не знали наших сил. У наших пулеметчиков и автоматчиков все уменьшались боеприпасы. Мне приказали немедленно открыть огонь с закрытых позиций. Но я был бессилен, так как ввиду большого расстояния не имел связи с огневой позицией. А радиостанция А-7 обеспечивала лишь на 5—6 километров. Но приказ надо выполнять! Тут, на мое счастье, радист вошел в связь с батареей и доложил, что орудия под командованием старшего офицера батареи старшего лейтенанта Войтова на пути к переправе через р. Одер. Я приказал немедленно развернуться и доложить о готовности открыть огонь по себе для спасения НП дивизии.

Буквально через несколько минут мне доложили о готовности к стрельбе. Надо было пристреляться. Меня выручил осветительный снаряд. Выстрел, произведенный им, позволил мне оценить траекторию. Я четко видел вспышку и разрыв и перешел к стрельбе осколочно-фугасной гранатой. Уже третий снаряд пришелся по колонне противника. Перед НП дивизии был поставлен заградительный огонь. Снаряды рвались в 10 метрах от нас. Командир орудия 7-й батареи прислал человека предупредить, что я чуть не уничтожил его орудие...

Бой продолжался почти до рассвета. Батарея выпустила свыше 300 снарядов. Их на огневой позиции оставалось все меньше и меньше. Огонь приходилось вести очень экономно, а к утру — лишь одним орудием.

Силы и средства иссякли. Рассветало. Получили приказ: быть готовыми к перемещению. Уже начали двигаться. Вдруг известие: немцы собираются сдаваться, выбросили белый флаг!

Видимо, не имея успеха ночью, они решили, что утром их совсем раздолбают, и сдались.

Теперь мне представляется, что это было последнее серьезное сражение с немцами из всех имевших место за годы войны.

Бывший командир 8-й батареи 371-го ап, старший лейтенант, ныне старший преподаватель спецкафедры Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова

подполковник Пудов Яков Николаевич».

«Немецким танкам удалось прорваться в район обороны нашего 96 сп. Их отбили, но один сумел вторично пересечь наш передний край. Многие из нас приняли немецкий танк за свой. И вдруг увидели на броне кресты. Далеко он не ушел, подорвался на нашей мине. Это был «тигр» — хваленый фашистский танк. Командованию надо было хорошенько узнать его, найти уязвимые места. Было решено ночью послать к нему специальную группу. В нее включили моего друга рядового Ступака. Группа была встречена огнем. Фашисты организовали у танка засаду. Ступак не вернулся из поиска. 12 июля на окраине деревни был обнаружен изуродованный пытками наш боец. Мы узнали в нем рядового Ступака.

Тяжело терять друзей, тяжело вспоминать о таких утраченных спутях четверть века. Но вспоминать надо...

В боях под Тернополем двум стрелковым батальонам предстояло овладеть высотой 210. Они это сделали под покровом ночи. Наш первый батальон отбил яростные контратаки, но соседний начал отходить. Создалась угроза окружения. Бойцы, находясь в окопах, залитых водой, ружейно-пулеметным огнем сдерживали врага. Правда, приходилось часто промывать винтовки и автоматы, так как грязь то и дело попадала в затворы и оружие отказывало.

Наша артиллерия и минометы уже помочь не могут: слишком близко подошел противник. Командир батальона, парторг и комсорг (к сожалению, фамилии не помню) поднимают в контратаку личный состав и увлекают за собой всех бойцов. Противник был отброшен, высота снова наша!

Многих товарищей мы недосчитали в этом бою. Был ранен и мой друг Николай Сороковых.

Я сам был первый раз ранен под гор. Новгород-Северским. Во время излечения в медсанбате мне приходилось много слышать о капитане военвраче. Эта женщина с особым вниманием, заботой и любовью относилась к раненым. Позже мне стало известно, что она тяжело ранена в гор. Санок. Как жаль, что не знаю фамилии этого врача!

Там же, в Санок, погиб мой товарищ Бачков Николай.

Не дожил до Дня Победы и Николай Сороковых. После излечения он снова пришел в полк. Погиб в бою под городом

Красно. В боях за тот же город я был тяжело ранен и после выздоровления комиссован.

Много прожито, много пришлось повидать людей. Но самые дорогие воспоминания о незабываемых и грозных днях войны, о друзьях и товарищах, с которыми довелось вместе воевать в прославленной 140-й Сибирской дивизии под командованием Героя Советского Союза генерал-майора Киселева Александра Яковлевича.

Вечная слава нашему боевому комдиву!

А. Штрейман»

Военврач, о котором спрашивает рядовой 96-го стрелкового полка А. Штрейман,— Екатерина Николаевна Камышлова, Катя Камышлова.

«...Писать о фронтовых делах хоть и трудно, но можно. Есть что вспомнить. Что касается меня, то я сильно связан временем, заканчиваю Киевский госуниверситет, исторический факультет. Поступил на заочный, когда еще служил в армии. Бросать учебу не хотелось, приходится мучиться на старости лет. Вот закончу университет, тогда займусь меуарной деятельностью...

Хорошо я помню боевую деятельность своего первого командира полка полковника Гусева Ивана Андреевича (283-й сп.). Это образованный, умный и волевой человек... Весьма возможно, что позже вернусь к этому боевому офицеру. Он заслуживает, чтобы о нем были сказаны теплые, сердечные слова...

Не забывайте пехоту. Вспомнить страшно, сколько ее выбито было за годы боев дивизии...

А. Болонин»

«...К одному из полков линия связи была проложена прямо через высоту, которая сильно обстреливалась и бомбилась. Но линия работала устойчиво. Фамилию этого сержанта забыл. Он принял такое решение: проложить линию кратчайшим путем, несмотря на то, что она будет находиться под огнем. Для своевременного устранения повреждений отрыл через определенные промежутки окопчики. Смекалка и оправданный риск. На этом направлении потерь среди связистов не было...

Еще один маленький эпизод. В правофланговый полк был послан начальник радиомастерских (фамилию этого офицера не помню). Когда он кончил работу, на КП полка прорвались немецкие танки. Первое время донесения об обстановке поступали от телефониста, но потом и он исчез. Из КП дивизии никто ничего не знал. В это время начальник радиомастерских собрал радиостанцию и, несмотря на то что по улице курсировали танки, доложил обстановку, нашел командира полка и оставался там, пока танки не ушли.

Этот офицер был к нам прислан как штрафник, недисциплинированный и т. д. На самом деле был хороший офицер.

Вот эти эпизоды, если обработать с точки зрения художественной, то, возможно, что-нибудь получится...

Начальник связи дивизии майор
Д а в и д ю к, конечно, бывший, а в
настоящем — экономист отделения
перевозок почты по ж. д.»

«...Был у нас на батарее повар рядовой Сенатулин (имя не знала), татарин по национальности. Он в любой боевой обстановке вовремя и вкусно готовил пищу и доставлял на огневую позицию. Тревожился, как достать дрова, воду, а когда бомбежка прекращалась, убегал на поиски раненых молодых коней, коих всегда было много на поле боя. Он готовил из конского мяса вкусные блюда с рисом. Это нас очень выручало, ибо снабжение зачастую было туговатое. В боях под городом Санок Сенатулин был тяжело ранен и госпитализирован.

Помню еще рядового Фадемухина (заряжающий в расчете).

Он очень скучал по своей семье, которая осталась в оккупации. Чтобы отомстить фашистам за разлуку, он закопал возле батарейной кухни два столба и приспособил на одном из них пулемет, а на другом — противотанковое ружье. Как только появлялись вражеские самолеты, Фадемухин и Сенатулин открывали по ним огонь.

Фадемухин погиб в боях за Украину.

...Взводом разведчиков командовал лейтенант Хасип Худоназаров из Алма-Аты. Мы его звали Геней. Хороший был парень, красивый, любил жизнь и русские песни. Всегда аккуратен, подтянут. Его уважали на батарее. Он любил

баранину с рисом (плов). Повар Сенатулин угадывал его вкусы и готовил восточные блюда. Погиб он в Польше, в боях за Бельско.

Вначале старшим на батарее был младший лейтенант Петр Покаместов — опытный, знающий свое дело командир, скромный и требовательный. Покаместов окончил войну в звании капитана, в должности командира дивизиона. Вся грудь его была в орденах. Интересно, где он сейчас?

В боях в районе Трофимовки в марте 1943 года погибла Маша Пяткова, которая вместе со мной была призвана в ряды Красной Армии. Осталась у нее одна мать, которую я провеждаю, когда бываю в Красноуфимске.

Таня Абашева, тоже моя землячка, после тяжелого ранения в правое плечо осталась навеки инвалидом — рука не действует. Сколько раненых вынесла, Таня и счет им потеряла. Ранение получила в Польше и госпитализировалась.

В ночь с 27 на 28 января 1945 года мы вели ожесточенный бой с гитлеровцами за населенный пункт Ляховичи (Польша). Прорвав вражескую оборону, взяли много трофеев, в том числе крытый брезентом тягач, к которому прицепили 122-миллиметровую пушку-гаубицу, посадили 35 человек, в их числе комбат капитан Войченко, заместитель по политической части старший лейтенант Федоров, заместитель по строевой старший лейтенант Борисенко С. Т., капитан Скиценко, и поехали догонять свою часть. В селе Ляховичи напоролись на фашистскую засаду, которая открыла огонь по тягачу. Разведчик Николай Черный соскочил на землю, ударил из автомата. Многие наши воины, когда соскакивали с тягача, были убиты.

Я оказывала раненым медицинскую помощь и заметила, как Николай Черный ведет из-под машины огонь по фрицам. Он давал мне возможность вынести в укрытие раненых товарищей, их было 6 человек. Я на плащ-палатке поволокла старшего лейтенанта Федорова. Раненый Федоров был убит очередью из дома. Я положила его в кювет, а сама побежала за капитаном Войченко, выволокла его, потом рядового Толстого. Остальные раненые были убиты. Николай Черный продолжал вести огонь. Когда у него кончились патроны, пустил в ход гранаты. Немцы окружили дом, откуда отбивался Черный, и подожгли его. Черного захватили живьем. Он ничего не сказал, тогда его, тяжело раненного, связали и сожгли живьем на костре.

В этот день, 28 января 1945 года, в братскую могилу

легли 31 человек из нашей батареи. Среди них старший сержант командир орудия Вася (фамилию забыла), по национальности чуваш, и Николай Черный, который имел возможность отступить в укрытие, но ради спасения раненых пожертвовал собой. Об этом случае, о подвиге разведчика Николая Черного, писала наша дивизионная газета.

Продолжаю вспоминать.

Командиром взвода боепитания у нас был младший лейтенант Кузнецов Николай Алексеевич, 1915 года рождения, москвич, имел высшее образование (зоотехник). Командиром отделения у него был Митя Рагузин — старший сержант. Кузнецов и Рагузин были неразлучные друзья. Рагузин очень хорошо пел песни, а Кузнецов любил и умел слушать. Бывало, Рагузин поет, а Кузнецов слушает, опустит голову и долго сидит молча, о чем-то думает. Кузнецов и Рагузин мечтали после войны вместе работать где-нибудь в подмосковных совхозах.

Когда мы стояли в обороне под Тернополем, Кузнецов перевелся в нашу 3-ю батарею (старшим по батарее). Наши солдаты сразу его полюбили, а Рагузин стал командовать взводом боепитания вместо Кузнецова. Но Рагузин всегда находился у нас в батарее возле своего любимого друга Кузнецова. Бывало, как встретятся, то просто не могут наговориться. Тут Кузнецов скажет: «Давай, Митя, спой, давно я тебя не слушал». А Рагузин, бывало, запоет, пел все равно как в опере, много знал хороших русских песен. Наши солдаты сойдутся кругом и слушают, и так тихо становилось в кругу. Все любили Рагузина и считали его своим, то есть как бы он у нас стоял на проддвольствии, и если нет его, то оставляли ему еду.

А потом Кузнецова Н. А. убило прямым попаданием мины. Мы его похоронили со всеми почестями в селе Кукотцы. Очень плакал Рагузин. Он говорил: «Я потерял самого дорогого друга, которого любил, как родного брата».

Рагузин погиб в городе Санок. О нем и о Николае наши солдаты помнили, пока не разъехались по домам после войны...

Бывшая однополчанка Павлова З. Г.»

На войне наши пути-дороги не скрещивались. Я увиделся с Зиной Павловой, приехав недавно в Ивано-Франковск. Подивился ее памяти, позавидовал. Она волновалась, немело затягивалась сигаретой, табак лез в рот. Все возвра-

щалась к бою у тягача. Боялась, я упусти про Николая Черного.

— Мог, мог уйти. Никто не приказывал... Николай пел свою песню. В ней такая строка: «А для меня опять война...»

О многом было переговорено, Павлова поднялась:

— У меня дед дожил до восьмидесяти. О чем ни разговор, он про свое — про войну. Как с турками воевал, с японцами, с немцами. И мы такие?

Разговор ли наш ее взбудоражил, воскресил прошлое, не надеялась ли, что я уразумел насчет Черного, сумею передать? Но вскоре Павлова сама взялась за перо. «Красная звезда» напечатала ее письмо о Миколе Черном.

«Хотелось бы знать что-нибудь о Полякове (это политработник 96-го сп. п., был тяжело ранен в локтевой сустав), лежал во II эшелоне МСБ с небольшой группой раненых — все очень тяжелые. С ними я да три санитаря. И ни единого бинта и куска хлеба. В ранах личинки мух кишмя кишели. Психотерапия да стремление жить спасали от смерти. Так длилось несколько дней, а потом мы с Семеном Свиным, был такой у нас в госпит. взводе, случайно в лесу нашли какой-то ППГ и сдали наших раненых. Сохранили ли руку Полякову? В крайне тяжелом состоянии сам, он помогал мне бодрить других. Бывают такие сильные духом, волевые люди!..

...Никто из нас не может оторваться от того, что было пережито, даже если б кто-нибудь захотел забыть, вычеркнуть из памяти все, что осталось позади. Однажды Надя Баранова-Никишина мне написала: «Конечно, Вы меня не забываете, потому что я — Ваша жизнь». Это так! Был момент в 44 году, после ранения нас перевозили в госпиталь, потому что налетали самолеты и бомбили, надо было скорее эвакуировать во фронтовой ЭГ, — быстро «побросали» в грузовую машину и полным ходом вперед. Надя и все раненые кричали (именно кричали, а не стонали). Я, закусив до крови губу, молчала, моля в душе о том, чтобы умереть, — так было больно. Больше всех и громче всех кричала Надежда. А это разрывало мою душу еще больше...

Во сне я часто слышу стоны раненых, лежащих под кустами у нас в МСБ, а дождь беспощадно льет, их нечем накрыть...

Е. Камышлова»

На станции Туркестан — это в Чимкентской области — я соскочил с подножки, прямо в объятья дежурного милиционера. Он сжал меня, расцеловал.

— Узнаешь?

— Ширеев, арtpолк? — Я был не совсем уверен.

— Правильно говоришь. Салы Ширеев, ординарец капитана Кларина. Гостем будешь, барашка резать будем... Плохо по-русски говорю, да? По-казахски не можешь? Эх ты! Генерал Киселев мог...

Да и дикция у Ширеева не левитановская. Подбежал еще один — и этот наш! Из арtpолка, Джилдас Джалдасбеков.

Вечером на праздничном столе Ширеев развернул красочно разрисованный боевой путь дивизии. Наверху, в узорчатой рамке, портрет хозяина: «Ветеран 140-й дивизии Ширеев Салы». Названия на схеме не нуждались в переводе. Имена павших вдоль линий, что змеились от Ельца до Праги, — тоже...

Когда я собирался в Ивано-Франковск, меня без устали напутствовали: «Обязательно зайди к Королевой!»

В аэропорту меня встретила Валя Васильева.

Когда-то ночью, при форсировании Десны, генерал Киселев приказал наградить тоненькую отчаянную девчонку. Она бросилась за ранеными в бурлящую воду, на плащпалатке волокла окровавленных солдат. В рукопашной застрелила офицера-гитлеровца и все сокрушалась: потеряла фуражку, теперь не совладать с волосами...

Валя погрузнела, тяжело ступала. Мы медленно шли по городу. На углу Чалаева и Шевченко она придержала меня за локоть:

— Подожди чуток... Голова...

Постояли. Двинулись дальше.

Анну Сергеевну Королеву я узнал прежде, чем она меня. Мы для нее тогда были прежде всего «конечности», «проникающие ранения», «полостные операции», «ампутации». Менялись раненые, менялись хирурги. Неизменными оставались ее руки с инструментом, салфеткой, тампоном — чуткие и неутомимые руки старшей сестры.

— Неужто помнят меня?

Улыбка счастливая, смущенная — такой и оставалась весь вечер.

После войны Анна Сергеевна трудилась в больнице, в санатории. Вернулась в Прикарпатье еще в сороковых годах, осела в Ивано-Франковске. Квартирка неважная, без водопровода. Ведра нелегко носить — руки слабые, ноги больные... Картошка вздорожала — недавнее наводнение смыло огороды. Крутись-вертись на пенсию...

— Не посетуйте, чем богаты, тем и рады.

Голая лампочка свешивалась над столом. Анна Сергеевна пригубила из рюмки.

Подползла одинокая старость. Только Валя Васильева, добрая душа, навещает, когда бывает в Ивано-Франковске, шлет письма Катя Камышлова. Свет в окошке — далекая сто сороковая. Постороннему покажется: что тут особенного, что помнить-то? А Анна Сергеевна бережет это давнее, из несвязанных случаев составляет его.

...Извлекали осколок. Рану промыли, надо зашивать. Врач же продолжает копаться в разверстой полости. К чему? Анна Сергеевна подняла голову и ужаснулась. Хирург устался в потолок, руки двигались бесконтрольно. Позвали командира санбата. Он взял хирурга за плечи и повел к выходу. Тот продолжал двигать пальцами... Не выдержал...

А какой праздник был, когда генерал Киселев вручал награды! Врыты в землю наспех сколоченные столы. Вместо кружек — консервные банки с обитыми краями, чтоб не поцарапать губы. Даже котлеты подавали! Развеселились, хотели танцевать. Но тут немец как дал, дал...

Клочками, обрывками возникал фронт. Рисовался он изнуряющим, опасным, однако настолько дорогим, что блекло все предшествующее ему и наступившее позже...

Из Москвы мы послали коллективное письмо в Ивано-Франковск, просили улучшить жилищные условия Анны Сергеевны. Нам пообещали, поставили на очередь. Время, однако, шло, очередь не двигалась, и пришлось написать секретарю обкома В. Ф. Добрику. Вскоре пришел ответ: Анна Сергеевна получила квартиру.

Я полетел в Ивано-Франковск на новоселье. Москвичи напомнили: «Зайди в обком, поблагодари».

Я вошел в просторный кабинет, предназначенный для совещаний, инструктажей, проработок, бесед с глазу на глаз, и произнес слова благодарности.

Виктор Федорович удивился:

— Не так часто в этой комнате благодарят.

И задумчиво, сам, возможно, о том не догадываясь, повторил фразу Гёте:

— Не часто дается совершать добрые дела.

...Мы собрались в однокомнатной со всеми коммунальными благами квартире Анны Сергеевны. Шумно жарили яичницу с салом, варили сосиски, готовили кутью с маком, толченым орехом — новоселье совпало со «святым вечером» («Не нами устанавливались обычаи, не нам отменять»). Открывая консервную банку, я порезался, и мне весело бинтовали палец, припоминая, когда кому кого приходилось бинтовать.

— Экий ты, Володимирович, нескладный! — журила меня Анна Сергеевна, хозяйственно хлопоча возле стола.

Пили за новоселье, за встречу, за добрые дела, которые — хотелось бы — свершались в жизни.

И:

— ...Иду это я лесом. Чудно что-то. А в канаве немцы шпрехен.

— ...Страшнее Керчи ничего не было...

— ...Он за ней по пятам. Как привязанный. Она ко мне в операционную, я и говорю: «Сюда нельзя, товарищ капитан, тут полная стерильность...»

— ...Мне до пенсии всего один год шесть месяцев...

— ...Сидим мы втроем. Хлебаем уху. Молчим. Никаких слов не надо. Двадцать лет не виделись...

Анна Сергеевна, раскрасневшись, рассказывала, как она в сорок пятом работала в Средней Азии, в лагере для японских военнопленных.

— Был там доктор Катаяма. Никогда не забыть. Какой же человек! А врач какой!.. Раньше служил в самурайской дивизии... Скажи, Володимирович, как чудно жизнь устроена...

Много лет я думал навестить Сергея Анисимова, радиста, последние месяцы — адъютанта генерала Киселева. Нередко попадался, бывало, на глаза быстрый русоголовый паренек с РБ за плечами. Когда после войны меня перевели в армейскую газету — в ее штате числился радист, — у меня мелькнула мысль об Анисимове. Сергей принял предложение. Два года мы прослужили вместе. Сдружились. Одно время мне негде было жить, я спал на койке Сергея, благо он ночью записывал тассовскую диктовку. Он возвращался под утро, отодвигал меня к стене, ложился рядом. Днем всё возвращалось в рамки субординации:

— Товарищ капитан, разрешите обратиться.

В сорок седьмом году меня направили в Москву учиться. Сергей, демобилизовавшись, переквалифицировался в линотиписты...

— Не узнал?

Верно, узнал я его с трудом. Лицо стянуто плотной сеткой морщин. Зубы через один. Ссохся, сгорбился.

Он водил меня по цехам, по коридорам типографии. Жаловался — ноет язва, пошаливает сердце, напоминает о себе эмфизема легких. Свинцовая пыль шуток не признает. Последние годы в типографии, правда, оборудовали вентиляцию, отменили ночную работу. Шансы на долгую жизнь увеличились. Ежели, конечно, не это самое, не пить.

Об «этом самом» тоже вели речь.

Лет семь назад Сергей слыл лучшим линотипистом в городе, красовался на Доске почета. Слава утеряна, утерян авторитет. Все можно вернуть, и здоровье можно поправить. Хватило бы сил «завязать».

— Завязываю. Ты меня двадцать пять лет знаешь, должен верить,— говорит Сережа.

Годы катком прошлись по Сергею. Но в существе своем он прежний, чистый человек.

— Спать ложусь, совесть спокойная.

Все, что добыто, добыто своим трудом. Ни одна копейка с неба не упала, по кривой тропке не прикатилась. Сами с Полиной детей поставили на ноги: дочка кончает киевский вуз, сын в Ивано-Франковском институте нефти и газа.

Полина упрекает Сережу, но все же гордится им, его рабочим мастерством, фронтовым прошлым. Когда Сергей вспоминает войну, готова слушать часами.

Заговорит Сергей о генерале Киселеве, разглаживается сетка морщин. Проглядывает шустрый русоголовый паренек. Киселев для него и сегодня «батя». И то, что Киселев повторял когда-то насчет права глядеть людям в глаза,— живой завет для Сергея.

— Задумаюсь: лучше б меня убило, кто бы другой выжил, принес больше пользы. Общая жизнь наладилась бы лучше.

Весь день мы не расстаемся. Пьем чай с брусничным вареньем — старшая сестра прислала с Урала.

— Погоди, ты ж у меня на свадьбе гулял,— спохватился Сергей.— А нынче весной я дочку замуж выдал...

О чем бы ни говорили, приходим к одному: быстро, ох,

как быстро течет время. Обидно. Но как ни быстро, как ни мнет нас, а свиделись. И никуда нам неохота идти.

Вдруг Сережа смеется-заливается:

— Была в роте связи — помнишь? — повариха из Белоруссии: «Как дам трапкой по брюху!» Так и звали ее — «трапкой по брюху»...

О многом переговорено. И о Сережином пристрастии к историческим романам — надо же вникнуть, как люди жили, и о Евтушенко, и о том, почему Симонов теперь не печатает стихи.

Свое согласие или недовольство Сергей обращает в вопросы, избегает категоричности. Вдруг да я иначе думаю, не задеть бы.

— Тебе монументы нравятся? — спрашивает он и ждет. — Ну, я насчет того, больно напыщенные иные, какие-то ненатуральные позы. Дрались-то и погибали обыкновенные люди... Или надо так, а?..

Темнеет окно. Чем дольше мы сидим вместе, тем легче нам друг с другом, тем откровеннее разговор.

— Устал я от жизни, — вздыхает Сергей и, прогоняя тоску, подмигивает: — По маленькой?

Моляще смотрит на меня. Я невозмутимо выдерживаю его взгляд.

— Отставить!

Сережа усмехается:

— Товарищ майор, по случаю встречи.

— Знаю вас, разгильдяев. Сегодня — встреча, завтра — проводы. Сказано: «Отставить». Точка.

Сережа подхватывает:

— Больно строги!

— Позволяешь себе...

— Сами-то небось.

— А ты не рассуждай. Приказ командира — приказ Родины.

— А вы, между прочим, не «тыкайте», не положено по уставу.

Сережа тихо смеется, поднимая плечи.

Может, и была когда между нами такая игра, может, не было. Но весь этот разговор, шутки-прибаутки — из того далекого, невозвратно давнего.

Невелик грех — заменить имена. Да рука противится. Обойдусь без имен.

Она говорила: Он. Не рассказывала — исповедовалась.

...Двадцать пять лет. Забыть пора. А лягу с мужем в постель,— слезы сами текут. Муж у меня — золотой человек. Я его пальца не стою. Относится с уважением. Ни о чем не спрашивает. Ни на что я не жалуюсь. Сын хороший, ходит в седьмой класс. Мне все завидуют, а я, дура, ночами реву.

Кто сам не испытал, не понять. Он командир батареи, на НП. Я санинструктор, на мне все — раненые, больные. Я туда-сюда. Но все за телефонистом слежу, который держит связь с НП. Раз повторяет команды, значит, Он живой. В уме разное: снарядом прямое попадание, немец подкрался, дал очередь в голову, бомба в траншею...

Им сейчас что — ходят по улице в обнимку. Мне не то чтоб обняться — по телефону бы голос услышать. Ничего больше не надо. А увижу, все клеточки дрожат. Раз не удержалась, ночью пошла одна на НП.

Он меня старше на девять лет. В Омске жена, интересная из себя, дочке четыре года. Об этом у нас не было разговора. Никогда не обещал, что мечтает на мне жениться. Да и вообще какие разговоры! Мало разговаривали.

Спать ложились со всеми на нары. Возле меня никто не ложится. Одно место оставляют. Он придет. Руку на меня положит... Ручища у него как у медведя... Глаза голубые.

В обороне стояли, я завернула раз в отдельный истребительный дивизион. Там гулянка. Сидят лейтенанты, старшие лейтенанты, один майор. Я поприветствовала, все ж таки я старшина, они — офицеры. Меня посадили, угостили. Один лейтенант заиграл на гитаре. Я лично слуха не имею, и голоса нет. Но по музыке помираю. Радио никогда не выключаю... Слушаю я эту гитару, гляжу на всех — до чего же красивые! А мне никто не нужен. Никакие они для меня не мужчины.

...Накрыл нас обстрел в хате. Прислонилась к стенке. Он меня прижал, держит. Смелый, а дрожит. За меня боится. Тело его чувствую.

...У нас и плохое было. В Чуровичах — такой населенный пункт — пошел посты проверять, нет и нет. Я глаза не смыкаю. Навестил, думаю, цивильную — там была одна... Рассветает, заявляется. Скидывает ремень, наган под подушку. Ложится рядом, руку закидывает. Я ла-а-ак руку сброшу и бегом.

Два дня скрывалась от него. Наревелась. Тут объявили марш. Попросила одного повозочного: сховай меня в сене. Едем. Вдруг его голос: «Не видел старшину медслужбы?» Ездовой мне дал обещание, но и комбату боится сбрехать. Молчком на сено показывает. Он прямо с коня, как шальной, прыг в повозку.

Потом с него допрос снимала. «Заходил, говорю, к ней?»— «Заходил».— «Красивая?»— «Ничего из себя».— «А с ней был?» Чего-то объяснял. Вроде нет. Не знаю, может, и сбрехал. Думаю, сбрехал. После она ему слала письма. Он показывал. Так, ничего особенного.

Он меня тоже сильно ревновал. Мне пошили кубанку в ОИПТД. Хочется покрасивше ходить. На мне брезентовый ремень, рукава у шинели подвернуты. Он взъярился: «Откуда кубанка, кто подарил?» Забрал.

Перед смертью я его видела минут за несколько. Он стоял у машины. Наган в правой руке. Был уже раненный в левое плечо. Наган держал возле груди.

Потом тело нашли. Снежком припорошило. Скула разбитая, синяя. Прикладами, значит, добивали. Две дырочки во лбу. Выходные отверстия на затылке.

Сидела я над ним... Ничего во мне нету. Слезинки не пролила. А теперь вот — реву...

Нет, наши так не ходят. Тем паче на площадь Свердлова, на торжественную встречу. На ней светлые брюки и свитер. Да и годами молода, что-нибудь около тридцати. К одной группе приближается, к другой. Ни о чем не спрашивает. Смотрит, слушает.

Перехватила мой взгляд. Я спросил:

— Ищете кого-то?

— Нет, никого... Я уже третий год прихожу.

Я молчу. Она говорит.

— Приметила вашу дивизию и прихожу девятого... Кое-кого даже в лицо запомнила. Если б мой отец вернулся с фронта, он, возможно, встречался в этот день с вами. Или с другой частью. Не знаю, какой у него был номер полка...

Она отошла, села на скамейку, где сидели и наблюдали за нами другие незнакомые женщины. Потом разговорилась с немолодой, седоволосой — может быть, вдовой погибшего...

Лет пять назад я получил письмо от Ивана Маломанова — кружными путями он разыскал мой адрес. «Я тебя нашел, и это уже до конца».

Тогда, последний раз, мы бродили с ним в местечке Еваны, под Прагой. Виллы, озеро, горы. Маломанов щелкал «кодаком»: виллы — так виллы, озеро — так озеро. Мы гуляли среди сосен и тишины.

Где он, тот аппаратик, те снимки, сделанные в последних числах мая 1945 года?

...В дверь постучали. Я не успел ответить, не успел как следует разглядеть. Мы обнялись, уткнулись друг в друга. Молчали. Как-никак четверть века.

Не разлучались всю неделю.

Утром Иван звонит в гостиницу.

— Живой? Позавтракал? Жаль. Я сей момент.

Тротуары черны от грязи. Не Сибирь будто, не асфальт, а Орловщина в распутицу. Машина обдаст — брызги до воротника.

Мы битый час слоняемся по Омску. Маломанов спохватывается, сует двухкопеечную в автомат — как там служба?

С другими бывало и так: пока говорим о прошлом, о дивизии — все хорошо, дальше — порог. С Иваном — никакого порога. О его делах мне известно все, о моих — ему.

Этот подполковник не растерял мальчишеской отзывчивости. Идет по госпиталю — он замполит: «Здравствуй, Лидочка!» «Привет, Вера! Что не в себе? Я ж сказал: помогу, квартиру получишь, как обещано».

У Ивана память, обращенная на собеседника. Он норовит о тебе же рассказать: каков ты был, в какую попал передрягу, чем ему запомнился. Стараюсь его сбить: «О себе б, товарищ Маломанов». Смеется, морщинки к носу и самый нос с мелких морщинок.

Начинает с середины:

— Захватили пяток пленных. Сами в окружении. Командир полка горячий: «Допросить — и в расход». Выхода, правда, нет. А с другой стороны... Они почуяли. Один глядел-глядел на меня да как кинется. Я растерялся. А он обнял меня, стоит. Слышу, у него сердце бьется. Разве поднимется рука? Командир отошел: «Отставить насчет пленных». Сами пробились и их вывели...

Пили у Ивана чай. В тарелке белый липовый мед, в нем торчит ложка из нержавеющей стали. Не совсем

обычная ручка. Я пригляделся: поверх немецкого тавра выдавлено «М».

— Откуда?

— Вытащил раненого. «Чем вас отблагодарить, товарищ лейтенант?» Достал из-за голенища трофейную ложку.

Саша, сынишка (пятый класс, белая рубашка с погончиками), поглядывает на отца, на ложку. Валя, жена, говорит как о чудачестве:

— Не растает с ложкой. Другой не ест...

В каждом полку, батальоне бывали безотказные люди. Прикажут: сделай,— сделает. Прикажут: обеспечь,— обеспечит. В отчаянную минуту командир посылает такого, зная: шлет на верную почти гибель.

Самым безотказным и удачливым в 96-м полку слыл, вероятно, Маломанов. Вначале сержант в роте, где был замполитом Гороховцев. Потом — комсорг батальона, потом — полка.

Куда только ни посылали, какие только дыры им ни затыкали, ему хоть бы что. Контужен — не сильно, ранен — не опасно. Отлежится в санчасти — и в батальон. Осколок прорезал партбилет, царапнул по груди. Перебинтовали — потопал дальше.

Никто никогда о нем дурно не отозвался — ни солдаты, ни командиры. Майсурадзе говорил с несвойственной ему нежностью: «Вано сделает...»

Как когда-то давно-давно, сидим мы рядом, смеемся. Ваня сгоняет к носу морщинки.

...Пока я писал эти свои заметки, Иван Маломанов уволился в отставку и отдался давно вымечтанному разлюбозному делу — пчелам. От него пришла новогодняя открытка: «Да будет мир, хлеб и мед!»

Я бы мог вернуть Ивану его слова: «Я нашел тебя, и это навсегда».

Многим, очень многим из тех, кого знал когда-то и с кем свела недавняя судьба, я готов повторить эту фразу-пароль.

Близится к концу шумный вечер, завершается еще одна встреча. Виктор Алексеев в своей неперменной роли:

— Теперь давайте на диван, артиллеристы... Теперь разведчики... Только без путаницы. Валя, убери голову. Петро, вперед, Надя, не загораживай Эмиля.

Вспыхивает блиц, щелкает спуск «Зоркого».

На кухне женщины моют посуду. Их голоса доносятся сквозь плеск воды, перебряк тарелок:

— ...Благодать — горячая вода...

— ...А у вас как с мясом?

— ...Миша Камышан, говорят, отыскался в Краснодаре...

В углу слабо мерцает серый прямоугольник телевизора. Никто не обращает на него внимания, не слушает поэтов, которые с тщательной непринужденностью сидят за овальным столом и читают свои стихи. Одни глядят куда-то в сторону, другие декламируют, уставившись в объектив камеры.

На экране — худощавый, тоненькая полоска усов. Взгляд в упор.

Ах, война, что ты сделала, подлая...

Будто померк свет.

Что она сделала?

Весь этот день — радостные объятия, бурные узнавания, тосты и сейчас вот говор на кухне... На какое-то мгновение все отступило перед вопросом, на который не ответить ни словами, ни даже жизнями нас, оставшихся в живых.

Что она сделала?

...Карты, много карт. Настенные, закатанные в трубку, солидные атласы, обветшалые двухверстки. На них — города в кружочках, подчеркнутые названия, путаница синих и красных зигзагов, сужающиеся к острию стрелы, крестики — знаки могил. Чем связаны они? Нашими судьбами. Нашими руками, протянутыми друг другу.

1969—1973

PS. После войны не было такого понятия — фронтовое поколение. Большинство поколений относилось к фронтовым. Но время шло, подрастала повоенная молодежь, редели ряды ветеранов, изведавших то, что и вообразить себе невозможно. И хотелось сохранить их облик, их голоса, настроения, ход их мыслей. С середины 60-х годов это желание усиливалось обновившейся тенденцией к возвеличению Сталина, а следовательно, и к умалению роли участников сражений, своею кровью, своим подвигом обеспечивших великую победу.

Не полагаясь только на собственную память, на архивные документы, я пытался еще раз увидеть, услышать своих однополчан. Вставить их рассказы и письма в эту незамысловатую повесть.

Менее двадцати лет миновало после наших встреч в 70-е годы. Фронтовое поколение стало поколением уходящим. Сколько славных жизней оборвалось за этот срок! Нет уже среди нас Василия Фисатиди и Сергея Анисимова, Бениамина Мартиросова и Василия Поды, Петра Ефименко, Ивана Тупикова, Екатерины Камышловой... Их имена не всегда высечены на торжественном мраморе, они в сердцах близких, в сердцах однополчан и запомнятся, быть может, тем, кто теперь о них услышал...

ВОЗВРАЩЕ
НИЕ

ДОРОГА ЧЕРЕЗ «ЦМЕНТАЖ»

4 августа 1944 года (восход солнца 4 ч. 01 мин., заход 19 ч. 22 мин.) в Санок, воспользовавшись брешью на юге, ворвались транспортеры и танки немцев. Это случилось спустя сутки после того, как в польский город вошла 140-я Сибирская стрелковая дивизия. Ее левофланговый, 258-й полк, отразив на тесном прибрежном плацдарме контратаки, проследовал центральной улицей в западном направлении. Командир полка Федор Дмитриевич Ярыгин лихо развернул трофейный мотоцикл без глушителя и въехал в боковой переулок.

— Тут,— бросил он сидевшему в коляске адъютанту, расстегнул маскхалат, вытер потный лоб и вошел в дом напротив больницы.

Дом стал комендатурой, подполковник Ярыгин — комендантом Санока.

Стены и заборы покрылись указующими стрелами, неизменными надписями: «ПСД»¹, «Хозяйство Суханова», «Хозяйство Хуторяна», «Хозяйство Барнашова»... Сами «хозяйства» — второй эшелон и тылы дивизии, не заставив себя ждать, пожаловали наутро.

Никто еще не подозревал, что оно роковое, это 4 августа девятьсот сорок четвертого года, и ко вчерашним настенным надписям прибавились новые, к деловым — шуточные: «Валя, догоняй Гриняева!»

Сколько всяческих надписей — где мелом, где углем — осталось позади, сколько городов предстояло взять, форсировав реки, взбурлив снарядами ровное течение, окрасив

¹ ПСД — пункт сбора донесений.

голубоватый поток растекающимися пятнами. Этому белому в зелени городку на Сана промелькнуть — и память не удержала бы названия...

Солдаты натруженно топали по пыльному булыжнику. Бившее в спину солнце сушило мокрые после Сана гимнастерки — от них поднимался парок. Азарт утренней схватки на песчаной кромке плацдарма сменился любопытством. И людьми, вначале опасливо, потом все смелее высыпавшими на тротуар, тоже овладевало любопытство. Они рассматривали заросших солдат — молодых и постарше, не очень-то соблюдавших равнение в строю. Когда кто-нибудь из командиров, остановившись и пропуская мимо колонну, устало выкрикивал: «Давай, давай, не тянуть ногу!..», ряды выравнивались. Но вскоре снова теряли четкость.

Рождалось первое, легкое общение между мостовой и тротуаром. «Ну как, паны, в Польше?» Солдаты не вникали в дипломатические тонкости и называли страну ее исконным именем, в те годы исчезнувшим с карты.

Это сразу оценили люди, выходившие из домов и бункеров, вылезавшие из открытых в садах щелей.

На привале, тут же на развилке главной улицы, появились высокие глиняные кувшины с молоком, холодная вода в эмалированных ведрах. Мальчишки в коротких штанах, вежливо здороваясь, тянулись к автоматам и пулеметам.

Об этом мне расскажут в Санокке двадцать восемь лет спустя, и человек преклонных лет в кепке с наушниками поставит в тупик: почему у одних солдат были гимнастерки потемнее, у других — посветлее? Это его еще тогда озадачило. Я, напрягаясь, припомню: в канун львовского прорыва дивизия получила пополнение, у новичков были свежие, новенькие гимнастерки, а у старослужащих обмундирование произносилось, выцвело под июньским и июльским солнцем Украины.

Один из тогдашних мальчишек покажет мне, во что обошлась ему пацанская любознательность, желание узнать, как устроена граната, — на левой руке изуродованы два пальца. Правда, это произошло чуть позже, после того как той же санокской улицей, настигая наши обозы, промчались прорвавшиеся немецкие танки.

Гусеницы вмяли в землю ячеистые фермы полевой хлебопекарни и кем-то брошенное эмалированное ведро, снаряд угодил в санитарную машину, выруливавшую из больничного двора, — с дымящимся кузовом и тарахтящим мотором она уткнулась в кювет...

За миновавшие полтора года дивизия побывала в передрягах, случались и похлеще. Однако тот день — 4 августа, обыкновенный день далекой войны — вырвался их отведенных ему часов и минут и, растянувшись вдаль, напомнил о себе.

17 февраля 1972 года я шел по кладбищу, «Цментажу жолнежей раджецких», в Саноке. Зима едва коснулась южной Польши, кладбищенские дорожки раскисли, из-под плит с кощунственным нетерпением пробивались зеленые стебельки травы.

Безымянные могилы выстроились строгими рядами. Царили покой, безличное и почтительное равенство. Я помнил имена троих. Они разнились от прочих тем лишь, что когда-то я с ними спал под накатами общей землянки и теперь тщательно надеялся прочитать имена на сером кладбищенском камне.

Недели две спустя в другом польском городе, на другом «Цментаже жолнежей радецких» я видел плиты, расходившиеся лучами. На каждой обязательно надпись. Хотя бы такая: «Коргоев и 61 неизвестный воин Советской Армии, павшие в боях 1944—1945 гг.».

К этому кладбищу, к плитам с фамилиями, датами, цифрами меня привели польские дороги, начавшиеся в Саноке.

Среди безымянных могил Санока я ощутил с остротой внезапного открытия: случайность, полнейшая случайность, что я в ботинках, облепленных вязкой грязью, стою подле безгласных плит, а не лежу под одной из них.

Собственная жизнь с ее заботами и обыденными треволениями фантастически случайна, и самое, быть может, главное стряслось в ней на той грани реального, которая обрывалась в небытие, прихлопывалась тяжелой плитой, окаймленной аккуратной, в кирпич высотой, бетонной оградкой.

У польского поэта мне попались строки:

Так далеко эти темные окопы,
Мысль на проволоке виснет в черном дыме,
Рот кровавит, призывая ночь и колоть...
Слишком трудно возвратиться к вам живыми.

Трудно. Сам он не возвратился. Как и те, что лежат на бесчисленных «цментажах» Польши, на полях и кладбищах России.

А я, вернувшийся, что ищу на далеком безымянном кладбище?

В Санок я попал, повинуюсь и неясным побуждениям, и деловитому плану: еду туда, где 4 августа 1944 года полегли наши, где польские медики выручили советских раненых (немцы продержались в Санокке несколько дней), поклонюсь могилам, поблагодарю поляков, сяду и напишу, как оно все было. Чего проще! Чтобы не упустить, не напутать чего-либо, предварительно заеду во Львов, к отставнику Федору Дмитриевичу Ярыгину, в Ивано-Франковскую область, где после расформирования нашей дивизии осел кое-кто из врачей и санбатских медсестер.

Все продумано: дни, километры, встречи. Отправлены письма. Обещано содействие в Польше, забронирована гостиница в Ивано-Франковске. Современный транспорт — поезд, самолет, автомобиль — доставит меня в прошлое. Нанесу визит — и вернусь. В московской кассе взят билет до Варшавы и обратно.

Не исключены, естественно, накладки, случайности, не без того. Кого-нибудь не застану, с кем-нибудь разминусь. Но маршрут выведет на цель. В необходимый момент километры уступят место категориям времени. Прошлое восстанет во всей своей достоверности, прозвучат голоса, блеснут краски, уточнятся детали. Уточнения необходимы. Я, например, помнил, что гитлеровцы, отбив Санок, держали его с неделю. Начальник штаба дивизии полковник Сергей Григорьевич Самуэльсон написал мне: три дня. Во Львове Ярыгин подтвердил:

— Точно, три.

— Три? — негодуяюще вмешалась жена Ярыгина Мария Францевна Витинская. До этой минуты она безучастно прислушивалась к нашему разговору, подвигая холодец, следила, чтобы мы закусывали.— Три! Я-то, слава богу, знаю...

Как не знать! Витинская была среди медсестер, которые скрывались, оставшись в захваченном немцами Санокке.

— Три?! Добрых семь!..

Не слишком полагаясь на собственную память, я не

вступал в спор. На месте узнаю доподлинно. Постараюсь узнать.

В Саноке слышал: «три», «четыре», «пять», «шесть», «семь». Меньше трех и больше семи дней не давали. Но уж что «три» или «семь» — голову под заклад.

Каждый день тогдашнего августа нависал смертной угрозой над Витинской и еще двумя нашими фельдшерицами, над ранеными, что оставались в больнице, над польскими врачами, сестрами, санитарями.

За этими «тремя днями» либо «четырьмя», «шестью», «семью» поднималась, вырисовываясь, главная цифра. Кладбище в Саноке могло быть на три десятка могил больше. По числу тяжело раненных в больнице. Побег, сопротивление им не под силу. Обречены.

Но — остались в живых. Все до единого.

Спасла окутывавшая их тайна? Романтично, однако убедительно ли?

Каким образом сберегли тайну десятки посторонних людей — больные, сновавшие вокруг, персонал? Причастность к такой тайне по оккупационным установлениям равнозначна соучастию; разговор короток... Проведай немцы о раненых — и на Санокском «цментаже» еще три десятка неизвестных могил.

Однако нет их, этих могил. Как нет твоей. Но случайность тут ничего не объясняет.

Теперь, спустя годы, твой счастливый жребий обернулся властной потребностью искать, докапываться, сознавая: это необходимо многим. Тем, кто сберег жизни, и тем, чьи жизни сохранены, а сохранившись, дали новые. Сбереженные и новые влились в реку продолжающейся жизни, не ограниченной одним сроком, одним временем, стенами одного дома.

Я одолевал расстояния, минуя километровые столбы, почерневшие распятия, телевизионные вышки — алым трассирующим пунктиром они застывали в ночном небе, таблички с названиями рек и сел, толпы прихожан, со свечами в руках шествовавших к вечерней мессе, плакаты во славу мира, дорожные уведомления о крутых поворотах, развилках, спусках, подъемах.

Однажды мне посчастливилось встретить в воздухе расцвет. Солнце, прежде чем взмыть слепящим диском, лежало раскаленным брусом на границе светлеющего неба. Минута — и самолет озаряется, как земля в полдень. Еще не угасли отсветы восхода на стенах, а стюардесса,

при взлете приветствовавшая пассажиров от имени экипажа, совершающего рейс Москва — Ивано-Франковск, с той же радушной аэрофлотской улыбкой сообщила: пункт назначения по метеорологическим условиям нас принять не может.

Самолет долго плутал в облаках, солнце выныривало с неожиданной стороны, — и снова стюардесса, снова улыбка: делаем посадку в Киеве, на Бориспольском аэродроме.

Этот город не значился в моих маршрутах. Погода вносила поправки. Если б только она! Если бы все ограничилось дорожными осложнениями, томительным ожиданием в вокзальном буфете, переплясом (холодовато было на пути из Ивано-Франковска в Надворную) около упрямо не заводившейся «Волги»!

Я пытался прикоснуться к одному, всего лишь одному некогда промелькнувшему дню войны, пробиться к нему. Но меня втягивало, засасывало в крутящуюся воронку, все непредвиденно приходило в движение. Далеким, порядком забытый день — один из многих, — неустанно и тревожно возрождаясь, отдавался в новых, нахлынувших спустя годы, действиях.

ГДЕ-ТО НА ОКРАИНЕ (РЕЙС 897)

Дернул за пластмассовый шарик на подлокотнике — и откидываешься вместе со спинкой. Перед глазами уже не табло, повелевающее: «Пристегните ремни», а белый сферический потолок, плетеные сетки для багажа — рамки экрана.

Смотри. Покуда не оборвалась цветная лента.

...Крученым серым серпантинном дорога ввинчивается в небо. Петляющая впереди полуторка то исчезает за поворотом, то выныривает. Когда выкатывает, освещенная ранним лучом, на темно-зеленом заднем борту различимо: «Даешь Варшаву! Даешь Берлин!»

Вижу полуторку, размашистым мелом надпись, помню праздничность чувства: Польша!

Виток, еще виток, мелькающим зеленым пятном задний борт грузовичка, залихватский призыв — и резкий спуск. Петля за петлей. Сквозь хвою голубовато искрящаяся рябь Сана.

Когда? Знаю без титров: 4 августа 1944 года. Где-то между двенадцатью и двумя. Точнее не берусь, — часы у меня стояли не первый день.

Все так: серпантин, полуторка, земля польская.

Что-то приплюсовывается к этому безусловному. Туман, ускользающая тень. Блекнут, гаснут краски.

В кино бранят механика, топают ногами. Тут пусть ответит память. Подступаю как с ножом к горлу. Напрасно. Сбереглось — никуда не денется, выдаст на-гора. Дай срок. Сеанс не на полтора часа — на годы.

Домик на западной окраине города, среди таких же одностажных под черепицей либо крашеным железом.

Почему, действительно, почему его выбрали? Нипочему. Забор свален, не искать калитку, не стучать. Под деревьями не укрывались штабные машины, не дымила кухня, ни санчасть, ни писаря не облюбовали дом под почерневшей черепицей.

Опустились на крыльцо — солнце не доставало сквозь густую листву,— закурили.

Из полуоткрытой двери за нами наблюдала девочка лет, наверно, трех-четырех. Скрылась. Вернулась с матерью.

— Добрый день, пани!

— Дзень добры!

Распахнула дверь, сделала рукой плавный жест, можно счесть за приглашение. Не слишком настойчивое, однако. Нам не до тонкостей. И на том спасибо.

Мы сидим в просторной, прохладной комнате, с розовой стены взирает богоматерь. Лицо лучится бесхитростной улыбкой. Внизу пририсовано пылающее, видно тоже добротой, сердце. При такой любвеобильности богоматери надлежит отнестись сочувственно к двум пришельцам, насупленно молчащим перед ее ликом. Мы для нее непривычны. Она для нас тоже.

Гороховцев кивнул:

— Вместо иконы у них?

Я пропустил мимо ушей.

— Кончай киснуть...

Он полез в толстую, непомерно набитую полевую сумку, вытащил флягу в деревянном чехле с привинчивающейся алюминиевой пробкой-стаканчиком. Уверял, будто снял флягу с убитого оберста.

Утром теплилась слабенькая надежда. Чем черт не шутит! Глядишь, Иван Денисович и Юра укрылись в каком-нибудь бункере, отсиделись на чердаке. У Ивана Денисовича с его согбенной крестьянской спиной и вислыми усами облик совсем не солдатский. Говорит по-украински; в здешних местах не редкость.

На фронте командиров именовали «отцами», «батьями».

За уставную заботу, на лету кинутое сердечное словцо на безусого ухаря с малой звездочкой в погоне взирали с сыновней благодарностью.

Иван же Денисович Носок — рядовой, место его на нижней ступени армейской лестницы: ординарец, ездовой. Мы со своими портупьями, планшетами и пистолетами ходили в начальниках. Но если кто и был нам на фронте отцом, то Иван Денисович, отцом внимательным, строгим, порой — ворчливым.

К Юре Уткину, сержанту из связистов и поэту, мы, напротив, испытывали чувства покровительственные, почти родительские. Он уже больше года воевал, не раз отличался, но нам виделся пацаном, за ним глаз да глаз. Не углядели...

4 августа повозка Ивана Денисовича тащилась в обозе. В том самом, который на санокской улице настигли немецкие танки. О Юре знали и того меньше. Будто бы искал портного, хотел сшить брюки из немецкой шинели.

Валю Оселкова искать нечего. После прямого попадания — о нем рассказали медсанбатские девчата — чего искать?

Мы с Прокопом не прошли, прочесали из конца в конец главную улицу. По ней, прижимаясь к тротуару, оставляя мостовую для тягачей с артиллерией, тянулся обоз.

Мы шли мимо еще пахнувших гарью недвижимых полуторок и «ЗИСов», накренившихся столбов с провисшими проводами, мимо раздутых, как авиабомбы, или расплюснутых автомобильными скатами лошадиных трупов, мимо скособочившегося немецкого танка, изодранных тюков с медсанбатскими палатками (водитель пытался вывезти, спасти добро), мимо разбитых, растерзанных, разграбленных фур.

Мы вдыхали тошнотворно-приторный запах гления, пропитавший августовский Санок.

Поляки показали невысокий бугор. Земля успела подсохнуть — зной стоял африканский. В безымянной могиле хоронили тех, кого подобрали на улице, в садах, на огородах, за околицей.

Мы не желали верить, не соглашались. Наводили справки в госпитале, — он разместился в больнице, там же, где 4 августа наш медсанбат. Лазили в пропахший вековой сыростью погреб в больничном дворе, в какие-то подвалы с кадушками...

А теперь сидим в окраинном домике перед богоматерью.

Прокоп отвинтил пробку, поднес к носу флягу, шумно втянул водочный дух.

Заметив флягу, хозяйка — до этой минуты она безучастно вязала в углу да глазом косила в нашу сторону — вышла из комнаты. В другой мир, где хватало своих, далеких нам, волнений, дум, дел. Да и кто мы ей, чтобы впускать нас туда. Достаточно с нее всего пережитого: пять лет оккупации, приход нашей армии, снова немцы, снова мы... Мужа не видно...

Вернулась с двумя рюмками и двумя тарелками. На одной — кусок кроваво-красной колбасы, обрамленной листиками салата, на другой — тонкие ломтики серого хлеба.

Гороховцев покрутил в руках рюмку — благодарно и неудовлетворенно (донышко близко), сказал: «Дзенкую» — и попросил еще одну.

Хозяйка сделала отстраняющий знак рукой: нет. Нет так нет.

Женщина снова вышла, а тощенькая дочка — косица мышинным хвостиком, синий вязаный капор, красные носки на ножках-былинках — осталась. Мать окликнула:

— Эва, Эвуня!

Но девочка будто прилипла к столу, с неутолимым интересом следила за каждым нашим движением.

Прокоп порылся в сумке, вынул серый кусок солдатского сахара, потер о суконные бриджи, протянул. Девочка взяла, прикоснулась к юбочке, сделала книксен.

В другой раз мы небось подивились бы, приласкали. Но сейчас сил доставало только перекидывать одну за другой микроскопические рюмки.

Не однажды радовали мы хозяйских ребятишек таким немудрящим гостинцем (хорошо, когда имелся). С какой жадностью сосали этот сахар голодные дети в Орловской области и Курской, в белорусских селах и украинских, на пепелищах среди Мозырских болот, в лесных землянках подо Львовом. Одни чумазые, другие умытые, белоголовые и чернявые, испуганно жавшиеся в углы и смело карабкавшие на колени. Сейчас вот маленькая полька в красных носочках...

Хозяйка внесла горячую картошку, по краям блюда — зеленые пучки салата.

На плечах у нее тонкая черная косынка. Увидев у

дочки зажатый в кулачок сахар, наставительно покачала головой:

— Эвуня...

На этот раз пани приняла наше приглашение, принесла рюмку, пригубила водку, посидела пяток минут и поднялась. Прежде чем уйти, попыталась что-то нам втолковать. Если я верно понял, она хотела сварить кофе, но заранее извинялась — кофе ненатуральный, эрзац.

— Гляди-ка, сочувствует пани.

Прокоп, не любивший нарушать форму одежды, позволил себе расстегнуть воротник, вытер красную, в складках, шею.

— Ты говорил...

— Ничего не говорил.

Кофе из желудей и бытовой химии не могло изменить наше состояние.

Прокоп понюхал пустую уже флягу, сунул в полевую сумку.

— Поблагодари хозяйку, — вполне официально приказал мне.

— Есть, товарищ капитан.

— Поцелуй ручку. Надо уважать ихний обычай.

— Сам целуй.

Гороховцев осуждающе вздохнул:

— Подраспустился.

Подошел к хозяйке, неуклюже ткнулся губами в протянутую руку. Та слегка кивнула — и дочке:

— Эва,..

Девочка развела в стороны края юбочки, присела.

— Ишь ты! — восхитился Прокоп и начальнически погрозил мне пальцем. — Учись почитать старших.

Когда это было? Если немцы держали Санок три дня, то 7 либо 8 августа сорок четвертого. Если больше, то позже. Помню: знойная духотища, божья мать с пририсованным внизу пылающим сердцем, сострадающая хозяйка в черной косынке, бледная девчушка с тонкой косичкой: Эва, Эвуня... Ей сейчас лет тридцать. Память, считается, сохраняет подробности детства. Почему, однако, должен уцелеть далекий, случайный эпизод? Этот уголок раннего, «первого», как писал Достоевский, детства, который остается и тогда, когда исчезла, погасла вся картина. Что было ей, несмышленишу, до двух офицеров — «Советов», забредших в окраинный домик помянуть товарищей?

Что ей? Что ей? Что ей?

Задремал, видно. Подняться пришлось ни свет ни заря. Самолет вылетел из Москвы затемно. Сейчас около двух. Из-за непредвиденной посадки в Киеве день насмарку. Пока устроюсь в гостинице, то да се.

— Граждане пассажиры,— стюардесса солнечно улыбается,— рейс 897 завершен. Спасибо за внимание...

Улыбка ни дать ни взять как тогда у божьей матери в крайнем санокском домике с поваленным забором.

ЧАСОВЫЕ ПОЯСА

Я видел ее впервые. Или мы встречались в далекой яви — где-нибудь у зыбкого штурмового мостика, тряслись в кузове попутного грузовика, когда она везла раненых, горбились в окопе, кланялись одному снаряду? На правах возможного знакомства она отрывисто постучала, дернула дверь. Прежде чем назвать себя, с порога объявила: со сто роковой.

Этого достаточно для нее и для меня. Лидия Феофиловна Юдаева услышала: какого-то давнего сослуживца занесло из Москвы в Ивано-Франковск,— и прикатила из Калужа.

Мы не узнавали друг друга и не делали вида, будто узнаем. Я не вглядывался в ее лицо. Когда встречаю моих сверстниц-однополчанок, стараюсь не замечать, как к ним подбирается старость, как грузнеют, потихоньку достают из сумочки валидол.

— Ну рассказывайте,— с места в карьер распорядилась Лидия Феофиловна.

Начал первое, что пришло на ум. Как сделали вынужденную посадку в Киеве, как в необозримом зале Бориспольского аэровокзала с пологой спиралью, заменяющей лестницу,— такие будут, вероятно, на межпланетных станциях,— меня окликнул человек в пальто с барашковым воротником, с потрепанным командирским планшетом через плечо, как мы стояли друг против друга среди движущейся толпы, пытаюсь понять — знакомы ли, откуда? Надо же, из одной дивизии, он служил в штабе артиллерии, у Ширканова...

— Разбросало по всей земле,— вздохнула Лидия Феофиловна.

Она перечисляла имена, стараясь найти общих знакомых:

— Майора Махинько, с политотдела, помните?

— Ивана-то Ефимыча!

— При мне его, осколком... Утром вышел из землянки. Бой не бой, глаза промыть надо...

Слушаю. А передо мной — подвода, тело, укрытое плащ-палаткой, голова наружу, ветер перебирает мягкие длинные волосы Ивана Махинько. Прошу у командира комендантского взвода Кайдалова солдат — дать салют; Кайдалов отказывается — нет у него солдат. Мы непечатно собачимся. Не из-за вражды. Измучены смертями, бессонницей, маетой. Служба у Кайдалова не сахар, кругом начальники, все норовят командовать. Кайдалов поднимает пятерых заспанных бойцов и дружески обещает: «Тебя хлопнет, всем взводом салют дам...»

— Соловья баснями не кормят,— Юдаева решительно отодвигает стул.— Пошли обедать.

На втором этаже в гостиничном ресторане продолжается этот челночный разговор: туда — сюда, в войну — обратно. Погиб, умер, жив. Все больше о тех, кто сейчас в здешних местах: Ивано-Франковске, Калуже, Надворной, Брошневце.

— Тут живет капитан...— Лидия Феофиловна прикусила язык.— Бог с ним...

Опять имена, звания. У кого дочь замужем, у кого сын в институте. Обед к концу. Юдаева снова о капитане. Но с не свойственной ей нерешительностью, без фамилии. «Капитан» и все. Есть ли о чем вспоминать? Случай-то мелкий. Или не мелкий?

Май сорок пятого. Первые числа. Моравская Острова наконец взята, движемся на Оломоуц. В пустой вечерней деревне к военфельдшеру Юдаевой прибежали два чешских крестьянина: в подвале немцы ли, власовцы пытали раненых, добивали. Двое все же живы... Как быть? Верить чехам? Вдруг ловушка. В последние часы войны всего обиднее. Кроме Юдаевой в деревне еще капитан из их полка, у него машина и солдат. Она — к капитану. Отказывается сам идти и солдата не пускает. На нем ответственность за машину, груз. Помогать раненым — ее обязанность, его дело — сторона.

Страшновато ночью по шаткой лестнице спускаться в темный подвал. В одной руке у фельдшера граната, другой прижимает автомат.

Чехи не солгали, у двоих прослушивался пульс.

Наложила шины, перевязала. Чехи пособили, вместе вынесли на улицу. Помчались сломя голову к капитану. («Ноги-то молодые были».)

Ни капитана, ни солдата, ни грузовика.

— Живет капитан в Ивано-Франковске. Меня сторонится как черт ладана.

— Да он забыл вас, наверное.

— Ну да! — К ней вернулась уверенность.— На собрании областном встретится, бочком, бочком в уголок...

Без всякой связи, забыв о капитане, Юдаева советует:

— Поезжайте в Санок. Дело... Добро надо помнить...

Что добро надо помнить, с детского сада учат. И зло, когда оно подобно злодейству. Но как сберечь память о зле, если едва различимо, тем паче на удалении? Обладает ли благой пример способностью пробуждать совесть у того, у кого она не совсем чиста, а хотел бы жить, не обременяя себя душевными терзаниями?..

С Валентиной Даниловной Хохловой мы знакомы с военных лет, виделись после войны, на фронте я приятельствовал с ее мужем Захаром Трофимовичем Шелупенко.

Недалек путь от Ивано-Франковска до Надворной. Да день выдался холодный, и с машиной нелады.

Тем милее теплая комната с высоким потолком, книжными полками, тем отраднее дымящийся в тарелке борщ.

— В Санок надумал? Верно.

Валя предпочитает соглашаться, не перечит. Захар Трофимыч — помнится — возражений не жаловал. Сегодняшнее согласие, однако, не от покладистости. Хохлова из тех, в чьей памяти Санок оттиснулся тяжкими подробностями.

Тогда, 4 августа, поляки пригласили медсанбат в больницу, предоставили палаты, операционную. Санбатское имущество, увязанное тюками, покоилось на грузовиках и подводах. Разместили раненых — кого в хирургию, кого в терапию.

— Сколько раненых? Тебе говорили — человек двадцать. Так и будет, до тридцати...

Во дворе общий завтрак — поляки и наши. Оселков раздобыл котелок меда.

Хохловой завтракать не пришлось — спешный отчет («На фронте тоже канцелярии хватало!»). Взяла бумагу, журнал, чернильницу, из окна с завистью наблюдала за шумным застольем. Вскинула голову — ни врачей, ни поляков. Почтальон Голещихин судорожно седлает лошадь. «Немцы!»

Не затынет никак подпругу, лошадь рвется из рук.

Хохлова выскочила с чернильницей. Не выпуская, бежала по главной улице среди фур, повозок. А немцы прицельно по клокочущей дороге. Нарочно не промахнешься.

Танк, настигая колонну, в упор саданул по грузовику. Взмыли вверх куски бортовых досок, белое облако — в кузове мешки с мукой. Выстрел тот для танка стал последним — с перебитой гусеницей завалился набок.

Хохлова со своей дурацкой чернильницей — в сторону, через забор, на окраину, в зеленеющее поле...

Вдруг остановилась, заговорила медленно, с запоздалым удивлением. Тогда, в кутерьме, не до удивления было.

Рядом бежала Шура Коровкина («Ты ее должен помнить — беленькая, из госпитального взвода...») и немецкий солдат.

— Какой еще солдат?

— Немец. Мальчугашка совсем. Раненый, прибился на нашу сторону. Обжился в медсанбате. Носил детскую панаму от солнца. Недотепистый. Кто-то обозвал «шляпой». Я говорю: «Какая шляпа? Панамочка». Пошло: «Панамочка», «Панамочка». На кухне подсоблял, ходил за ранеными... Бежит рядом со мной, задыхается. Панамка белая и рубашка белая. Скосили его...

Наши раненые, кто в силах, пытались спастись бегством. Но на костылях далеко не уйдешь. Да и бинты демаскировали. С бронетранспортеров били снайперы...

А те, что в больнице лежали, самые тяжелые, черепные, полостные, с ампутациями — выжили. Кого надо было, прооперировал польский хирург.

— Откуда тебе известно?

— Сестры оставались в Санокке. Мария Витинская, Маруся Аверьянова, Валя Каплева. Валя в больнице ховалась. Ее переодели в гражданское, прическу сделали по польской моде. Раненых тоже обрядили в халаты.

— Думаешь, немцев легко обмануть?

— Ничего не думаю. Факты даю.

Этот же вопрос: почему немцы не тронули наших раненых? — я задал полковнику Самуэльсону. Он ответил в письме: не до того было.

— Верно, — сказала Хохлова. — Где уж им раненых искать!

— Полковник утверждает: немцы захватили Санок на три дня.

— Значит, три.

— Мне помнится, дней семь.

Она пожала плечами.

Почему должен ждать от Хохловой определенности, когда сам только еще отправляюсь за ней?

На первых порах — стоило копнуть — уточнялись одни подробности, и сразу же всплывали новые вопросы, поднимались новые фигуры, причастные к 4 августа девятьсот сорок четвертого года.

В мыслях не держал капитана, о котором ни с того ни с сего вспомнила Лидия Феофиловна. Он хотя и не имел прямого отношения к Санокку, упрямо маячил где-то поблизости. И этот немецкий солдатик — «Панамочка»...

— Давно было, — оправдывая свою и мою неуверенность, проговорила Валя, Валентина Даниловна Хохлова. — Далеко...

По дороге из Надворной стрелка спидометра словно зацепилась красным острием за «100». Высвеченные фарами снежинки облетали машину, минуя ветровое стекло.

Скорость вселяет уверенность. С ветерком — так уж без сомнений. Они исчезают, как проносящиеся по сторонам столбы.

Иное дело, когда плетешься пешком.

Я шел мглистой рассветной улицей. Витрины еще вяло желтели ночным освещением. Меня окликнул низенький толстый человек без пальто, в свитере едва не до колен, заношенной армейской ушанке.

— Отверни лампочку.

Он стоял у входа зажатой меж двумя домами клетушки, которая одновременно служила писчебумажным киоском, обувной мастерской и местом продажи лотерейных билетов. В углу — белые медицинские весы, увенчанные надписью «Самообслуживание».

Толстяк подтолкнул мне сапожный табурет. Я влез, крутанул лампочку.

— Еще раз поверни! — скомандовал он.

В дверях остановился парень в синей синтетической куртке. Пушистый шарф заправлен в расстегнутый ворот, концы свисают из-под короткой куртки. Волосы по плечи.

— Гринь, Грицко, почисть чеботы.

— Давай двадцать пять копеек.

Парень отсчитал мелочь. Гриня поплевал на монеты, сунул в карман.

— Почин. Зайдешь потом. Сейчас я занятый.

Он забрал свой табурет, поманил меня. Я последовал за ним в комнатенку, узкую даже для купе.

— Чего утром не спишь? От бабы? — громко спросил Гриня. — Прикрой дверь... У меня на фронте одна была...

Он осекся. То ли вспоминая, то ли прикидывая, следует ли со мной откровенничать. Улыбка сползла с одуловатого, вневозрастного лица.

Я рассматривал открытки и портреты, развешанные по стене рядом со стельками, связками шнурков. Это были портреты маршалов и генералов, вырезанные из журналов, вырванные из книжек, серые газетные фотографии, многоцветные рисунки. На открытках с поздравительным по случаю Праздника Победы текстом от руки было проставлено имя Григория Павловича Котляра.

— Откуда приехал? — Он возобновил допрос. — Из Москвы? Купить чего-нибудь?

Сказал, что заезжал к однополчанам. Он недоверчиво прищурился.

— Не брешь? Не к бабе? Какого года сам?

То обстоятельство, что мы сверстники, обрадовало Григория Павловича, объединило нас. Он присел на кожанременной табурет и приготовился к разговору.

— Я здесь родился. Мисцевый...

И утерял нить, затих. Потом вскинулся:

— Всю войну провоевал. Расчетом командовал. Полковые. Семидесяти шести. В Сталинграде оставался за взводного. Лично командующего, как тебя, видел. Разговаривал... Ты в какой армии служил? Ото ж! — Он хлопнул себя по коленям. — И я в тридцать восьмой!

Совпадение делало нас почти родней. В знак полного ко мне доверия он, поднявшись, торжественно показал на портреты.

— Уважаю!.. Случай у меня был на Днестре... Нет, лучше в Карпатах...

Григорий Павлович перескакивал с пятого на десятое. В нем поныне кипело, бурлило: переправы, НП, ранения, госпиталя. Как генерал вручал «За отвагу». Как видел маршала.

— Меня уважали. Время какое было! А теперь «Гриня, Грицко», — он передразнил недавнего посетителя. — С моего расчета один профессором стал. В Харькове. Письма пишет.

Григорий Павлович оттолкнул меня, рывком вытащил зеленый деревянный ящик с обитыми черным железом углами — немцы в таких держали мины, — откинул крышку. Ящик был полон писем. Он рылся среди них. Хватал одно, другое. Размахивал передо мной.

— Всех подчиненных разыскал. Состою в переписке с Министерством обороны...

Без видимой связи снова накинулся на молодежь, «длинноволосых».

— Нас под «нулевку» стригли, а любовь была. У меня одна... Знаешь, как любила! У этих — какая личная жизнь! Они...

— Всекие они. Мы тоже всекие были, разные носили прически.

Он ненавидяще глянул на меня, неохотно возразил:

— Брось, не защищай. Мы с одного теста, они с другого.

Душевный энтузиазм уже иссякал, Григорий Павлович снова сел на табуретик.

— Не слышал, кем сейчас наш командующий? А маршал?..

Он сыпал громкими фамилиями, вопросами. Мое незнание рассердило его, вновь вызвало подозрение:

— Врешь, что к фронтовым однополчанам приехал. Думаешь на дурака взять.

Григорий Павлович обозленно выругался.

— Я Сталинград освобождал. В сорок втором году...

— Семьдесят второй на носу.

Вконец раздосадованный моим напоминанием, он сорвал ушанку, клочья ваты торчали из драной подкладки. Я увидел глубокие розовые шрамы, поросшие редкой сединой.

— Иди отсюда. До свидания. Иди!

С тяжелой душой тащился я от Григория Павловича. Из клетушки, где среди портретов и старых писем коротает он свой век, недоверчиво поглядывая на улицу.

Я отправился в прошлое. Он оттуда не возвращался. Сохранил жизнь, но не вернулся с фронта. Также — вследствие войны. И предостережение, когда устремляешься обратно в минувшее: не застрянь. Будешь корпеть над списками однополчан, пробавляться воспоминаниями, слать

письма — не фронтовым друзьям, как надеешься, — а в то далекое, с которым навечно породнила война, сожгла мосты к настоящему...

Длинные волосы... Что ж, пусть длинные. Лишь бы не скрывались под ними рубчатые шрамы. Лишь бы не играл ими ветер на мертво откинутой голове.

Не взыщите, Григорий Павлович, но, уверен, люди одного поколения, мы пребываем в разных часовых поясах.

Часовые пояса туго стягивают земной шар. В каждом — свой отсчет времени. Но едина перехваченная ими Земля. Все живущие на ней — живут сегодня.

Сегодня и завтра — цель похода во вчера. Идти в прошлое, чтоб вернуться, обогатиться, в настоящее.

С некоторых пор повелось измерять расстояние временем. Никого не удивишь «дорогой длиной в тридцать лет».

Однако дороги, даже в минувшее, проложены по земле, прочерчены с топографической непреложностью. Верстовые столбы и пограничные, и столбы, на которых крепятся полосатые перекладки шлагбаума, прочно врыты в землю. Над ней пролетать, по ней ехать, идти. Об нее разбиваться падая.

«Чего ты хочешь? — обратился я к себе, продолжая допрос, начатый Григорием Павловичем. — Зачем приехал в прикарпатский город, где по старой памяти такси на варшавский лад именуют «таксувкой»? А теперь собираешься дальше, в соседнюю страну?»

«Поклониться могилам, поблагодарить, написать».

«Это ты уже перечислял».

«Хочу отбить у времени эпизод прошлой войны. Один. Буднично промелькнувший. Не занесенный в анналы, не восславленный легендами. Но смутно и тревожно мне необходимый».

Часовые пояса обозначены на карте. Однако где он, временной пояс, отделяющий вчерашнее от сегодняшнего?

...Начинался дождливый прикарпатский день. Выпавший ночью снег превратился в черную жижу, она чавкала под подошвами.

ЦИФРЫ

Я спросил у варшавского знакомого о Саноке. Он задумался.

— Возле Сопота где-то. Надо поехать на фестиваль песенки.

— Не у Сопота. Совсем в другом конце страны.

— В другом — Закопане. Закопане зимой...

Другой приятель был сильнее в географии. Не только в географии.

— Во-первых, — он загнул длинный мизинец с полированным ногтем, — автобусный завод, во-вторых, уникальная коллекция икон. — Не замечая тяжкого моего вздоха, продолжал: — В-третьих, в-третьих... Э, э, у вас называется «писаная красавица». Ноги от шеи. Родом, если не заблуждаюсь, из Санока... Когда поедете, сделайте небольшой крюк. Краков, Вавель — рукой подать.

Не к чему мне это, превратиться в экскурсанта, податься суетливой туристской любознательности, уподобиться тому, кто лязгает затвором фотоаппарата, торопливо вертит головой: «Налево — мост, направо — мост».

Турист, ощущая себя триумфатором, гонится за числом и весомостью впечатлений, обожает старину — руины, замки, старинное оружие, старинную утварь, старинный фарфор, старинные полотна. Его нетерпеливое «покажите» звучит как «заверните».

Семь лет назад мне встретилась в Освенциме туристская семья из Дании. На круглом животе папы и впалом мамы болталось такое количество кино- и фотоаппаратов, что впору развернуть выставку современной оптики. Румяная, упитанная дочка лет тринадцати сосала конфеты. Одной хватало на один барак. Новый барак — новый леденец за щеку...

Позвонила приятельница-варшавянка. Я знал ее еще хабаровчанкой, аспиранткой Московского университета; вышла замуж за аспиранта-поляка и стала варшавянкой. Давнее знакомство давало ей право по своему усмотрению приобщать меня к польской жизни.

— Заезжаю через полчаса. Едем на водочку. Тебе будет любопытненько. Очаровательное общество... Не перечь,

поедешь как миленький. Иезус-Мария! Побрейся. Да, да, второй раз за день... Не просто дом — вилла...

В «просто домах» я уже бывал. Приобщался к торжественной праздничности воскресного обеда — чтобы в сборе вся семья, цветы на столе, мужчины при галстуках. Перелистывал тяжелые страницы семейных альбомов, где прадед в черном сюртуке и юная прабабка в подвечной фате, и — швагер¹, еще швагер, еще... Военные мундиры Австро-Венгрии, России, скошенные конфедератки. Открытые гробы с восковыми профилями. Катафалки с кистями до земли.

Поколения, пережившие разделы, восстания, войны, нашествия, упрямо хранили родовую память. Не забывали имена и могилы. В годы оккупации, как святыню, таили эти альбомы в массивных переплетах, старые снимки, наклеенные на прочный, как железо, серый картон.

И я — гость, пришлый — трепетно переворачивал тяжелые страницы, вглядывался в гладкие и морщинистые, надменные и простодушные, улыбающиеся и насупленные, застывшие перед аппаратом лица людей, которых давно уже нет, но чьи имена, блюда традицию, носят сидящие сейчас за воскресным столом.

Я смотрю домашние библиотеки, радуясь польскому Пушкину, Гоголю, Блоку, Маяковскому, альбому Серова, Врубеля, Васнецова.

Оставаясь пришлым, я не чувствовал себя чужим, подаваясь приманчивой власти не свойственного мне уклада. Старательно затягивал галстук, на углу Пулавской и Раковецкой (по воскресеньям открыты лишь цветочные магазины) покупал фрезии.

Но то, повторяю, «просто дома»; теперь — вилла.

В столовой — полумрак, свечи в бра, приглушенный магнитофон. Хозяйка с раскрашенным подносом медленно обходит гостей, на подносе крошечные бутербродики — канапки, нужно преодолеть робость, чтобы проглотить творение высокого искусства. На низком, изысканно грубо сколоченном столе водка разных сортов, названий, подданств. У нас при таком оснащении давно бы пели песни. В комнате с зашторенными окнами журчала под сурдинку беседа. Репетиции, распределение ролей, премьеры, вводы. Большинство собравшихся — люди театра.

Я старался следить за общим разговором. Удавалось

¹ Швагер — свояк.

плохо. Ко мне подсел один из гостей — режиссер. Фамилию, когда познакомились, не разобрал, звать — Анджей. Полноватый, но подвижен. Румяное круглое лицо, баки до подбородка.

— Как получился на Таганке «Гамлет»?

Без предисловий, будто мы с ним не первый час, о московских театрах.

— Принц в черном трико?

Подвинул торшер, дернул шнурок. На коленях большой блокнот. Слушал и рисовал. Быстро, броско. Рука, сжимающая рапиру, рыцарская перчатка, череп в грубых руках могильщика, «бедный Йорик» в тонких пальцах Гамлета.

Схватывал на лету, кивал, прежде чем я успевал кончить мысль.

— Простите, терзаю, как на допросе. Словно вы прикончили Полония... Бог с ним, с Полонием, Гамлетом. Какие заботы привели в Речь Посполиту?

Я кратенько о Саноке. Он слушал, утонув в низком кресле, закинув ногу на ногу, продолжая делать наброски. Солдат, плывущий по реке, оружие ведет огонь, танк с крестом на башне...

— Пробуете связать старые нити. Те, кто спасал, забыл о спасенных, спасенные — о спасителях.

Карандаш постукивает по блокноту.

— Память — штука несовершенная. Давно уж очень было, ох как давно... Слишком много произошло после... Плюсквамперфектум...

Такая же интонация, как у Вали Хохловой. Сколько раз еще услышу: «Давно, далеко!»

Анджей сам себя перебил:

— А «Гамлет» недавно?.. Ну да, Шекспир — вечное. Эпизод в Саноке имеет отношение к вечности?.. Что-то все-таки в этой истории есть. Но, слово чести, не уловлю что... Бывает на репетиции: чувствуешь, а назвать не можешь, показать не умеешь...

В его рассуждениях я тоже что-то улавливал. Правда, затруднялся сформулировать.

Нити между людьми.

Если порваны, не мне соединять. Непосильно. Хоть и заманчиво. Прямо на обложку, на кинопленку: «Встреча спустя 28 лет».

Нет ли линий, нитей — пусть нефотогеничных, — которые связывают нас? Между собой и с прошлым. Невзирая

на годы, километры, государственные границы, скорости, на примелькавшееся словечко XX столетия — «некоммуникабельность».

Из другого конца комнаты доносился голос моей знакомой. Она лопотала по-польски, закатывала округлившись глаза, вздымала к потолку коротенькие руки, звала в свидетели Иисуса, на худой конец — Марию.

— О чем она?

— Платья, — грозным шепотом ответил Анджей. — Платья, мебель, автомобили, и тэ дэ и тэ пэ... Для меня, — без видимой связи продолжал он, — самое сложное — во-гнать, нет, вживать — можно сказать? — актера в роль. Чтоб не как автомат на пятом шагу от кулисы выпалил: «Здравствуйте!» Вживаясь, однако, легко перехлестнуть. Вместо досады — гнев, вместо огорчения — истерика... Человек в чужой стране нередко тоже играет роль. Чаще всего безотчетно. То — как это по-русски — «свой в доску»? Или, наоборот, — стопроцентный иностранец. Ну и лишку берет. Режиссера нет, придержать некому...

Предостерегает меня, что ли? Вступается за хабаровскую варшавянку? Я скопился на Анджея. Он, как ни в чем не бывало, продолжал рисовать. Польский «фиат», холодильник, стол с посудой, платяной шкаф с распахнутыми дверцами.

Он глянул на часы, сунул блокнот в папку. Упершись в подлокотники, поднялся.

— Не собираетесь?

Я приблизился к приятельнице, наклонился:

— Ухожу. Как знаешь.

Она прошипела:

— Ты что! У них не принято по-английски.

Улица обдала порывистым ветром с Вислы. Анджей придержал берет.

— У Любимова в «Гамлете» занавес сплетен из толстых веревок? Поддается всякому толкованию. Перепутанные нити человеческих судеб. Или паутина...

На площади мы расстались.

— Гей! — крикнул режиссер, прощально махнув рукой. Он спешил к концу спектакля в театр.

Я недолго ждал такси. Шофер распахнул дверцу.

— На Мокотов? Проше.

Табличка с просьбой не курить.

О, не следует понимать буквально. Пан желает? Проше. Не курит? Прекрасно. Пан не возражает? — он сам закурит.

Когда приехали, таксист включил верхнюю лампочку. Я увидел жилистые руки, покоившиеся на руле. Сквозь темный пушок вытатуированный пятизначный номер.

Откуда нам было знать, что этот скромный, провинциальный городок (на столбе при въезде черные литеры по желтому — «Аушвиц») — и есть Освенцим!

Навстречу метнулись две девушки, две Наталки-Полтавки, коротко стриженные, январским днем в легких платьицах немецкого ситца. Они бросались к одному, другому, смеялись, всех называли «ридными», «братиками». Пытались втолковать насчет каких-то лагерей, печей.

Нам недосуг, нам велено — вперед. Девчата настаивают, тянут за руки. Гороховцев решает: ладно!

Мы подходим к высоким воротам с готической вязью «Arbeit macht frei», нас обгоняют машины с красным крестом на бортах, из «виллисов» выскакивают майоры и капитаны, похоже, корреспонденты. Санитары легко несут на носилках тела в полосатых пижамах. Иные подают признаки жизни, другие лежат неподвижно, закрыв глаза. Пронесет заросшего старика, он бормочет по-французски. Здоровенный казах-санитар уверенно твердит:

— Жить будешь. Теперь будешь.

С носилок свешивается тонкая, бесплотная рука. На ней татуировка: пятизначный номер.

Это было в сорок пятом.

В шестьдесят пятом в краковской гостинице я видел шведку. На сцене так изображают миллионерш: переливающееся платье до пят, украшения, золотой медальон на груди, бриллианты в ушах и пальцах. Смело обнаженные руки. И вдруг на левой — лагерный номер.

И у польки-администратора на смуглой руке вытатуирована шестизначная цифра.

Я сидел в углу, в маленьком холле, следил за ними. Мне думалось, они опознают друг друга, что-то должно между ними произойти.

Ничего.

Шведка шествовала, не замечая администраторской стойки, машинально кивнула. Полька поклонилась с отработанной вежливостью...

Сейчас, зимой семьдесят второго, я коротаю вечер в

маленьком кафе неподалеку от Аллей Уяздовских. В стакане полощется прозрачный пакетик с чаем, рядом блокнот, прихваченный еще из Москвы. На обложке — космический корабль, звездное небо.

Кроме меня в зальце две «старшие пани». Именно так: «старшие пани», а не старухи. Хотя каждой за семьдесят. Продуманно одеты, тщательно причесаны. Обе в очках, обе затягиваются длинными сигаретами. Перед одной — высокий стакан с фруктовым соком, перед другой — такой же стакан с бело-розовым коктейлем: кефир и малиновое варенье.

На стене под невысоким потолком — стихи. По складам прочитав, удовлетворенно перевожу про себя: «Что бы то была за дыра, если б не архитектура». («Дзюра» законно рифмуется с «архитектура». Размер выдержан.) Никакой архитектуры нет и в помине. Но от дурашливых стихов, круглых под цветными скатерками столиков, от «старших пани» веет домашним уютом. Непривычная, но почему-то милая мне обстановка. Непривычность, которая не удаляет, а, напротив, приближает к незнакомой жизни.

Пани поглощены чем-то своим. В их беседе участвует и гардеробщик. Он перегнулся через стойку, весь — внимание и изредка вставляет негромкое словечко.

Разговор понять труднее, чем бесхитростные вирши. Да и неудобно очень уж прислушиваться.

Прежде (когда «прежде»?) они, трое, жили в Повисле (район на висленском берегу) в одном доме либо по соседству. Теперь этого дома (домов?) нет. (Бомбежка ли, пожар, снос?) Обе пани потеряли мужей (на войне ли, в лагерях, своей смертью?). Они же, трое, живы, хвала богу, и не забывают друг друга. У гардеробщика внучка в университете (вроде бы Краковском), у пани с коктейлем сын — инженер в Новой Гуте...

Нигде с такой силой, так остро не ощущаешь преемственность жизни, как в Польше...

В кафе слабо подрагивает пол, доносится отрывистый перестук отбойных молотков. Неподалеку прокладывают Лазенковскую трассу.

Передо мной блокнот с космическим кораблем на обложке и выписанной еще в московской библиотеке цитатой: «Варшава будет гладко обрита».

Это изрек Гитлер в августе сорок четвертого, когда поднялось Варшавское восстание...

Перепрыгивая через рытвины, я иду вдоль будущей

трассы, мимо старых и новых домов, мимо светящейся в ночи многоэтажной громады студенческого общежития на улице Варыньского. Несмотря на поздний час, хлопают оправленные в металл стеклянные двери.

«Варшава будет гладко обрита...»

Страна сквозь ажурные башни готики, утреннюю дымку над мазурским лесом, сквозь переплетение лыжных трасс на склонах Бескид... А не угодно — сквозь лес татуированных рук, дым лагерных печей?

История по книгам с золотым обрезом, туристским путеводителям, вельможным в кружевах красавицам Вавеля, стертых плитам варшавского Старого Мясца. Не угодно ли по синим пяти- и шестизначным цифрам?

Гитлер разъяснил свое изречение насчет гладко обритой Варшавы. От города не останется и следа. Но железнодорожный узел сохранится в неприкосновенности. Пересечение железных дорог в чистом поле на берегу Вислы.

Он всегда придавал большое значение коммуникациям. С их учетом размещались и лагеря смерти. (Чтоб обеспечить удобный подвоз.) Идеальный пример тому — разверните карту — Освенцим.

О пани Терезе я был наслышан еще в прошлый приезд. Профессор, специалист по славянской филологии и русской литературе XIX века.

У пани Терезы тоже мерцали свечи, медленно крутились магнитофонные бобины. Гости, поддерживая за донышко коньячные рюмки, слонялись по комнатам.

Пани профессор, маленькая, быстрая, в брюках из эластика и спортивной безрукавке, занималась иностранцем. Иностранцем был я.

Она свободно изъяснялась по-русски, иногда лишь не могла совладать с ударением: «Это смéшно».

Включили верхний свет, и стены озарились апокалиптическими кошмарами: города, летящие в бездны, распятые тела с ненатурально вытянутыми шеями, женщины с забитыми гвоздями половыми органами, кабаллистические письма, череп на темном металле...

Пани профессор, по-своему истолковав мое затянувшееся молчание, вежливо улыбнулась, погасила люстру.

— Вы, я слышала, собираетесь в Санок. Вам будет интересно побеседовать с автором этих полотен Здиславом Бексиньским. Он там живет. Очаровательный, остроумнейший человек...

«Хороши шуточки»,— подумал я и, возвращаясь в лоно светской беседы, заверил, что буду счастлив встретиться с художником Бексиньским.

— Вас интересуют иконы? Иностранные туристы отправляются в Санок ради коллекции русинских икон.

— По горло сыт московским иконным ажиотажем.

Я не собирался касаться Санока, августа сорок четвертого года, войны. Пятизначный номер на обнаженной руке пани профессора не был для меня неожиданным — слышал о ее освенцимском прошлом, участии в антигитлеровском подполье. На этот раз не номер, наручные часы не давали мне покоя. Не сами часы, а металлическая решетка, прикрывавшая циферблат. Такие решеточки носили у нас до войны, когда еще не изготавливались небьющиеся стекла.

Пани Тереза перехватила мой взгляд.

— Да, русская сетка. Ей много лет.

— Не меньше тридцати.

— Не меньше,— согласилась пани, отрезая путь к дальнейшим расспросам.

Мы беседовали о том о сем. На журнальном столике оплывали толстые желтые свечи. Из соседней комнаты доносились битлы. Сменили кассету — пошел Высоцкий.

В конце концов сетка поверх циферблата может быть чудачеством либо сувениром.

— Это часы моего мужа. Он погиб.

Я ни о чем не спрашивал. Она добавила:

— В сорок первом. На аэродроме Внуково. Тадеуша должны были бросить с парашютом над Варшавой.

— Вашего мужа звали Тадеуш?

— Тадеуш, Тадек. Я с дочерью в начале войны попала в оккупацию, жила у родителей Тадеуша. Не самое безопасное место. Другого не было...

— Можно глянуть?

Она расстегнула нейлоновую ленточку, протянула часы. Я приподнял сетку, увидел черный циферблат, белые цифры и под римским XII фабричный знак «Омеги».

Высоцкий кончился. За стеклянной дверью спорили, какую пустишь пленку.

Меня колотит дрожь — не унять. Нагадай кто-нибудь, посмеялся бы, махнул рукой.

Вам сейчас станет не по себе, пани Тереза. Неожиданный удар — самый страшный.

Охватывает жалость к этой едва знакомой, до боли близкой вдруг женщине.

Но не смею скрыть.

— Пани Тереза, — я говорил тихо, почти шепотом, — пани Тереза, это мои часы.

— Пшепрашам? Извините?

— Эти часы — мои.

«ОМЕГА» С ЧЕРНЫМ ЦИФЕРБЛАТОМ

Непредвиденный спуск в глубины. Сносит течением. Миновать слой, следующий, еще. Пробриться к одной судьбе, затерянной среди десятков.

Моя тетка была переводчицей, переводила современных украинских писателей и польскую классику. В ее дом (узкая комната в коммуналке в Кривоколенном переулке; чтобы попасть, надо миновать ванную, если ванной пользуются, занавеска сбоку задернута, слышен плеск воды) наведывались поляки. Особенно после тридцать девятого года. Там я и познакомился с паном Тадеушем.

— Так ест. Подобно герою Мицкевича. Легко запомнить.

Русский Тадеуш изучал в Павяке и Березе Картузской. Говорил неплохо, но «л» у него звучало как «в», и он не мог постичь, почему глагол «запомнить» означает «забыть».

Сын Воли, пролетарского района Варшавы, он воевал в батальоне Домбровского в Испании, в тридцать девятом добровольно вступил в польскую армию, защищал столицу. Раненный, с женой и только что родившейся дочкой ушел на восток. В Западной Белоруссии, присоединившейся к Советскому Союзу, занял видный пост. Часто наезжал в Москву на совещания, слеты, учился на курсах на Миусской площади.

С моей теткой его свела страсть к книгам. Тадеуш знал советскую литературу. К моему наивному удивлению, она во множестве издавалась в довоенной Польше, была популярна. О прочитанном судил категорично и непривычно. О непонравившемся романе резал: «Мелкобуржуазно».

Или: «Автор — полуинтеллигент, не терплю». Еще беспощаднее: «Этот писатель — лавочник». Зачитывался «Тихим Доном», тогда вышла четвертая книга.

В Москве Тадеушу не хватало изданий на родном языке. У тетки же целые полки: Мицкевич, Словацкий, Красиньский, Выспяньский, Сенкевич, Лесьмян, Тувим, Каспрович, Конопницкая, Ожешко, Крашевский, Норвид, Прус, Тетмайер... Кроме того, узкие каталожные ящички, в них картонные карточки, на каждой — пословица. Годы отданы коллекционированию русских пословиц и поговорок.

Тадеуш заглянул в ящичек — и погиб. Часами перебирал картонки, не уставая потрясаться, восхищаться.

— Пани Хелена! — восклицал он. — То ест чудо: «Пост — не мост — можно и объехать!»

Иногда терялся.

— Какой смысл, пани Хелена: «Не в коня корм»? А то: «Умирает не старый, а поспелый»? Не понимаю: «Славны бубны за горами».

Заливался смехом:

— «Солдату три деньги в день — куда хошь, туда и день».

Увлечшись, сам стал приносить в Кривоколенный пословицы, частушки.

Бывало, тетка делала ему внушения, журила:

— Это непристойно, Тадеуш, это уличные куплеты.

— Для чего непристойно?

— Не «для чего», а «почему», — наставительно поправляла тетка.

— По-моему, смѣшно. Непристойно — то ханжество. Ханжество — самая великая непристойность.

Сокрушался: в Москве не такой тотализатор, как в Варшаве.

— Вы играли? — робко любопытствовал я тогда.

— О-ля-ля! Каждое воскресенье. При условии, что не сидел в тюрьме.

О варшавском ипподроме, скачках, лошадях рассказывал подолгу, подробно. Вспоминал слепого старика, который ходил на бега слушать цокот копыт.

Коммунист, подпольщик — и тотализатор... Вообще ему ощутимо доставало степенности. Носил светлый пиджак, клетчатые брюки, ботинки на толстом каучуке. Подбрасывал папиросу и ловил ртом мундштук.

Я ему приглянулся, казалось мне, тем, что знал московские проходные дворы.

От тетки раньше часа-двух ночи не уходили. Трамваи уже в парках. Я повел Тадеуша через Армянский, Маросейку, переулками, проходными дворами.

— Вы свободны в воскресенье? Устроим поход по дворам,— попросил Тадеуш.

После похода мы, с гудящими ногами, сидели под тентом в парке ЦДКА напротив гипсового пограничника в тулупе с овчаркой и ели мороженое. Тадеуш рассуждал о принципиальном отличии дворов от улиц.

— По улицам гуляют нарядившись или бегут на работу. Во дворе живут нормально. Женщины развешивают белье, в Варшаве — перины, старьевщики собирают тряпки, мужчины рассуждают о политике, играют в шахматы, у вас даже пьют чай. Улица — это лишь первое впечатление о городе...

Началась война, я попал в мотострелковую бригаду, где готовили разведчиков и подрывников. Кого, собственно, из нас готовят и для чего, мы сообразили не сразу. Мне помог Тадеуш.

Помимо батальонов и отрядов, укомплектованных московскими студентами, рабочими и спортсменами, в нее входил интернациональный батальон: испанцы, французы, немцы, чехи, поляки, венгры, румыны.

Я нес из столовой котелок (кто-то в отряде заболел) и столкнулся с Тадеушем. Он разговаривал по-польски с человеком в красноармейской гимнастерке.

— Пан Тадеуш!

— Честь! Вы тут?

Он взял меня под руку, под другую поляка и повел в сторону. Сели на бревно, закурили. Тадеуш не подбросил папиросу. Он сидел, накинув на плечи светлый пиджак. Затягивался, постукивал каучуковой подошвой о землю.

— Пока что все плохо. Тереза с дочкой — там. Немецкая интервенция по всему фронту.

Он заговорил с приятелем по-польски, быстро, непривычно нервозно, оборачиваясь ко мне, извинялся.

Мы проводили его к проходной.

— Может получится,— задумчиво произнес Тадеуш,— вы попадете в Польшу раньше меня.

— Правдоподобно,— поддержал поляк.

— Каким образом? — удивился я.

Тадеуш присвистнул и очертил в воздухе полукруг.

— Учили прыгать с парашютом?

— Нет.

— Научат,— заверил он,— не самая сложная наука.

В последних числах сентября я пришел к тетке прощаться — ей предстояло эвакуироваться, наш отряд готовился к заданию. В Кривоколенном застал Тадеуша. На нем обычный пиджак, только вместо ботинок из-под клетчатых брюк — яловые сапоги, брючный ремень оттягивала кобура ПТ. Вопреки обыкновению, он беседовал с теткой по-польски. Когда мы прощались, обратился к ней не как всегда «пани Хелена», а «Елена Мироновна». Та заплакала:

— Солдатики вы мои...

Он поцеловал ей руку, они расцеловались.

Мы с Тадеушем вышли к Кировским воротам.

— Имеете свободный час?

— Часа два.

— Боже коханий, «час» — то по-польски — время.

— Мне бы тоже пора запомнить.

— Запомнить, но не запамätовать.

Сретенские ворота, Трубная площадь, Петровские ворота...

Когда поднимались бульваром к Петровским, над нашими головами проплыл немецкий самолет. Запросто, неспешно, среди бела дня. В сторону Пушкинской площади, Кропоткинских ворот.

Впечаталось на всю жизнь: низкое осеннее небо, еще ниже в московском небе немецкий разведчик...

Где-то высоко сверхскоростные лайнеры распарывают до белизны безмятежную синь. Но летит над московскими крышами сорок первого разведчик с ясно различимыми черными крестами на коротких плоскостях.

Тадеуш и я долго глядели ему вслед, немецкому моноплану над Петровскими воротами. Пройдя Пушкинскую, присели на скамейку у памятника. Пьедестал был обложен мешками с песком.

— Сколько в нашем распоряжении? — Тадек нагнул к моей руке. — Как разглядеть за такой решеткой?

— Дело привычки.

— У меня тоже «Омега», тоже черная... Послушайте, давайте обменяемся... на счастье. У испанцев такой обычай. Живы будем...

Возле меня горбится, онемев, пожилая женщина. Прежде чем к ней вернуться силы и слова, передо мной повторно «прокручивается» собственный рассказ, обрастая

детальями, которые ей ни к чему... Два звонка — к нам. В дверях усталый после операционного дня отец в затасканной толстовке. Мама, отодвинув гору ученических тетрадей, поправляя пучок, спешит на кухню, накачивает примус. Вместе с отцом появился мой приятель и лестничный сосед Валька Соловьев. Сообщнически подмигивая, выманивает меня с кухни, где сейчас разогревают обед, готовят ужин, кипятят чай шесть московских коммунальных семейств. А из комнаты Блинковых, как вчера и завтра,— патефон: «У самовара я и моя Маша». Нам с Валькой сегодня ехать (трамвай «Аннушка») до Мясницких ворот, переименованных в Кировские. У тетки в Кривоколенном обещано чтение вслух — Пушкин и Мицкевич... Нет в живых ни родителей моих, ни тетки, «пани Хелены», в сорок первом пропал без вести Валька Соловей...

Тадеуш погиб через несколько дней. В конце сентября или самых первых числах октября. При взлете «дуглас» потерпел аварию. Часы передал после войны товарищ...

Пани Тереза снова молчит. Потом:

- Откуда она у вас, черная «Омега»?
- Отец купил. В комиссионке на Сретенке.
- А его часы, Тадека?

Увольте. Не бывать тому. Ни вам, ни мне не осилить сейчас второй спуск. Вам он и не обязателен. Хватит.

— Нет этих часов. Давным-давно нет.

В неверном свете свечей на стене темнеют видения, рожденные мрачно растревоженной фантазией художника.

В соседней комнате тихо. Я поднялся с низкой тахты, открыл застекленную дверь. Пусто. Гости разошлись не попрощавшись. По-английски, что ли?

Спустя три дня я уехал в Санок.

ПЕРВЫЙ ВЕЧЕР

Как добиться, чтобы не ты шел по стране, а страна входила в тебя? Чтобы история оседала в тебе рассветно-туманным перелеском, фабричной трубой свежей кладки, костелом, с готической истовостью устремившимся в небо, темной стеной, на которой веером разлетаются царапины от

давнего снаряда. Я не о древней истории, лишь в границах собственной судьбы, когда вчерашний день, уступая сегодняшнему, все же остается с тобой.

Невелика доблесть, отбросив календарные листки на тридцать лет назад и предавшись реставрации, вообразить НП на костеле, сделать трубу ориентиром, в придорожной роще сосредоточить пехоту. Премудрости этой меня после войны учили в военной академии. Но как соединить санокскую магистраль — еще несколько часов, и я ступлю на нее, — как соединить 4 августа 1944 года с девушкой в капюшоне и джинсах, что февральским днем семьдесят второго года спешит по бульжной мостовой Опатова? Существуют ли они, такие нити, связи?

Цепляюсь за всякую соломинку. В Опатове врач спрашивает, не слышал ли московский товарищ о капитане Товаркинадзе. Жаль, очень жаль. Капитан Товаркинадзе разминировал Сандомир. Сапер — известно ли московскому товарищу? — ошибается один раз. Капитан Товаркинадзе был ранен, искалечен, ослеп. Но как держался!.. А слышал ли товарищ из Москвы о полковнике Скопенко? Полковник увидел с наблюдательного пункта Сандомир и, завороженный его красотой, приказал артиллерии стрелять, не попадая в соборы, сберечь небывалое великолепие. Город настолько пленил полковника, что он завещал: погибну, похороните здесь. Он пал на пути к Берлину и похоронен в Сандомире, где есть улица Скопенко.

В Опатове (костел XVI века, одинокая старуха молится, распростертая на каменном полу) нас задержала дорожная непредвиденность, — колеса «Волги» вдруг почувствовали независимость от руля. Пан Влодек поставил их на место. Спасибо пану Влодеку.

Опатов нам обошелся почти в два часа. Мне не терпелось в Санок, и Сандомир мы проскочили не останавливаясь. Я думал: все, что не Санок 4 августа сорок четвертого, — потом, во вторую очередь...

Вернувшись в Москву, перелистывая блокнот, наткнулся на фамилии Скопенко и Товаркинадзе. Отправился в библиотеку. Среди опубликованного попались документы о командире 1180-го стрелкового полка Василии Федоровиче Скопенко: представление к званию Героя Советского Союза (он удостоился его за бои на Сандомирском плацдарме); записка, найденная после смерти: «Если буду убит вражеской пулей где-нибудь на фронте, прошу товарищей по

оружию, чтобы мое тело доставили и похоронили среди моих боевых друзей в Сандомире»; листок из школьной хроники (Скопенко, будучи первым комендантом города, начал с того, что добился открытия школ): «Похороны полковника Скопенко. Эта минута навсегда останется в памяти жителей города, для которого чужой, незнакомый человек стал дорогим и близким»; протокол чрезвычайного заседания городской народной рады от 2. II 1945 года: «Сегодня на Старый груд доставлено тело героя-солдата полковника Василия Федоровича Скопенко...

Постановляем:

1. Улицу Опатовскую переименовать в улицу имени полковника Василия Федоровича Скопенко.

2. Похоронить тело героя в городе Сандомире возле ратуши.

3. На могиле установить памятник вечной славы герою».

Ярослав Ивашкевич, сам коренной сандомирец, писал о Василии Скопенко:

«Когда он вышел к Висле, то был изумлен красотой города. Знаете, как прекрасен наш Сандомир издали, раскинувшийся на пригорке, подобно короне. В летнем солнце все постройки города, его башни сверкали, как драгоценные камни. Потрясенный этим видом, полковник сказал: «Это слишком прекрасный город, чтоб его разрушать. Наши солдаты сумеют и без этого выбить немцев с того берега». Действительно, он так организовал операцию, окружив город с двух сторон, что Сандомир при взятии левого берега не пострадал»¹.

О капитане Товардкинадзе никаких сведений обнаружить не удалось.

Взяв от Сандомира круто на юг, пан Влодек прибавил газу. Не сводя глаз со струящегося асфальта, ловил по радио шлягеры, в такт похлопывал ладонью по рулю.

Когда шлягеры кончаются, пан Влодек выключает приемник и рассказывает об отце. Отец участвовал в подполье, в АК (двадцатидвухлетний варшавянин уверенно разбирается в сложном клубке партизанских и подпольных организаций), состоял в группе, которая помогала восставшему гетто, по

¹ При штурме Сандомира полк Скопенко и другие части Советской Армии наступали во взаимодействии с польскими партизанскими отрядами «Береза» и «Локетка».

подземным каналам доставляла оружие, продовольствие. Отец попал в Маутхаузен, затем в Освенцим. У него на руке не один, а два номера. Вначале был тот, который прямоком вел в газовую камеру. Но товарищам удалось вытатуировать другой. Отец остался в живых.

Мы одинаково беспомощно изъясняемся: я — по-польски, пан Влодек — по-русски. Но обоюдными усилиями, со скрипом преодолеваем языковую преграду.

Намучившись с русскими ударениями, пан Влодек крутит рычажок настройки.

— О, вот! Неплохо, правда, «До любви всего один шаг»?

От Варшавы до Санока больше. Выехали в восемь утра, приехали в пять вечера.

Начало смеркаться, и я отправился на кладбище — «Цментаж жолнежей радецких» — в тщетной надежде прочитать могильные надписи. Их не оказалось, и, по зрелом размышлении, стало очевидно: не могло оказаться. Тогда, душным августовским днем, поляки все объяснили нам с Гороховцевым, и мы потащились на окраину, зашли в случайный домик, где напали на сердобольную пани с маленькой дочкой.

Если сейчас отправиться к этой пани, доброй душе?

Нелепая мысль. Даже приблизительно не представляю себе, где искать. Ни имени, ни фамилии. Только дочка — Эва, Эвуня. Негусто.

Вернулся в гостиницу, заглянул в блокнот, нашел рассказ Федора Дмитриевича Ярыгина. Он записан дословно:

«На рассвете 3 августа 1944 года 258-й стрелковый полк, выполняя поставленную задачу, вышел к Сану и искал брод. Командир дивизии генерал Киселев приказал незамедлительно приступить к форсированию. Разведчики встретили в лесу поляка, он присоветовал место. Сперва переправилась на западный берег стрелковая рота и две полковые пушки. Налетело четыре самолета. Бомбили. Мимо. На плацдарм перекинули минометный взвод. Атаки немецких танков. Атаковали трижды или четырежды. Часть полка на западном берегу, часть — на восточном. Самолеты и танки противника затрудняют форсирование. Один немецкий танк подбит. Но вражеское сопротивление не слабеет. Неприятель не отказывается от намерения сбросить нашу пехоту, минометчиков, артиллеристов в реку. Не получилось. Остальные роты преодолели водный рубеж. Танковые атаки прекратились. Разведчики доложили: немцев в городе нет. Тишина, какая наступает после боя. Правда, когда вошли

в Санок, раздались пулеметные и автоматные очереди. Несильные и недолго. В наши руки попали склады с продовольствием и промтоварами. Взяли под охрану...» Все.

Потянуло, не откладывая в долгий ящик, спуститься к месту, где полк Ярыгина форсировал Сан, откуда вступил в город. Не беда, что темно, сориентируюсь. Федор Дмитриевич указал район: северо-восточная окраина Санока.

Залитая светом улица меркнет, спускаясь к берегу. Дорожка теряется в кустарнике. Слева от меня — сады, дома. Судя по небольшим освещенным окнам, скорее деревенского, чем городского типа. Справа Сан. Вечером он величествен, безбрежен. Под ногами шуршит песок. Отмель. Летом, возможно, пляж. Зацепившись за этот прибрежный клочок, пехота, пушкари и минометчики Ярыгина отражали атаки.

Незавидное местечко. Голо. По ним строчили из кустов, с крыш. По улице — сейчас она носит имя Сверчевского — двигались танки, подсыпали огонек во фланг...

На берегу — перевернутые лодки-платформы, хозяйски накрытые толем. Сажусь на одну, поближе к воде. Неподалеку, на такой же перевернутой лодке, прижавшись, парочка. Что я им и что они мне! Между нами — давнее утро, когда берег этот был «плацдармом», Сан — «водной преградой».

Откуда-то появился пес, потерся о ногу. Я погладил мягкую шерсть.

Смотрю на темно, вяло движущуюся реку. Пара, обнявшись, возвращается в город.

Собачонка после нескольких неудачных попыток вскарабкалась на лодку и, успокоившись, замерла подле меня.

ВЕРСИИ

Больница как стояла на боковой улочке, в стороне от центральной, так и стоит. Только вся в лесах, с пустыми еще новыми оконными переплетами, грудями кирпича, строительного мусора во дворе. Ремонт. Больные — в другом здании, в другом конце города. У Санока сейчас добротная оснащенная больница, множество отделений — не чета трехэтажному дому в строительных лесах.

Однако раненых скрывали, спасали в трехэтажном. Отсюда, как от печки, я надеялся начинать. Придется отправляться в новую больницу, искать среди десятков неизвестных людей.

На белой крахмальной наколке Марии Корнецкой коричневая лента — акушерка. Вступает в разговор охотно, с радостным возбуждением, улыбаясь, всплескивая руками, с трудом заставляя себя усидеть на стуле.

Как же, как же, все помнит, все!

Я показал пани Корнецкой фотографию Вали Каплевой. Сразу отозвалась:

— Она, она самая.

Мария Корнецкая рассказывает:

— Когда началась паник семерых советских раненых спрятали в подвале, двух в котельной, один укрылся в морге.

В каком подвале? Не согласится ли пани подъехать к старой больнице? Не будет ли столь любезна? Не возражает ли врач?

Входя в здание новой больницы, я побаивался безразличия людей, которым и без того хватает забот, боялся официальной вежливости. Напрасные опасения.

Врач не только не возражает, как и вся администрация, он полон желания помочь.

Пани Корнецкая набрасывает пальто, застегивает лисий воротник — нет, лучше расстегнуться, — нетерпеливо направляется к машине.

Во дворе старой больницы выясняется: медсестра Корнецкая имела в виду не подвал, а бункер неподалеку, метрах в сорока. Тот самый, куда мы заглядывали с Гороховцевым, шли по доскам, брошенным на мокрый пол. Это, разумеется, ни о чем не свидетельствует, ко времени нашего прихода раненых успели уже перенести в больницу.

Так, именно так и было, настаивает Мария Корнецкая. Она рассказывает:

— Немцы с автоматами подошли к бункеру. Сестра-законница (так именуют монахинь, «Закон» — по-польски монашеский устав) заявила, что советских нет. Сестра владела немецким, и солдаты ей поверили, опустили автоматы. Однако в больнице обнаружили нескольких раненых и расстреляли.

Стоп! Никто из наших медсестер — ни Каплева, оставшаяся в больнице, ни Витинская с Аверьяновой, спрятавшиеся неподалеку в польских семьях, не упоминали о расстреле.

Пани Корнецкая своими глазами видела, как расстреливали? Слышала выстрелы, очереди, залпы?

Нет, чей-то, не помнит, чей именно, рассказ. Ручаться не может.

Зато пани Корнецкая наверняка знает:

Оставались три советские медсестры. Одна скрывалась в больнице, та, что на фотографии, другая в доме железнодорожника, где находилась третья — не помнит.

Но помнит: среди раненых был капитан.

Я киваю, пани Корнецкая подхватывает:

— Капитан взял за руку, воскликнул: «Маруся! Я тебя не забуду, поедем со мной в Россию, в Сибирь!..»

Стоп! Смущает меня капитан. Театральная сцена. Но не обидеть бы пани Корнецкую. Забыв о капитане, она быстро идет по двору: тут стояли пушки...

— С короткими стволами или длинными?

— Длинными. На них сушили белье. А тут — «катюши»...

Не было у Федора Дмитриевича Ярыгина длинноствольных дивизионных орудий, лишь короткоствольные, полковые. Они занимали огневые позиции не возле больницы, а на юго-западной окраине города. «Катюшами» в тот день не пахло. Откуда стираное белье, когда медсанбат едва успел развернуться, да и то не полностью?

Мария Корнецкая продолжает все так же горячо, возбужденно. С подробностями. Как передевали раненых, как кормили сухарями. (Действительно передевали, действительно кормили сухарями.) Но где граница между безусловным и неволью к нему прилепившимся, наслоившимся? Между фактом и почти неизбежной фантазией? Где кончается подлинная правда и с какого момента наступает игра воображения?

Кто отважится осудить, если эта фантазия бескорыстна? Кто, наконец, гарантирован от такой игры, размывающей границы факта?

— Был ли в те дни вместе с ранеными польский врач?

— Был,— неизменно уверена Мария Корнецкая.

Но едва прошу назвать имя, останавливается. Впервые останавливается. Потом медленно:

— Доктор Киляр. Мариан Киляр.

Вечером, когда я перечитывал рассказ Марии Корнецкой, подумалось: могли быть и длинноствольные зисовские пушки, и «катюши», и даже офицер с четырьмя звездочками.

Только позже, в середине, во второй половине августа, сентябре. В санокской больнице обосновался полевой госпиталь, в нем работал и советский персонал и польский. Город в течение августа подвергался обстрелу, бомбежке. У людей сохранилось ощущение опасности и после вторичного освобождения Санока. Вероятно, не раз приходилось уносить раненых в бункер, в подвалы.

Меня интересуют дни, непосредственно следовавшие за 4 августа. В памяти медсестры Марии Корнецкой они слились с остальными днями и ночами, проведенными в палатах, операционной, коридорах, заставленных больничными койками.

Адам Козловский был санитаром в сорок четвертом году, остался им поныне. Помнит ли? Немногое, совсем немногое.

Сколько советских раненых? Человек двадцать или чуть больше. Один прятался в бункере. Немцы намеревались его застрелить, но монашенка не дала. В морге укрывалось пятеро. Немцы ходили по больнице: «Есть «советы»?» Им отвечали: «Нет, вег». Особенно не допытывались. Никого, помнится, не убили. Держались в городе дней пять-шесть.

Из польских врачей оставался Мариан Киляр. На сей счет Адам Козловский уверен. Он слышал, доктор Киляр жив-здор, служит в Войске Польском...

Коллега Козловского, санитар Стефан Марушак, подтвердил: когда немцы вторично захватили город, доктор Киляр лечил советских раненых. Сколько дней это продолжалось? Не помнит, виновато улыбается:

— Проше пана, то было так давно...

Как будто в доме, неподалеку от больницы, скрывалась советская медсестра. Ее переодели в штатское.

Стефану Марушаку неизвестно, чтобы немцы в те дни убивали раненых.

Саломея Зелиньская в санокской больнице с 1942 года. Во время войны — не сестрой, как сейчас, а санитаркой.

Она смущается, краснеет, каждую минуту проверяет, все ли пуговицы на халате застегнуты.

Мне тоже становится немного не по себе. Да и боязно — пан Метек, переводчик, слишком уж напористо выспрашива-

ет, больно активно. При таком нажиме в самом вопросе угадывается ответ, намек на него.

Однако лани Зелинская, хоть и тушует, достаточно владеет собой. Говорит лишь то, в чем уверена. Вопрос — прямой ответ, без отклонений. О себе — будто из-под палки.

Ухаживала за советскими ранеными. Раз раненые, надо помогать.

Когда на улицу ворвались немцы, шла операция. Начал советский хирург, кончил польский. Доктор Киляр. Сейчас он вроде бы профессор.

В бункере прятали одного раненого... нет, не раненого. Солдат не успел убежать и скрывался от немцев.

В больнице оставалась советская медсестра. Невысокая ростом.

Достаю фотографию Вали Каплевой. Саломея Зелинская внимательно разглядывает и возвращает обратно: — Возможно, она. Не знаю.

Рассказываю со слов Каплевой, как та, заметив в небе советский истребитель, не выдержала и закричала: «Наш «ястребок!»» Кругом поляки — больные, медсестры, санитары. Все, словно сговорившись, сделали вид, будто ничего не произошло и правила конспирации не нарушены.

— Возможно, — соглашается Саломея Зелинская и после паузы: — Возможно. Меня при этом не было.

Понимала ли, что, ухаживая за советскими ранеными, подвергает себя опасности?

Сестра Зелинская слабо улыбается.

— Доктор Киляр — тот рисковал. Или сестра-законница. Обманула немцев, сказала, в больнице нет советских солдат...

Имя монахини? Сестра Катерина. Где сейчас? Кажется, в монастыре в местечке Ляшки.

Как можно было надеяться на единомыслие, на дружный хор воспоминаний!

У каждого — собственная версия. Не только своя мера участия, но и свое к нему отношение, своя о нем память, свой груз последующих лет.

Я предполагал: один расскажет, второй дополнит, третий дополнит второго. Надо только их найти — первого, второго, третьего.

Однако, если преодолеть неизбежный разноречивый, вышелушить основное, можно считать установленным:

4 августа 1944 года в больнице находилось от 20 до 30 тяжело раненных советских военнослужащих. Они остались на попечении польского персонала, который сохранил им жизнь и после повторного освобождения города передал в полевой госпиталь.

Главная роль принадлежала доктору Мариану Кильяру. Предположительно, он теперь профессор, полковник Войска Польского. Найти бы!

За ранеными ухаживали Саломея Зелиньская, Мария Корнецкая и монахиня сестра Катерина. Ее тоже желательно повидать.

Дозвонились до монастыря в Ляшках (XX век!). Сестра Катерина не подошла к телефону, занята с больными. Приедем — охотно побеседует.

Постепенно и затрудненно проступал август сорок четвертого. Верно: «далеко, давно». Однако люди того времени жили, работали в нынешнем. Я их видел, слышал, величал по имени. Вместе отправлялся туда, в прошлое. Это пробуждало в них чувство запоздалого удовлетворения. В каждом по-своему, но общим было именно сегодняшнее удовлетворение некогда совершенным и тем еще, что совершенное не забыто, не ушло в песок.

Да, ради этого одного стоило вернуться в Санок военной поры!

Но я уже убедился: иногда вторжение ранит, вызывает боль, как случилось с пани Терезой.

Она тоже не шла из ума, ее Тадеуш, история с черной «Омегой». Переплетаясь, окольными, причудливыми путями, все это опять-таки вело в августовский Санок 1944 года.

БУДНИ

У санокской больницы, как у всякой, predetermined круг пятиминуток, обходов, операций, дежурств: тебя радушно принимают, помогают в розысках, — вот телефон, вот, милости просим, свободный кабинет. Жизнь больничная между тем катит своим чередом.

Как-то в кабинет вбежала доктор Кристина Лукомская. С полчаса назад она, спокойная и рассудительная, участвовала в общем разговоре, но постучала сестра, шепнула на ухо. Лукомская поспешно поднялась. Теперь вернулась с не просохшими еще следами крови на крахмальном халате.

Нет, ничего она не вспомнила, не пытается уточнить рассказ сестер и санитарок; доктор Лукомская должна поделиться великой новостью: только что приняла роды. Мальчик.

Санок, Польша, Земля обрела еще одного жителя.
Мир входящему!

Мир.

Я сижу в молочном баре, на углу Сверчевского. Рассматриваю фотографию. Попалась мне в большой пачке — школьная серия для простенького биноклярного аппарата. Найдешь точку, и снимок обретает объемность. Различима щетина на лицах пленных польских солдат, глянец на офицерских сапогах бутылками, отечность под глазами фюрера, принимающего парад на Аллеях Уяздовских.

Генрих Гоффман, лейб-фотограф Гитлера, подготовил для немецких детей эту серию, посвященную польской кампании 1939 года. Пусть с молодых ногтей привыкают к победному величию германской армии, третьей империи, уверуют в исключительность и гений рейхсканцлера, подготовят себя к походам и парадам. На одном из снимков парад в Санок. Перед генерал-майором Блюммом марширует пехотный полк, вернувшийся с фронта. Сентябрь 1939 года.

Генерал в долгополой шинели с темными отворотами, в фуражке с вздернутой тульей застыл на тротуаре. У него не слишком величественная поза, генерал в годах, с брюшком. И у солдат не ахти какой бравый вид, никудышная выправка. (У Гитлера на параде в Варшаве далеко не торжествующее выражение.) Судя по снимкам, фашистской армии нелегко дался польский поход. Но теперь солдаты пройдут перед своим фюрером в Варшаве, перед генералом Блюммом в Санок, отдохнут, приведут себя в порядок, отъедятся, покойно обосновавшись в уютных городках восточной Польши. Германское командование так и будет объяснять концентрацию частей на советской границе: войска выведены на отдых.

Еще в Варшаве, разглядывая снимок, я мечтал найти этот перекресток, двухэтажный дом с аркадами, перед которым дефилировали гитлеровские солдаты, генерал-майор Блюмм принимал парад.

Сейчас я сижу со старой фотографией в молочном баре под аркадами, посматривая в окно, прослеживаю маршрут

немецкого полка. Он шествовал по нынешней улице Сверчевского, сворачивал возле нынешнего бара, принимал равнение направо, тяжелыми солдатскими сапогами трамбовал мостовую перед генералом Блюммом.

Невдомек было тому генералу, до чего зло посмеется над ним история. Вместо мемориальной доски во славу триумфаторов — вывеска молочного бара. И не его, Блюмма, имя украсит главную улицу Санюка, а генерала Кароля Сверчевского — того, что, взяв псевдоним «Вальтер», командовал в Испании антифашистской дивизией, а став снова Сверчевским, возглавил вторую польскую армию, сражавшуюся с гитлеровцами на исходе подло разоженной ими войны...

Мостовая теперь залита асфальтом. Сверкающий красным лаком свеженький «Сан», автобус санюкского производства, поворачивает со Сверчевского. Тормозит как раз там, где тридцать с лишком лет назад красовался генерал Блюмм. Шофер, выпрыгнув из высокой кабины, не испытывая ни малейшего трепета, не подозревая об историческом прошлом перекрестка, толкает тяжелую дверь бара и выбивает чек: двойная порция блинчиков с творогом. «Почему нет молока? Что за молочный бар без молока, проше пани?»

Город живет своей жизнью. В молочном баре пекут блины, в больнице принимают роды, конвейер автобусного завода гонит новые машины.

А художник Здислав Бексиньский пишет свои полотна.

Меня одолевают сомнения — зайти или нет. Любопытно, конечно. Однако очень уж далековата и чем-то не по мне эта живопись. Преодолимо ли расстояние, получится ли разговор? Да и не обидеть бы ненароком.

У дома № 45 по улице Сверчевского, поколебавшись с минуту, нажимаю кнопку звонка.

В тесной мастерской на стене, в тумбочках, дверцах шкафов торчат черные раструбы стереофонических динамиков. На всю катушку диссонансная музыка.

— Не мешает?

— Нисколько. Наоборот.

Не она ли вдохновляет на эти глобальные кошмары, рушащиеся небоскребы, распятые тела, деформированные конечности, неестественно выгнутые шеи?.. Нет. Прежде художник наслаждался классикой, обожал Бетховена, Баха, Чайковского, Вагнера, коллекционировал пленки. И писал такие же картины. Теперь надо побаловать ухо чем-то резким, дисгармоничным. Ничего не жаль за пластинки и записи

новейшей поп-музыки. Картины тоже по принципу диссонанса? Нет. Художник стремится соединить то, что представляется несоединимым: бог и порнография, смерть и половой акт.

— Знаете такое выражение — вселенская смазь?

Бексиньский заливается смехом, он вообще полон юмора, столь контрастирующего с мрачными видениями на стенах.

— А жизнь не парадоксальна? — переходит в наступление художник.

У Бексиньского быстрая реакция, по-мальчишески легко в движениях. Он по-своему и пишет и рассуждает.

— Почему не показать людям ужасы — действительные и вероятные? Не надеюсь все постичь. Так воспринимаю мир. Я не всеобщая трибуна, только своя собственная...

Откровенно, серьезно, почти без рисовки.

Я останавливаюсь перед одной из картин. На переднем плане обнаженная женщина повернула назад голову. Лица не видно, но видно то, что ей открылось: мужская фигура в корчах на кресте.

Глядишь — и мороз по коже.

Этого Бексиньский, наверно, и добивался.

Разве не оправдан ужас новой картины — обнаженной женщины и твой собственный? Разве нет для него причин в век Хиросимы и концлагерей? Почему же мне все-таки это далеко? Особенно далеко здесь, в Саноке?

Не специалист я, не мне судить, давать советы. Есть разное искусство, на разные вкусы. Если пытаюсь разобраться, то лишь для себя.

Не потому ли картины Бексиньского у меня вызывают несогласие, что на них неизменно торжествует ужас? Ужас убитой жизни, рушащегося города, растоптанной мысли, тела под пытками.

Но когда торжествует ужас, страх правит бал, что остается нам, смертным?

Я не в глобальном масштабе, в границах частного эпизода, он разыгрался тут, в Саноке, 4 августа 1944 года.

Победи тогда страх, — и конец, вероятно, нашим раненым. Хана. Еще три десятка могил на санокском «цмен-таже».

Как они соотносятся, память и страх? Вы пытаетесь напомнить, предостеречь. Но не переступаете ли границу, за которой страх глушит память, парализует рассудок?

Память — нам есть на что оглянуться — обязывает бесстрашию не только действия, но и мысли, мысли о себе и других. Иначе — звериные инстинкты вместо человеческого порыва.

Меня, кажется, снова заносит к санокской больнице военных лет...

Разговор ведется без малейшего политеса, но резкость его не восстанавливает нас друг против друга. Наоборот, мы преисполнены искренней взаимной симпатии.

Здислав Бексиньский родился в Саноке, мальчишкой видел войну, прокатившуюся по городу. («Сколько немцы продержались в Саноке в августе сорок четвертого?» — я повторяю свой обычный вопрос. «Дней шесть-семь».) Помнит, как гитлеровские танки настигли обоз. Прямо под окнами, выходящими на главную улицу. Снаряд разорвался в саду, убил яблоню.

Не эти ли сцены потрясли детское воображение, теперь исподволь сгущают мрак, диктуют изломанность полотен Бексиньского?

Сам он не чувствует такой зависимости. Война вспоминается захватывающим фильмом. Взрывы, пламя, руины. Ребяческая любознательность была настолько велика, что Здислав попытался отвинтить головку мины. На левой руке изуродованы два пальца.

Бексиньский рассказывает об этом как о курьезе.

И все-таки — не отложились ли безотчетно впечатления детства? Не сказались ли в метаниях Здислава Бексиньского?

Он начинал как архитектор. Вскоре оставил строительное поприще, загорелся фотографией. Снимки, на мой взгляд, превосходны, неистощимо изобретателен выбор объектов и ракурсов. Однако, когда приходит успех на выставках, Бексиньский забрасывает фотоаппарат и отдается металлографии, изготавливает абстрактные конструкции. Ими сейчас завалена прихожая. Автор относится к ним достаточно пренебрежительно. Не исключено, наступит час, когда он с новым чувством будет оглядываться на свои нынешние творения...

Не люблю, не верю в споры. Даже самому убежденному в собственной правоте редко удастся с помощью слов перетащить противника на свою сторону. Не люблю, но, бродя по городу, продолжаю полемику.

Существует не только «остроумие на лестнице» — остроты, придуманные задним числом. Но и аргументы,

которые являются после спора во всем блеске неотразимости. Знаю это за собой,— красноречивейшие доводы, наверстывая опоздание, наперебой предлагают себя. Ночью целые речи складываются в голове, пространные письма. Лишь снотворное кладет конец этому пламенному потоку. И то не всегда.

Но до ночи еще далеко. Судя по оживлению возле магазинов, только что кончился рабочий день.

Вы, продолжаю я, обращаясь к Бексиньскому (он, вероятно, ничего не подозревая, мирно обедает под звуки грохочущей музыки), отстаиваете свое право писать именно так, именно это. Не посягаю на ваше «я так вижу», избави боже. Но разве вам безразлично, как видят люди увиденное вами, что пробуждается в них?

Напрасно все-таки не сказал Бексиньскому насчет меры ответственности художника. От слишком частого повторения довод может утратить силу первичной убедительности. Но не изначальную справедливость. Впрочем, ему это, вероятно, и без меня известно. Он вообще знает больше, чем показывает. Нет ли тут игры в беззаботность: «Газет не читаю, книг не вижу, в кино не бываю»?

Вспоминаю режиссера Анджея, наш разговор на варшавской вилле.

Многие, разумеется, играют роль. Не только иностранцы, приезжие. Обязанности, какие мы принимаем (или не принимаем) — тоже наша роль на сцене сегодняшнего дня. Здислав Бексиньский не составляет исключения. Он увлеченно исполняет избранную роль. Настолько увлеченно, что, азартный по природе, не желает — я начинаю думать — помнить, что нынешние подмостки возводились годами, десятилетиями. На человеческой крови и костях. И просто так забавляться на этих подмостках всевозможными кошмарами и зловещими парадоксами, право, негоже... А если пан Здислав не «просто так»?..

Не собирался я в тот день на кладбище «жолнежей радецких». Ходил, ходил и вдруг — знакомые ворота.

С час назад выпал мимолетный снег. Он быстро таял, обнажая влажные плиты. Но, не дожидаясь, пока снег стечет, пожилая женщина в толстом платке, теплом синем пальто обметала плиты веником на длинной деревянной ручке. Приблизившись, я увидел бледное лицо с неподвижными темными глазами. Машинально повторяя движения, досадливо отбрасывая сумку, свешивавшуюся с плеча, она двигалась по дорожке, размякшей от недавнего снега.

Я поздоровался. Она не торопясь положила веник, усталилась на меня: «Пан из России?» Я кивнул. Она оглядела меня с головы до ног и преобразилась. Ожили глаза, движения стали быстрыми, нервными. Беспокойно сняла теплые перчатки, открыла сумочку, откинув полу пальто, полезла во внутренний карман. Что-то искала. Наконец извлекла кусочек тонкого, помятого картона, вроде визитной карточки. Достав очки, затрудненно выговорила фамилию, показавшуюся мне украинской.

Я попросил картонную карточку. На ней карандашными русскими буквами: «Витрищук», ниже «Ашхабад».

Женщина удовлетворенно улыбается: пан тоже Витрищук?

Вынужден ее разочаровать. Недавняя приветливость сменяется огорчением. Лицо неподвижно, неподвижны потемневшие глаза.

То ли тут похоронен Витрищук, то ли приезжал человек с такой фамилией. Есть некая связь между этой фамилией, Ашхабадом и санокским кладбищем. Это единственное, что мне удается уловить. Но какая связь? Кто такой Витрищук? От неясности зарождается безотчетная тревога.

На обратном пути заносу в блокнот фамилию «Витрищук», в скобках «Ашхабад», рядом — жирный, заключенный в кружок знак вопроса.

Так и маячить ему, этому знаку вопроса, покуда не вернусь в Москву...

Но пока что надо возвращаться в Варшаву. До того побывать в Ляшках, встретиться с сестрой Катериной.

Пора. Все санокские дела — позади. Но, как и в первый вечер, меня не отпускает мысль о домике, приютившем нас с Гороховцевым в горькую минуту.

Кого искать — женщину, которая двадцать восемь лет назад посочувствовала нашей беде? Имя неизвестно, адрес — тоже. Дочке Эве теперь что-нибудь за тридцать...

Однако отправляюсь на западную окраину. Тогда городская черта проходила ближе к центру. Не было домов, построенных, видно, позже, бензоколонки.

Кручусь у колонки, возле киоска «Ruch», где, как и по всей Польше, продают что угодно — от автобусных билетов до стирального порошка. Встречаю и провожаю автомашины, вполне сознавая нелепость собственного времяпре-

провождения. Неприязненно-выразительные взгляды молодого длинноногого заправщика в щегольском комбинезоне заставляют ретироваться.

Сваленный дощатый забор — не примета. Кругом металлические ограды, кирпичные стойки ворот.

Набравшись смелости, вступаю в переговоры с пышноусатым стариком, толкающим перед собой коляску с продуктами. Бывал, мол, в здешних краях в час войны. Дед со шляхецкими усами тоже бывал. Живет поблизости. Опять удача.

Никак не объясню толком, чего хочу, где дом, который разыскиваю. Не проживает ли поблизости пани по имени Эва?

Живет. Рядом.

Усатый старик оставляет меня при своей колясочке и направляется в двухэтажный коттедж. Возвращается с высокой сухощавой женщиной преклонных лет.

Заметив мое смущение, она сама спешит на помощь. Знакомая пана была моложе? Значительно.

С грехом пополам рассказываю о маленькой Эвуне в красных чулочках, изображаю — достаточно неуклюже, — как она приседала. Разменявшая седьмой десяток пани Эва легко и изящно делает книксен.

Потом они долго, обстоятельно обсуждают с усатым стариком, кто бы то мог быть, в чей дом мы тогда попали. Имена, фамилии.

У калитки соседнего дома, расставив ноги в расклевенных брюках, молоденькая женщина с сигаретой в ярко накрашенных губах. На плечи накинута куцая меховая курточка, на бедрах — широкий пояс, оттянутый вниз круглой медной пряжкой.

Почему-то я вдруг решаю: она, Эвуня.

Старик, перехватив мой взгляд, крутит усами. Да, тоже Эва. Но родилась после войны. Не полагаясь на мою сообразительность, дважды сует мне под нос растопыренные волосатые пятерни, потом еще четыре пальца.

А она, не вмешиваясь, будто не о ней, недоверчиво щурясь, слушает наш разговор, перегоняет сигарету из одного уголка алого рта в другой.

Мой усатый дед и пожилая Эва, забыв обо мне, предаются далеким воспоминаниям.

— Пшепрашам, бардзе пшепрашам! — спохватывается старик.

Я оглядываюсь. Двадцатичетырехлетняя Эва, не меняя

позы, смотрит нам вслед. Сейчас в ее взгляде я не чувствую недоверчивости. Скорее — сомнения. Мне хочется вернуться, подойти.

В старике, однако, пробуждается энтузиазм. Он тянет меня вперед. Мы продолжаем путешествие. Я толкаю коляску, он озаренно хлопает себя по лбу: «Холера ясна!» И сразу трезво добавляет: нет, не та. Наведывается еще в какие-то дома. Советуется с прохожими, с киоскерами «Rucha». Прощаясь, сокрушенно разводит руками: не повезло...

НА ВОСТОЧНОМ БЕРЕГУ САНА

Крутили-мудрили, колдовали над картой, но иная дорога в Ляшки, в женский монастырь, кроме как через Перемышль, не выпадала. Не лежала у меня к ней душа.

Однако наступил день, мы, заправив машину, прощально объехали город. Мимо дома культуры и торгового дома, мимо костела, ренессансного замка XV века, францисканского монастыря XIV века, мимо кинотеатра «Мир», обелиска советским воинам, молочной самообслуги...

На улицах по-воскресному нарядные, оживленные семьи, старушка в черной куртке на молниях, девчушка в кожаном пальто и брючках косится на прохожих: неужто никто не замечает, как она молода, стройна, как элегантно одета?

Кофейку на дорогу. В баре, на сей раз не молочном, завсегдатаи ведут миролюбивые беседы, не пытаются выяснить степень взаимного уважения. Старшеклассницы потягивают пиво. Пан Влодек бросает в автомат монету и, довольный, возвращается к столику, — «До любви всего один шаг».

Чего я тяну, все равно ехать.

Последний раз по Сверчевского и к мосту.

С восточного берега Санок открывается таким, каким мы увидели его сквозь знойное марево августовского дня — красные крыши, белые стены из-за деревьев. Деревья тогда были позеленее — лето, стены белее — солнце. Сегодня хмуровато.

Дорога тянется над Саном к югу. Мы доедем до мостика и свернем на восток, будем ввинчиваться по серпантину вверх, потом вниз к Перемышлю.

Сколько сейчас времени? Двенадцать пятнадцать....

Произошло это среди бела дня. Между двенадцатью и двумя. Часы у меня тогда не шли.

— Пан Влодек, остановите, пожалуйста. Подождите...

На склоне обломки взорванного дота. Надпись польски: «И останутся в легенде дни гнева и славы...» По-русски: «В этом укрепленном пункте в июне 1941 года погибло 25 солдат Советской Армии в героической борьбе с гитлеровскими оккупантами. Слава героям! Июнь 1969».

До этого дота мы тогда не доехали. Путь кончился возле мостика, у того вон дома. Он и сейчас крайний...

А начался?

Мы ночевали в деревеньке неподалеку от Перемышля. Засиделись. 3 августа — мой день рождения. Поэтому наутро в автобусике кемарили, шофер Симаков, сконфужено матерясь, останавливался возле каждого колодца — водичку испить.

На КПП при выезде из Перемышля в наш автобус дивизионной многотиражки попросился лейтенант. Одной рукой опирался на палку, в другой — висела скатка, за плечами — тощий сидор. Бледен, палка, парусиновый ремень — из госпиталя лейтенант.

Сел на ящик рядом со мной. Шоферской кабины в нашей трофейной колыхаге не имелось.

Отдышался. Хотя всего-то поднялся на подножку.

— Не поспешил из госпиталя?

Снял пилотку, вытер лоб, короткие русые волосы.

— Н-надо, с-старший лейтенант.

Он заикался. Несильно, — последствие контузии.

— Нога с повреждением кости? Спешись, лейтенант, торопиться. Боишься, войны не хватит?

Не ответил, без интереса посмотрел на меня, снова вытер потное лицо.

— Есть не желаешь? Выпить?

После вчерашнего пиршества у нас кое-что оставалось.

— Спасибо.

Взял хлеб, отрезал шматок сала. От водки отказался.

— И не куришь? Сто лет проживешь.

Звать его Василий. Фамилию — сколько ни бьюсь — не помню. Что еще? Веснушки, негустые — летние, брови светлые, выцветшие, будто и нет.

— Б-б-богато живете.

Он заглянул в ящик с припасами. Я объяснил: не всегда, вчера справляли день рождения.

Улыбнулся.

— Желая и т-тебе до с-ста.

То ли еда на него нехорошо подействовала, то ли жара. Он посинел, рванул ворот гимнастерки.

Я велел Симакову остановиться, в придорожном доме попросил воды. Лейтенант попил, пришел в себя.

— С-спасибо! Прости, старшой... До С-саночка доставите?

— Там у нас медсанбат. Сдам тебя в госпитальный взвод. Капитану медслужбы Камышловой.

— Не п-получится.

Попросил карту. Развернул саночский лист.

— Н-никак к вашим не п-привыкну. Шт-турман я.

Штурман с направлением в стрелковую дивизию?

— Почему так?

— У меня с-самого реб-бусов вагон. С-сильно з-заикаюсь? П-понять можно, к-кто п-плохо п-п-по-русски?

— К Эйзенхауэру, что ли, посылать для координации?

Не обиделся. Рассмеялся хорошо, доверчиво.

— Из меня переводчик, к-как из вашего д-драндулета с-с-самоходка. Полгода у поляков жил. Ос-своил «п-проше п-пана».

— Забросили?

— С-сам заб-бросился.

Самолет подбили над Катовицами. Тянули почти до Кракова. Тут и выбросились. Где остальные — неизвестно. У Василия от уха о дерево трещина кости.

Две сестры-крестьянки прятали на хуторе. Поправился, передали в партизанский отряд. Отряд польский. Порядки незнакомые. Свои воинские звания. Клички, псевдонимы. У некоторых форма, конфедератки, при орденах. Командир — «Врубель». Ему бы не воробьем, медведем называться. Здоров, тяжел, неуклюж. Насчет дисциплины — беспощаден, на людей — недоверчив. Но чтобы кричать, оскорблять — никогда. Вроде и в отряде Василий, но не полонправен. Лечили, кормили, а на задание посылать не спешили. Первый раз послали без оружия. Разговор с Врубелем: «Ты коммунист. Я католик, у меня орден от Пилсудского, с русскими воевал в двадцатом. Между нами стена — три этажа». — «Было три — немцы разбомбили».

Так беседовали они, русский лейтенант с польским офицером, кавалером Виртути Милитари.

На следующем задании — рвали железку под Тарну-

вом — Василий командовал дружиной (наподобие нашего отделения, несколько дружин — плутон, то есть взвод).

Советский штурман стал своим в польском отряде. Почти своим. Прибился к нему Стасик, санокский мальчонка лет пятнадцати. Стасик освоил русский лучше, чем его командир — польский. Появилась у Василия в отряде родная душа, теплая, ласковая.

Стасик погиб, когда хотел метнуть обратно «толкушку» — немецкую гранату с деревянным набалдашником. Граната разорвалась в руках.

Раньше Василий прикидывал: надо бы к своим, да Стасик... Теперь не найдет себе места после смерти Стасика. И решил: все.

Врубель отговаривает, пугает: ваши не поверят. Василий настаивал, и Врубель согласился. Чтобы облегчить Васину судьбу, передал в другой отряд — людовцам.

— У н-них Армия К-краева и Армия Л-людова. П-переплет. Людова за коммунистов. Аковцы п-получают п-приказы из Лондона. Смекаешь?..

Разобраться сложно. Тем более война еще не кончилась. Василий должен помочь. Знает, как Врубель сражался. Честный офицер, гордый, отважный. Что ж, что другая вера? Воевать с немцами не мешала. В отряд наезжал ксендз-капеллан, службы служил, проповеди читал, партизан исповедовал.

— Ты сам в католики не подался?

— Л-легко шутишь, с-старшой, г-гребешь п-п-поверху!

Отряд действовал в Жешувском воеводстве. Василию известны две явки, знает канал. Сумеет связаться с Врубелем, объяснит обстановку. И нашим объяснит.

Потому и торопится из госпиталя. Сан впереди.

Василий следит по двухверстке. Поворот, еще. Мелькнул зеленый грузовик. На заднем борту: «Даешь Варшаву! Даешь Берлин!»

— Варшава, Б-берлин,— устало вздохнул Василий.— В Саноке когда б-будем? Д-давай часы с-сверим.

Сверишь. Мои вторую неделю стоят.

— П-покажь,— просит лейтенант.— К-кое-что к-кумекаю.

Я вытянул из брюк свою «Омегу». Василий уважительно присвистнул.

— Ц-цены нет.

Потряс в кулаке, поднес к уху.

— Д-доверяешь? П-попробую в чувство п-привести. К-как в С-санок п-прибудем.

Старательно завернул черную «Омегу» в носовой платок, опустил в нагрудный карман гимнастерки.

**«ДИСЬ ДО ТЕБЕ ПШИЙСТЬ НЕ МОГЕ»
(«СЕГОДНЯ НЕ МОГУ К ТЕБЕ ПРИЙТИ»)**

— Скажи, лейтенант,— прошу я,— когда тебя подбили, в Польше был, что сообщили домой?

— Н-не вернулся с задания. П-пропал без вести. У меня дома один д-дед...

— Без вести,— подхватываю я.— Про моего Вальку Соловьева сообщили еще в сорок первом. Может, жив.

— Б-бывает.

У всех, кто мне попадается — у партизан, разведчиков, возвращающихся из немецкого тыла,— спрашиваю о Вале Соловьеве, друге школьного детства, соседе по подъезду.

— К-какой из с-себя? К-какого г-года?

— Белобрысый. Двадцать первого.

У Врубеля было трое русских. Собственно, двое, третий — узбек. Оба русские — темноволосые, да и постарше...

Василий снова о польском отряде. Как готовились к заданию, как, вернувшись, докладывали, как вечерами распевали песни.

— К-какие у них песни!

Василий насвистел мотив. А смысл пересказал, простой смысл, партизанский: «Дись до тебе пшийсть не моге...» «Не могу к тебе сегодня прийти, дорогая. Ухожу на задание. Такое дело. Может, и никогда не свидимся. Война — она такая. Не приду сегодня, прощай, моя дорогая, коханая...»

Августовский иссушающий зной семьдесят второго яростнее того — в сорок четвертом. Но сейчас я дома.

Крутится на подоконнике пластинка, негромкая скорбь мужских голосов поднимается в раскаленное, белое, как и в тот день, небо: «Дись до тебе пшийсть не моге».

Не придет больше... Замолк. Вдруг — выстрел. Предсмертный шепот. Женский вскрик вдалеке. И в отрешенной тишине — бесстрастно, по-дикторски,— имена: Будинь-

ский Ежи, Квичиньский Здислав, Навроцкий Тадеуш, Залевский Станислав, Зелиньский Михал, Штора Вацлав...

Большинство двадцать четвертого года... Какого был он, Василий?

Восходит солнце, и проползают ночи, сто раз упадет зной, и пройдут снега, новые заблестят на березах листья — не прозвучит имя твое среди павших.

А жить ему тогда оставалось полчаса, от силы — сорок минут.

Вечерами, когда допускала обстановка, в отряде Врубеля пели. Слушали по радио не только сводки последних известий — Лондон, Москву, — ловили песни. Однажды выловили:

— П-представляешь, с-с-старшой: «Помнят п-псы-атаманы, п-помнят п-п-польские паны...»

Смеется Василий. Тогда было не до смеха. Сжался, как затравленный. Все — молчок. Будто нет его в штабной землянке. Будто не делили с ним хлеб и смертную угрозу... Вдруг Врубель расхохотался. Да как!

Развеселился лейтенант от воспоминаний, от далекого тепла землянки Врубеля, от того, что катим по земле польской, впереди грузовик: «Даешь Варшаву! Даешь Берлин!»

Василий отчеркнул на моей карте — перевалили верхнюю точку. Под горку всегда легче, на душе веселее. Скатимся вниз, в Сане купнемся! Жарища.

Теперь я в курсе Васиных дел и планов. Не зря спешит.

Через линию фронта перевели наши разведчики, держали контакт с людовским отрядом. Василия потягали туда-сюда, проверили-перепроверили и направили в пехоту. Командовал взводом, получил роту. Представлен к «старшему лейтенанту», — как-никак почти два года в лейтенантах. В госпитале вручили «Отечественную войну» второй степени. Причитается и польская награда — Врубель ходатайствовал. Тоже повод отыскать командира. Но главное, обещанное умирающему Стасику, — найти в Саноке его мать. Мужа у нее забрало гестапо, одна с малолетней дочкой...

Вот он о чем тревожился, хилый, веснушчатый лейтенант Василий, спешивший на передовую. О матери Стасика, о товарищах из партизанского отряда, о медведеподобном

Врубеле. Чувствовал, в какой переплет попадает аковский отряд, подчиненный лондонским эмигрантам. Как им быть, вчерашним партизанам: вернуться к семьям, возродить страну или, повинаясь дисциплине, продолжать войну? С кем, с Войском Польским, настороженной новой властью? Биться месяцами, годами, все глубже погрязая в междоусобицу, разрываясь между человеческой тоской по дому и жестокими армейскими приказами, отдаваемыми издалека. А потом десятилетиями разматывать кровавый клубок, сводя счеты с прошлым...

Это я сейчас о клубке, трагических противоречиях, кровавой междоусобице. После того как своими глазами видел в польских городах братские могилы с датами гибели: 1945, 1946, 1947. После книг, написанных бывшими аковцами, после фильмов, после романа «Современный сонник» некогда воевавшего в АК Тадеуша Конвицкого, где один из партизан произносит: «Я вообще не представляю себе, что когда-нибудь наступит «после войны»...»

Все это я сейчас. А он, лейтенант Василий, еще тогда хотел вмешаться, посоветовать, кому-то пособить...

Куда она запропастилась, однако, зеленая полуторка, звавшая на Варшаву и Берлин? Пусто впереди, оглянувшись в заднее оконце — тоже никого.

Кемарят наборщики на кассах со шрифтом. В углу посапывает редактор, умеет спать в любое время, в любой позе.

Василий роется в своем вещмешке.

— Т-ты, с-старшой, лезвиями не б-богат?

— Чего тебе брить? Три волоса.

— П-польша, с-с-старшой. Привыкай.

Что ему прежде Польша? Географическое понятие, расстворившееся в 1939 году. А сегодня волнуется, словно подъезжает к отчету дому.

Волновался Василий, но и его укачала езда, жара сморила. Привалился к боковому окну, дремлет. Вещмешок трясется на коленях.

Но где же все-таки полуторка? Почему опустела дорога?

Не опустела она. Впереди на шоссе по-над Саном бронетранспортеры. Непривычные, наверно, американские, по ленд-лизу.

Симаков скосил на меня глаза:

— Чудно, товарищ старший лейтенант!

Пристраиваемся в хвост к транспортерам. Из них торчат каски. Новую, видно, часть подбросили, солдаты свеженькие, с касками еще не расстались.

На наш автобусик транспортеры ноль внимания. Не смущает он их своим неопределенным происхождением, загадочной мастью.

Едем в общей колонне. Пока не замечаю: из придорожных кустов машет украдкой солдат-регулировщик, делает знаки.

Симаков тормозит, я спрыгиваю, почему-то пригнувшись, бегу к кустам.

— Товарищ старший лейтенант, это ж немцы... провались...

Симаков нетерпеливо смотрит на меня.

— Порядок. Бери вправо, к той вон речке.

Немцы остались позади, на шоссе. У нас впереди — повисшие стропила; мост взорван. Но рядом на песке рубчатые следы — брод.

На другой берег машина карабкается с таким натужным ревом, что все просыпаются. Наборщики придерживают кассы, редактор сонно ворчит. Василий поднимает упавший на пол сидор.

Поляки — человек пять, толпились у реки — дружно толкают автобусик.

Когда речушка со взорванным мостом оказывается в тылу, я облегченно перевожу дыхание.

— Порядок, Симаков, прижмись у крайнего дома... Перекур на свежем воздухе.

Все вылезают, потягиваясь, жмурясь на полуденном солнце.

— Ты чего, Вася?

— Не к-к-курящий. П-побриться надо...

Отвожу редактора в сторонку, докладываю: на шоссе вдоль Сана — немцы.

Солдаты покуривают, развалиясь в короткой тени на траве. Симаков зашел в дом, ведет переговоры с хозяйкой на предмет холодного молочка. Василий бреется, приладив на ветровом стекле круглое зеркальце. Мир. Тишина.

Редактор не без сомнения смотрит на меня.

— Не дурил, часом? Вчера лишку принял.

Нежданно-негаданно в подтверждение моих слов над берегом тупой нос немецкого бронетранспортера, переваливается желто-зеленый корпус и с хода из турельной

пушки по нашему автобусику. Не останавливаясь — мимо и, перевернув на турели пушку, — еще раз в упор по окутанному дымом ветровому стеклу...

— Поехали, пан Влодек. По-быстрому. Прошу вас.

ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Крыша под красной черепицей, сводчатые потолки, гулкие коридоры — все как быть надлежит. Монастырь. Женский.

Иду монастырскими коридорами, ступаю по каменным плитам. Телевизор. Перед экраном больные. В психиатрической больнице при монастыре — хроники, безнадежные. Обслуживают монашенки и обыкновенные сестры и врачи. Субсидирует, следит за лечением государство.

Справа от меня — заведующий больницей в сером костюме при галстукe, слева — настоятельница, подпоясанная капроновой бечевой. Говорит заведующий — настоятельница подтверждает; говорит настоятельница — кивает заведующий.

Под палаты отведены лучшие комнаты, перестроенные кельи. Светло, навощен паркет, чист воздух. Госпитальная стерильность и домашний уют.

Потихоньку расспрашиваю настоятельницу: пополняются ли ряды монахинь, кто идет?

Пополняются. Бывают совсем молоденькие, бывают — постарше.

Не заметен ли спад, не слабеет ли приверженность?

Пожалуй, заметен. Схима — не для всякой, даже пламенно верующей. Пламенная вера вообще редка.

У настоятельницы едва уловимая усмешка.

История знает полосы неверия, заблуждений, разочарования, скепсиса; самозабвенной до фанатизма веры. Все от... Она показывает в потолок. Без веры человек скудеет, не находит приложения духовным силам. Они иссякают. Не так ли?

Смотря во что верить.

Настоятельница согласна лишь отчасти. Суть не только в том, во что верить, но и что делать, как жить.

Среди медицинского персонала и монашенки, и атеистки. Лично она, настоятельница, делит всех в зависимости

от прилежания, сердечности, терпения в заботе о таких тяжелых больных, как у них.

Вероятно, предполагаю я, монахини все же участливее. Почему? Ничто не отвлекает. Мир замкнут толстыми монастырскими стенами, иных тревог не знают, семейные волнения не ведомы. В Швейцарии, например, больничные сестры дают обет безбрачия. Считается, что замужняя, что мать не отдаст себя целиком больным. Взамен — высокое жалованье, бесплатное питание, жилье. Уход, разумеется, хороший, но цена... Отказ быть матерью. Не жестоко ли?

Жестоко, сокрушается настоятельница, не по-христиански. Она не сторонница такого способа. Уход за больными — призвание. Как и всякое призвание от (перст в потолок), если угодно пану, от природы. А также — воспитания.

Заведующий одобрительно кивает.

Сестра Катерина — та, ради которой я приехал в монастырь, — вообще отказывается делить больных и раненых по какому бы то ни было признаку, кроме тяжести болезни, ранения.

Рассуждает спокойно, убежденно. Как человек, решивший раз и навсегда. Готова повторить каждому, кто спросит. Ее плохо понимают? Пусть переведут. Сестра Катерина постарается говорить медленнее.

Держится она спокойно, величественно. Крупная, в черном до полу одеянии, за очками в позолоченной оправе — умные, терпеливо улыбающиеся глаза. Взвешивает каждое слово, прежде чем произнести — тихо, уверенно. Остерегается неточности, нескромности.

Доктор Мариан Киляр отдавал дни и ночи больнице, раненым. Помогали сестры Саломея Зелиньская и Мария Корнецкая. Она сама тоже. Посильно.

Сколько было советских раненых, да простят ей, не помнит. Но были. И немало. За ними ухаживали, как и за больными поляками.. Ее, сестры Катерины, назначение — лечить. Чем тяжелее раненый, тем больше внимания. Поляк ли он, русский, немец, ее не касается. Есть лишь страждущие, нуждающиеся в помощи. Это там, за больничной оградой, определяют национальность, партию, государственную принадлежность, судят, кто прав, кто виноват.

Что она сама делала в эти дни?

Находилась при раненых. На своем этаже и в бункере.

В бункере стояла вода, всякий раз ее ряса намокала — хоть выжимай. Пан спускался в тот бункер после освобождения, там оставалось мало воды? Это она и ее коллежанки халатами, юбками высушили бункер.

Смеется. Долгополые монашеские одеяния имеют свои преимущества.

О немцах вспоминает немногое. Не видела, чтобы добивали, не видела, чтобы расстреливали раненых.

Какой-то немец ходил по больнице, из палаты в палату, спрашивал, кто лежит. Сестры отвечали: цивильные. Он не допытывался.

Так, по крайней мере, происходило на ее этаже, где тоже лежали русские. Как было на остальных, не знает. Все время в бегах, в напряжении, раненых и больных полным-полно, персонала и медикаментов мало.

Помнится один эпизод. Немец — то ли солдат, то ли офицер — посветил фонариком в бункер, крикнул: «Иван?» Не дожидаясь ответа, повернулся и ушел.

Сестра Катерина не склонна кого-либо переубеждать, обращать в свою веру.

Они притягательны, ее взгляды, подтверждены жизнью, отданной больным. Тот, кто их придерживается, способен, верится, познать высокое удовлетворение.

Что же мешает тебе их разделить, отбросив, коль не-угодно, религиозную оболочку?

Память.

Насчет расстрелов в больнице все-таки не ясно. В 1941—1942 годах под Саноким размещался лагерь советских военнопленных. Там гитлеровцы вели себя, как обычно в лагерях: избиения, казни...

Точно так же в лагере для местных. Архив Министерства обороны СССР сохранил документ тех дней — рассказ двух крестьян Санокского повята Яна Барановского, Ксении Павук и врача Лернера:

«За время своего хозяйничания в этих местах немецкие оккупанты совершали чудовищные злодеяния по истреблению местного польского, украинского и еврейского населения. Эти зверства осуществлялись работниками гестапо в городе Санок. Во главе их стоял штурмфюрер Шойрингер. В деревне Трепча в декабре 1941 г. находился концла-

герь, где помещались заключенные из местных жителей. На 12 декабря 1941 г. в лагере, который жители называли Фридрихсхоф (кладбищем), помещалось около 600 заключенных... 12 декабря 1941 г. заключенных перевели в другой лагерь, в село Заслав. Рядом с новым лагерем находился лес. В этот же день из числа заключенных были отобраны 60 человек, которым приказали рыть в этом лесу могилу на 600 человек. 13 декабря 1941 г. все заключенные были выведены в лес, построены перед могилой и расстреляны... После расстрела Шойрингер обнаружил, что расстреляно не 600 человек, а только 510. Тогда он приказал набрать в селе Заслав 90 женщин для расстрела. Видя свою неминуемую гибель, часть этих женщин разбежалась по лесу. Тогда Шойрингер со своей шайкой начал за ними охоту, и все они были расстреляны...

Всего в городе Санок немецкие изверги истребили до 6000 человек...»

Среди замученных документ упоминает сына главного врача городской больницы Даманьского. Это имя я не раз слышал в Саноке, его называла и сестра Катерина. Но никто не мог вспомнить, почему Даманьского не было в августе сорок четвертого, где он тогда находился.

Не связано ли его отсутствие с гибелью сына, с необходимостью скрываться от гитлеровцев?

Получить ответ на эти вопросы я не мог. После войны доктор Даманьский оставался в Саноке. Но ко времени моего приезда его уже не было в живых.

Допустим, один из тех, кто пытал, расстреливал, попал на этаж к сестре Катерине. Она положила бы его рядом с советским солдатом, делила бы на двоих кусок бинта, склянку йода...

В нашем медсанбате тоже врачевали пленных. Помню, в июле сорок третьего в палатку госпитального взвода положили в углу одного с раздробленным бедром. Мы попросили командира взвода Екатерину Николаевну Камышлову вынести его в тамбур. Пускай лечат, но не у нас под носом.

Даже мы, с немецкими осколками и пулями, слабые и ожесточенные, не колебались: надо лечить. Только чтобы не резала ухо ненавистная речь.

Сестра Катерина и поныне не признает иных различий, кроме медицинских показаний. Не желает знать, что происходило и происходит за стенами больницы. Мне ни в какую не дается подобное неведение. Слишком много могил на «цментажах жолнежей радецких».

Это проступало в санокском разговоре с Саломеей Зелиньской, у сестры-монахини Катерины — еще определенной.

Не признавали они исключительность собственного поведения, не старались запомнить далекие подробности августовских дней. Делали, что необходимо сестрам милосердия. Из ряда вон выходящими были не опасности, нависшие над каждой, а физическое, нравственное напряжение — и ответственность за участь беззащитных, беспомощных. Человеческая и профессиональная.

— Что особенного они совершили? — обратился ко мне пан Метек, переводчик, когда мы возвращались из женского монастыря в Ляшках.

Пан Метек обладал неистощимым запасом вопросов. Задавал их в не поддающейся уму последовательности.

— Кто сейчас самый великий поэт в Советском Союзе?

— У вас продают средство от пота?

— Какой национальности Энгельс?

Мне не всегда удавалось удовлетворить его прихотливую любознательность. Он легко с этим мирился и через полчаса оглушал:

— Кто сексуальнее — блондинки или брюнетки?

Но на сей раз вопрос Метека мне не казался праздным. Он это почувствовал и пошел в атаку:

— Их поведение — норма. Так вообще поступали тогда поляки. Не хватало награждать, хвалить за то, что не подлецы, не жулики...

Он увлекся, воспламеняясь:

— Не оскорбляем ли мы человека, выразив благодарность за порядочность? Почему одних порядочных благодарим, других — нет? Зачем искать примеры многолетней давности, нет ли поближе?

Предстояло отобрать вопросы, которые могли возникнуть не только у великого до них охотника, пана Метека.

Что ж, поговорим о нормах.

Помощь врача, сестры, каждого человека больному, раненому — норма. Согласен. Но бывают небрежные врачи, равнодушные сестры, бессердечные люди.

Хорошо быть хорошим человеком при хорошей погоде. Следовать норме, когда это нетрудно, зато возвышает в собственных глазах и в глазах окружающих. «Смотрите, как он добр, поделился куском хлеба!» Каким? Последним?

Оторвал от себя, от своего голодного ребенка? Элементарная норма превращается в тяжкий экзамен. Каждый его выдержит?

Это я у вас спрашиваю, пан Метек, я тоже мастак кидать вопросы.

Не случилось ли вам видеть, как одна норма вроде бы вступает в противоречие с другой?

Вот эпизод с моей однополчанкой Лидией Феофиловной Юдаевой и капитаном, которого не пожелала назвать.

«Давно, далеко» это было: май сорок пятого. Капитан встал перед выбором. Медсестра просит помочь, пойти с ней либо послать солдата — в подвале пустой деревни лежат двое тяжело раненных бойцов. С другой стороны: у капитана — машина, груз, а в подвале, как знать, не ловушка ли? Разве не случилось?

Сестра отыскала раненых, перевязала — пособили крестьяне-чехи — и бегом к капитану, чтобы захватил раненых. А его и след простыл!

«Давно, далеко» это было. Но капитан запаса, который поспешно предпочел когда-то одну норму другой, почему-то избегает бывшую медсестру, сторонится как черт ладана. Хоть живут теперь неподалеку, а на фронте были добрыми знакомыми...

Самая разочевидная норма ходом обстоятельств может возводиться на уровень исключительности, когда ради нее рискуешь головой.

НЕ ТОЛЬКО...

Позарез, чувствую, нужен Мариан Киляр. Санокская хроника уже не плюсквамперфектум, многое преломляется через нее, причастно к ней. А что думает главное действующее лицо — доктор Киляр? Повидать бы не только того Киляра — из августовского Санока сорок четвертого года, но и ныне здравствующего. Как знакомого, с которым не встречался много лет, а сейчас наступил срок.

Однако пойдя найди человека с довольно распространенной польской фамилией — Киляр.

Сотрудник Варшавского радио Чеслав Сенюх заверяет: — Найдем. Мы живем в век радио...

Сенюх сосет трубку, поглаживает бородку, говорит го-

лосом, полным сокровенного значения. Голос этот знает Польша, Сенюх читает тексты к кинохронике.

— Все будет о'кэй, белка и свисток.

В бытность московским корреспондентом он освоил русский язык.

— Езжайте в Казимеж, в «Дом прессы», творите, отдыхайте. Вернетесь, доктор Киляр тут как тут.

Сенюх даже изобразил жест, с которым меня встретит пан Киляр.

В Казимеже — широкая, под тонким льдом Висла, булыжная мостовая рынка, в центре его, под дощатым навесом, — старый колодец.

Загодя давши зарок отвергать туристские соблазны, не позволять себе экскурсионных восторгов, озираешься вокруг. Костел, второй, третий. Первые два — один против другого — под красной черепицей, третий на отшибе — под железом. Они возносятся над схваченной цементом меловой кладкой домов, над крышами — тоже черепичными или из потемневшей, поросшей мхом дранки.

Чугунные решетки сводчатых окон в глубине, подобной гроту, аркады, неожиданно продленной ввысь каменной стеной. На ней среди неумного орнамента живые, замершие лишь для удобства резчика фигуры. Святые в торжественно-старинном убранстве с трудом сдерживают приличествующую моменту неподвижность. Святой Кристофор привалился к дереву, на плече у него по-сыновьи уселся малец — Иисус Христос. Выползли на песчаный берег раки. То ли из морской глубины, то ли со средневековых карт звездного неба... Великолепные излишества, обратившие насущную необходимость — прикладную архитектуру — в искусство, в историю, запечатленную камнем, железом, деревом.

Тебе предстоит еще открыть эту панораму — купола костелов, островерхие шалаши из черепицы, почерневшей щепы, прочно сшитых железных листов — с высоты, господствующей над городом, отвесно вздымающейся в центре его.

Постепенно приоткрывается завеса над тем, что Польша называет «Чудом Казимежа».

Пройдя мимо многоярусных каменоломен, берегом по-волжски раздольной Вислы, поднимаешься сквозь редкие сосны на откос. Невелик подъем, и незамедлительно наваждение. Широкая Висла вдруг сужается, приближая далекий берег, замок Яновец, — вот они, протяни

руку. Откуда эта оптическая иллюзия, почему, несмотря на дымку, сохраняющуюся и в солнечные часы, не только Яновец,— трубы Пулав, до них добрых 15 километров, деревца, выточенные одно к одному на гребне горизонта, отчетливы, как если б перед глазами держать подзорную трубу? «Чудо Казимеж». А другое — спустись вниз, в прибрежные заросли: какая-нибудь сотня метров. Мрак в полдень, ни дуновения с реки, ни приметы для ориентировки. Уссурийские дебри.

Знакомой уже стезжкой карабкаешься вверх, в Альбрехтувку. Пяток домов, от одного — потрескавшийся скелет. У каждого, в том числе обратившегося в скелет, своя долгая история. На подробной туристической схеме не сыскать Альбрехтувки, тем паче не достигнута определенность: Альбрехтувка или Альбрихтувка, идут споры.

Все, что Казимеж,— предмет тревог и споров. Пишут газеты, приходят взволнованные письма. Даже из-за океана; канадец, некогда навестивший Казимеж, заклинает: сохраните город и окрестности...

Окрестности, фантастическое переплетение круто срывающихся вниз оврагов, где, бродя с утра до вечера, не встретишь живой души, лишь редкие распутья на развилках, где на высохших за зиму кронах похожие на искусно свитые гнезда зеленые шары омелы, где отдыхаешь на хитро изогнувшемся стволе, свесив ноги над рыжей пустотой...

Казимеж не только сочетание природных чудес с чудом, дважды сотворенным человеческими руками (война опалила, разрушила город). Это еще и великий урок активной памяти, способной, вопреки времени, сберечь все того достойное: резьбу старинной каменной стены и клонящуюся к земле березу с ветвями плакучей ивы.

Когда следующий раз пойдешь в Альбрехтувку (Альбрихтувку) не вдоль Вислы, а вёрхом, через францисканский монастырь, тебе предстоит миновать кладбище. В самом конце его торчат потемневшие кресты с двумя — шалашом — перекладинами. Как у нас, на старых деревенских погостах. Откуда они тут, кто под ними?

Попытался прочитать выцветшие латинские буквы на темной от долгих лет и ненастья, помятой жести.

— Цо то ест «шереговец»?

Молодой ксендз — из-под сутаны заляпанные грязью сапоги — удивленно остановился:

— Шереговец? То ест, проше пана, жолнеж.

Сообразив, с кем имеет дело, членораздельно произнес:

— Рья-до-вой сол-дат.

Дальше я уже разобрался.

«Рядовой Машнов. 23 гусарский полк. Полег 31. VII 1914».

«Иосиф Цвентяк. Полег 10. IX. 1914. 18 стрелковый полк».

«Федор Погодин. 1 стрелковый полк. Полег 28. IX 1914».

«...женко. Полег 31. VIII 1914».

«Меркулов. 2 стрелковый полк. Полег 1. IX 1914».

«Неизвестные солдаты русской армии. Полегли 1914».

Две могилы с похилившимися крестами без надписей обнесены тяжелой цепью¹.

К востоку от Вислы, километрах в двух-трех, казимежское кладбище советских бойцов. После могил четырнадцатого года потянуло туда.

Не впервой читаю надписи на плитах.

«Ст. серж. Смирнов С. А. род. 1907 г. серж. Кравченко Г. З. род. 1923 г. Федосьев И. П. 1909 г. Комошев род. 1911 г. и 45 неизвестных воинов Сов. Армии, павших в боях 1944 г.»

«Ст. серж. Андреевский род. 1905, майор Ступотеев А. майор Минковецкий В. род. 1923 г. майор Наумюк Е. К. род. 1901, мл. лейт. Либерман Я. род. 1911 г., лейт. Пахяный, лейт. Димитрин В. М. и 57 неизвестных воинов Советской Армии, павших в боях в 1944 г.»

«Кравцов Г. Ф. род. 1912 г. Матвеев Д. род. 1919 г. Исабазаров Б., Гройсман М. И., Скалацкий И. И. Макоед. В. П. Аталики И. Серосиненко И. К. Хамитов Х. Жакиров и 42 неизвестных воина Советской Армии, павших в боях в 1944 г.»

«Лейт. Гриневиц Геназы Станиславович род. 1925 г. пог. 1944 г. в Ольбенцике».

«Михель Анна Ивановна род. 1928 г., серж. Борков В. И. род. 1923 г., Кесь-Шанишукинов род. 1911 г. старш. Лесников Н. В. род. 1921 г. стар. Кусташева род. 1924 г. боец

¹ Меня предупредили: кто единожды побывал в Казимеже, это на всю жизнь. Я с сомнением пожал плечами. А ровно через год снова приехал. Надписи на русских могилах 1914 года стали неразличимы. Лишь на одной жестяной табличке чей-то упрямый карандаш пытался отвоевать у безвестности фамилию Меркулова...

Хоменко С. А. Кузьмин и 109 неизвестных воинов Советской Армии, павших в боях в 1944 г.»

«Стар. разв. Неверов Алексей Кузмич род. 1909 г. пог. 1944 г.»

«Герой Советского Союза лейтенант Клименко Николай Лукич урожд. 12. VI 1925 г. пог. 1944 г.»

«207 неизвестных воинов Советской Армии, павших в боях в 1944 г.» Чуть ниже, на белом мраморе, похоже, привезенном из России: «Толмачев Афанасий Владимирович, 1910—1944».

«Партизан Павлов Иван погиб 20. III 1942 г. и 56 неизвестных воинов Советской Армии, павших в боях в 1944 г.»

«Ст. лейт. Козлов Л. Ф. летчик, род. 19. 8. 1922 г. и 118 неизвестных воинов Советской Армии, павших в боях в 1944 г.».

Как и я, но по другой стороне кладбища, шел, всматриваясь в надписи, человек в светлом плаще со шляпой в руке. Он приблизился, когда я сидел на скамейке, представился:

— Магистр Ежи Чижевский, редактор и журналист.

Употребил «журналист» вместо польского «дзенникаж», давая понять, что знает русский.

— Много, не правда ли? Магистр, редактор, журналист? Мы, поляки, любим звания, должности, профессии. Жена кондуктора величается «кондукторовой».

Великий народ может позволить себе маленькие слабости...

Пан Чижевский бывал на этом кладбище. Всякий раз — потрясение.

— Ровесники моего сына. Не укладывается в сознании... Михель Анна Ивановна... Какая Анна Ивановна, Аня, Ханка, ребенок, шестнадцать лет!..

Он возбужденно ходил между плит. Читал надписи, повторяя фамилии.

Мы вернулись к скамейке. Чижевский закурил.

— Россия потеряла двадцать миллионов. Целое государство! Двадцать миллионов отцов и матерей. Настоящих и возможных. Десять процентов населения...

Остановился, затянулся, отбросил погасшую сигарету.

— Мы лишились шести миллионов. Двадцать процентов. Шесть миллионов, кажется, больше, чем Москва до войны... При таких потерях поляки били швабов. Шла истинная война. Немцы никого так не боялись, как поляков. В Нор-

вегии был Квислинг, во Франции — Лаваль... Даже в России — Власов. Только в Польше...

Куда он клонит, этот магистр?

— Как объяснить такую необычность?

Чижевский не спешил с ответом. Сосредоточенно курил. Почувствовалась натянутость.

— Трудно объяснить. Особенно... не поляку. Это здесь...

Хотелось, однако, услышать, как называется это, находящееся подле сердца.

— Если пану россиянину угодно, польский дух.

Несколько минут назад мы вроде понимали друг друга. Но я уже «пан россиянин», мне не постичь «польский дух».

Все-таки пан магистр проявит снисходительность, попытается растолковать мне, что такое «польский дух».

Он честно старался, мой собеседник. С меньшей, пожалуй, охотой, чем недавно, но по-прежнему взволнованно.

Польский дух — чувство, позволяющее поляку перенести то, что остальным не под силу. Оpoznать своего среди чужих. Прийти ему на помощь, рискуя головой. Дух польский исключает предательство, национальную измену. Потому немцы не нашли польского Квислинга, польского Власова...

— А если б отыскался?

— Исключено. Сам вопрос свидетельствует: вам недоступна категория «польский дух». Только нам, полякам...

Он развивал выношенные мысли, апеллируя к истории. Я напряженно слушал. Хотя с какого-то места показалось: все это, в общем, известно. Не столь, правда, четко сформулированное, дружелюбно преподанное.

— Заранее допускаю, с точки зрения теории что-нибудь и не так, — Чижевский усмехнулся. — Национальный вопрос — не моя тема. Я не из книжек...

Темнеющим Казимежем мы возвращались в «Дом прессы». Далекой канонадой доносился с Вислы ледоход, начавшийся утром.

Чего проще — ударить по больному. Нелегко возразить вам, пан Чижевский, когда вы настаиваете: «Только мы, поляки...» Однако должен.

Повторил про себя: «Быть искренним я обещаю, безучастным — не могу», — и сказал:

— Никто «не только»...

Нет народа, состоящего из богатырей-героев, один к одному. Слишком мучителен путь каждого, слишком много воздействий, сильны противоборствующие ветры. У каждого — свои герои, праведники, мученики. Свои предатели и подлецы...

Вы тысячекратно правы, пан Чижевский, прославляя польскую отвагу военных лет. Все, что я узнаю, подтверждает вашу правоту. Военное пятилетие Польши не только в памяти и книгах. Оно на обелисках и мемориальных досках с перечнями расстрелянных.

Неподалеку отсюда в деревне Бохотница один из таких обелисков. На нем имена польских детей, уничтоженных при карательной акции.

Хорошо, что поляки этого не забывают. Как не забывают и охраняют кладбища советских солдат разных национальностей. Юлиан Тувим утверждал: людей объединяет не кровь, текущая в жилах, а кровь, текущая из жил.

Я сказал:

— Ни у кого нет оснований для «только мы»...

Ни у больших народов, ни у малых. Не одними победами красны многовековые летописи. Вам ли, магистру, того не знать? Утверждая обратное, приходится идти на обман. Без обмана (умышленного при знании, неумышленного при неведении), без подтасовки не удержать свое «только мы». Никому не удержать. Ни полякам, ни русским, ни украинцам, ни евреям, ни казахам.

Вы упомянули Власова. Не станем спорить по принципу: «А сами-то», избавьте меня от необходимости напоминать о тех, кого не грех назвать «польскими власовцами». Были и такие...

Но что ждет человека, держащегося за «только мы», после того как узнает: среди соплеменников попадались предатели своего народа, изменники, палачи?

Она кажется мощной, формула «только мы», в действительности шатка, хлипкая. Ее сберегать во мраке, играя на слепых инстинктах. От света она тает, рушится, как сегодняшние льдины на Висле.

Тезис «только мы» опасен, прежде всего для собственного народа, ибо шовинистически противопоставляет его остальным, обособляет. На что мощно был оснащен девиз: «только мы, немцы», а куда привел? При «только мы» похмелье неотвратимо. Разница лишь в сроках и формах.

Проповедник исключительности своей нации со знаком

«плюс» должен быть готов к тому, что иные к этой исключительности приспособят «минус». Иронична диалектика национализма.

Никогда никого не довел он до добра — разобщающий девиз «только мы».

До чего упоительно повторять его, сознавая свое над всеми превосходство. А попробуйте-ка подняться над пьянящим национальным самодовольством, честно себе ответить, взвешивая каждую победу: правая или нет, высока ли, чиста цель, чтобы оправдать потери?

В пору царских расправ над варшавскими повстанцами находились русские люди, предпочитавшие участь поверженных поляков судьбе побеждающих соплеменников. Случались «национальные» виктории, от которых не к ликующей толпе, а в петлю. Конечно, человеку, способному в час военного триумфа или торжествующего упоения мезью отринуть «только мы», понять: «только» — фальшивое, а «мы» — липовое. Липовое потому уже, что далеко не всегда, не всякая национальная идея объединяла всю нацию, преодолевая противоречия классов, взглядов, побуждений. Тут уже потребно было мужество. «Только мы» — это и тюремная решетка для несогласных, и змеиное шипение обывательской черни, неизменно уверенной в своем превосходстве над каждым, у кого другие мысли, другой язык, другой цвет кожи или волос...

Народ польский дал одну из самых прекрасных таких личностей — Иоахима Лелевеля, провозгласившего: «За нашу и вашу свободу!» Как и великий немец Карл Маркс, он знал, что не может быть свободен народ, угнетающий другие народы. Славя декабристов, проводя в изгнании «пестелевские торжества», Лелевель поставил на сцене шесть покрытых трауром стульев. Напоминание о пяти русских и одном поляке, сложивших головы в борьбе с самодержавием. О поляке этом, Шимоне Конарском, Лелевель сказал: «Ты проповедовал братство без различия сословий, вероисповеданий и национальности».

Величие народа, нации, страны не в «только мы», когда прочие выглядят хоть на вершок, да ниже. Но в способности сострадать, помогать, учиться.

Что ждало бы нас, когда бы каждый народ упорствовал в своем «только мы»? Как выглядела бы прежняя история?

Неужто она учит нас лишь тому, что ничему нельзя научиться.

В сложное время мы с вами живем, пан Чижевский, хватает на нашу долю задачек. «Только мы» — услада, но не помощь, когда приходится делать выбор всерьез, определяя, где ты, с кем.

В пестрой многоликой толпе, захлестывающей улицы современных городов, в мелькании лозунгов, протестов, призывов, воззваний, проклятий и приветствий, уж коль выбирать, то мне ближе молодые американцы, собиравшие деньги на госпиталь для вьетнамских детей, тель-авивские студенты с плакатами: «Мы — арабские беженцы!»...

Дело, в конце концов, не в личных наших воззрениях, пристрастиях. Но в могилах — польских и русских, крови, пролитой на земле, по которой мы с вами шагаем, в будущем вашего сына, ровесника многих, лежащих здесь.

Однако и в личных воззрениях тоже.

Согласен, пан Чижевский, мы с вами не решающая инстанция в национальном вопросе, одном из самых сложных и мучительных на земле, не специалисты-теоретики, но давайте хотя бы не запутывать еще больше.

В том, что мы пишем, умышленно либо не умышленно, присутствует наше «только мы» или «не только». И оседает, и садится, и делает свое — доброе или недоброе — дело.

Признаюсь как автор редактору: вы помогли мне увидеть новую грань санокского эпизода, еще раз оценить благородное самоотвержение польских медиков. При «только мы» кто станет жертвовать собой ради тех, кто не «только»? Это ведь не просто взгляд, но определенная психология, линия поведения — злосчастное «только мы».

Не знаю, как принял бы мою речь пан Чижевский, произнеси я ее.

Почему я промолчал, почему шел по смеркающемуся Казимежу, слушал, не переча, спутника да глухой грохот льдин на Висле?

Возвращаясь мыслью к пану Чижевскому — он покинул «Дом прессы» после уикэнда, — подыскивая все новые ему возражения, я старался объяснить собственную немоту в тот запомнившийся вечер, когда тронулась Висла.

Во-первых, был захвачен врасплох, не сумел сразу собраться с мыслями, выложить факты, контрдоводы. Не

привычка ли это после драки махать кулаками, выкладывать свои аргументы давно уехавшему и благополучно забывшему о споре собеседнику?

Во-вторых, Ежи Чижевский настиг меня в тот момент, когда после старого кладбища над Вислой с могилами четырнадцатого года и нового, с плитами сорок четвертого, я пребывал во власти чувства, которое при переводе на слова звучало бы примерно так: «только русские»... Нет, я этого не формулировал и, не будь пана Чижевского, не заподозрил бы себя. Но вдруг, однако, зашевелилось чувство, на которое — говорю не только с полной убежденностью, но и с сознанием своей вины — не имеет права никто, никогда. Даже минуту.

В-третьих, боялся задеть за больное, обидеть человека, откровенно выложившего то, что у него на душе. «Только мы», подумал я, пытаюсь объяснить, но не оправдать Чижевского, может стать результатом национальной травмы. Кто поручится, что он мальчишкой не слышал, как пьяная немецкая солдатня горланила: «...если польская кровь брызжет с ножа, то дело идет хорошо», или: «...пусть поляки идут к чертям, поляки — это навоз». Были времена, когда распевались такие песенки. Легко ли забыть, легко ли удержаться от, казалось бы, берущего за все реванш, столь обманчивого и соблазнительно коварного «только мы»?..

В этих записках изменена фамилия моего собеседника — магистра, журналиста и редактора.

СМЕРЬ «ЭМИЛЯ» (КШИШТОФА КАМИЛА БАЧИНСКОГО)

На одной из казимежских плит начертано:

«Дроздов Ф. А., род. 1908 г. Петренко Ф. Цимбал Ф. А. Зварунов Н. К. Обиженко М. Д. Кончевич В. Кравен И. и 50 неизвестных воинов Советской Армии, павших в боях 4. VIII 1944 г.»

4 августа сорок четвертого. В тот день, когда южнее, в Саноке, погибли Носок И. Д. и Уткин Ю., прямым попаданием убит Оселков В. Осколком того же снаряда ранена Камышлова. Когда возле домика над Саном два в упор пушечных выстрела разнесли редакционный автобусишко и погиб лейтенант Василий (фамилия неизвестна).

Неразрывно сплелось: четвертое августа, Санок, наша сто сороковая. Но я ехал по польской земле, и нанизывались неожиданные звенья, новые имена, меченные той же датой: 4. VIII 44.

Раздвигались — докуда все-таки? — границы рокового дня — одного из столько вместивших дней давней войны.

Вернувшись из Казимежа в Варшаву, я поспешил к Чеславу Сенюху — удалось ли разузнать насчет доктора Мариана Киляра? Адрес Сенюха — Сенаторская, 30. Прежде я шел к нему через площадь Дзержинского. Сегодня через Театральную.

На углу Сенаторской улицы и Театральной площади с мраморной доски ударило в глаза:

4 августа 1944 года,
Кшиштоф Камил Бачиньский

Перед поездкой в Польшу я перелистал антологию «Современная польская поэзия», запала строчка: «Слишком трудно возвратиться к вам живыми». Строчка всплыла на Санокском кладбище, когда вспомнились погибшие 4 августа 1944 года. Как могло прийти в голову, что сочинивший ее — Кшиштоф Камил Бачиньский — пал в тот же день на Театральной площади восставшей Варшавы?

Еще одно совпадение на дорогах в прошлое, где останками стали имена.

Он твой ровесник, Кшиштоф Камил Бачиньский, родившийся в 1921 году. Как и не вернувшиеся с войны друзья твоего московского детства Валя Соловьев, Слава Алавердов, Жора Григорьев, он кончил школу в июне тридцать девятого. У него, подобно вам, впереди — война.

Но не увлекайся параллелями. То была Польша 20—30-х годов. Ветры, пронесившиеся над ней, вихрем врывались в интеллигентную семью, где рос Кшиштоф Бачиньский.

Мечтательная, восторженная, склонная к мистицизму мать. Отец — офицер, человек нрава крутого, настроенный более чем радикально, безбожник. Вскоре он порвет с армией, затем — с семьей. Отдастся любимому занятию — литературоведению, критике, будет сочувственно писать о советских произведениях¹, станет профессором

¹ В начале тридцатых годов Станислав Бачиньский, отец Кшиштофа, писал: «Современная советская литература являет собой самый интересный

Виленского университета, неодобрительно отнесется к стихотворным опытам сына, слабого здоровьем комнатного мальчика, на которого не надышится мать.

Маленький Кшиштоф меняет литературных кумиров. В конце концов определился любимый поэт — Рембо. Но это все же легче, чем найти себя. Ему метаться. До последнего часа.

Поэзия или борьба? Еще в школе надо решить, чему отдать предпочтение.

Кшиштоф за пэпээсовцев, исповедует социализм, в левой школьной организации «Спартак» принимает кличку «Эмиль»; она сохранится и в годы Сопротивления.

Но от стихов он все же не отказывается. Зачитывается античными поэтами, переводит Горация.

В «Спартаке» — политические схватки, пропагандистские задания. В стихах — вычурные строчки, надзвездная любовь.

Оккупация. Антифашистское подполье, железные формы боевой структуры. Кончив школу подхорунжих «Агрикола», Бачиньский, как и отец, не жаловавший армию, получает воинское звание и унтер-офицерскую должность, хотя на экзамене удостоился «двойки» по топографии. Не любивший оружия, становится стрелком — и отличным. Подчиняется суровой дисциплине, но не приемлет националистических перехлестов.

Его солдатская служба началась в штурмовом батальоне АК, носившем условное название «Зоська», компания (рота) «Рыжий», плютон (взвод) «Алек»...

Прочитав это место в биографии Бачиньского, я остановился. Откуда знакома структура аковского батальона — «плютон», «компания»?

Тогда, 4 августа, мне толковал о ней лейтенант Василий. В одном с ним плютоне был санокский пацан Стасик...

В оккупированной Польше, в условиях конспирации, Кшиштоф Бачиньский отстаивает свои взгляды. В прогрессивной нелегальной «Дороге» ведет полемику с журналом «Искусство и народ». Учится на подпольных литературных курсах Варшавского университета.

и плодотворный эксперимент в истории культуры. Ее новаторство состоит прежде всего в стремлении создать на почве новой действительности соответствующие ей стиль и новые эстетические критерии».

В стихах, любовной лирике пытается забыть кошмары оккупации. Но нужны — просят товарищи, настаивают командиры — песни, бодрящие дух. Он сочиняет, стараясь не изменить себе. Одна из песен — «Барбара», о той, которая стала его женой.

Свадьбу сыграли в июне 1942 года. Ярослав Ивашкевич вспоминает: костел на Висле, пышные букеты. Жених и невеста настолько юные, что это походило не на свадьбу, а на первое причастие.

Они имели общий экслибрис, Барбара и Кшиштоф Бачиньские: будто детским карандашом выведенный олень с рогами, подобными лире.

Снимок спустя месяц после свадьбы. Барбара в легком летнем платье, с букетом полевых цветов, на плечах у Кшиштофа — оживленный мальчуган, его двоюродный братишка. Но невесел, исподлобья, взгляд молодого Кшиштофа, скорбно опущена голова Барбары, цветы в ее руке кажутся похоронными. Война, подполье, угроза смерти.

Кшиштоф это все время ощущал: «Слишком трудно возвратиться к вам живыми», об этом многие стихи:

*...Это трудно — жить без собственного счастья,
только счастье героизма воспевая.*

Несмотря на молодость, получил быстрое признание и у сверстников, и у поэтов старшего поколения. Подпольные власти — более чем кстати — установили ему постоянную пенсию. Практичностью Бачиньский не отличался, тем паче в оккупированной Варшаве.

Выдавался час, свободный от военных и подпольных обязанностей, — садился за письменный стол. Писал много, жадно, не веря в будущие досуги. Печатался в различных подпольных изданиях, в антологиях «Независимая песня» и «Настоящее слово» — вместе с Броневским, Тувимом. Антологии эти — духовное сопротивление польской культуры нацистскому порабощению. Нелегально вышел сборник Бачиньского «Весна 1942», в типографии отца Барбары собственноручно набрал свою поэму «Молитва». Рукописи прятал у надежных друзей.

В послевоенной Польше изданы два тома Бачиньского: стихотворения, проза, драма.

Статья Ярослава Ивашкевича называется: «И торопился писать!»

Они познакомились в сорок первом, маститый Ивашке-

вич и двадцатилетний Бачиньский, осененный сенсационной славой.

Внешность у Бачиньского обычная, вспоминает Ивашкевич, необычны только пылающие голубые глаза. Кшиштоф читал спокойно, отчетливо, скромно. Ивашкевич упрекнул в чрезмерной традиционности, а также экзотичности. Но Бачиньский умел постоять за свои стихи. Из робкого мальчика, выступающего перед метром, сразу превратился в сознающего собственные силы поэта.

«Я видел: это — поэт, натура, не похожая (а может быть, похожая) на меня. Мы не поймем друг друга. Но мне нравилось, как он защищает свои стихи, как забывает о недавней застенчивости».

Понравилась Ивашкевичу стихотворная техника, отсутствие модного авангардизма. Написанное Бачиньским позже было ему больше по душе.

Человеческая характеристика, данная Кшиштофу Ивашкевичем: замкнутый, не стремится к сближению, серьезен, деликатен, терпелив, натура волевая, но не давящая своей твердостью...

Чем дальше, тем больше конспирация отрывала Бачиньского от поэтической среды, вводила в партизанско-армейский круг. Последний раз Ивашкевич видел его 23 апреля 44 года. «Он показался мне более серьезным и грустным, чем всегда».

Назревало Варшавское восстание, надвигался час, которому суждено было стать для Бачиньского последним.

Об этих днях Кшиштофа немного свидетельств. Збигнев Чайковский — из числа повстанцев, кто вел тогда дневник. Первое августа, второе, третье, четвертое...

Подхорунжий Бачиньский — заместитель командира plutона. Командир часто опаздывает либо отсутствует. Кшиштоф возглавляет взвод (плутон).

«1 августа. ...Стрельба. Началось восстание. Кшиштоф: «Без команды шума не поднимать. Не выдавать себя преждевременно. Ждать развития событий».

Чайковский описывает неразбериху, нелады со связью внутри повстанцев — и спокойное самообладание Бачиньского.

«Закашлял репродуктор: «Говорит военный комендант Варшавы. Город на осадном положении. Никто не смеет покидать свое жилье. Дома, из которых стреляют, сровняем с землей. Их обитателей расстреляем».

Текст повторяется по-польски. Значит, радиочентр не захвачен... Кшиштоф настаивает на присоединении к какому-нибудь подразделению, затем — пробиться к своим. Взвод Бачиньского оказался в изоляции, был оторван от своего батальона, имевшего кодовое название «Парасоль» (то есть «Зонт». — В. К.). Он старший по званию и должности, он — наш командир. Кшиштоф расстроен — не попрощался с женой, уходя из дома.

2 августа. С утра началась стрельба со стороны дворца Бланка... Выскакиваем во двор. Кшиштоф распахивает ворота. По улице бегут наши с красно-белыми повязками. Вооружены плохо: пистолеты, карабины, бутылки с горючей смесью. У кого-то в руках сабля. Как в 1863 году. Командует молодой подпоручик. Кшиштоф просит принять нас в его отряд. Принимает, но дать оружие не в состоянии — лишь повязки и бутылки с горючим... Отряд атакует дворец Бланка. Мы в головной группе. Подвалами выходим к дому на углу Сенаторской и Театральной. Кшиштоф взбежал по лестнице на третий этаж. Взламываем дверь квартиры, открываем огонь из окна...

В бою за дворец я потерял Кшиштофа. Встретились позже. Двинулись к ратуше.

3 августа. Я ранен в локоть. Видел Кшиштофа. На нем не куртка — сплошные лохмотья.

4 августа. Кшиштоф бьет из охотничьего штуцера. Раздобыл во дворце Бланка. Больше я его не вижу...

Вечером хороним погибших. Во дворе вырыта яма. Приносят тело, накрытое бумагой. Когда кладут в гроб, я вижу разбитую голову и на куртке значок «Агрикола» — школы подхорунжих. По нему опознал Кшиштофа. Могилу быстро закопали. Спели гимн. Капитан произнес несколько слов... Бумажник Кшиштофа взяла женщина — начальник санитарного пункта в ратуше. Не знаю ни имени ее, ни псевдонима¹.

¹ Существует версия, несколько отличная от той, какая дается в дневнике З. Чайковского, но косвенно подтверждающая ее. В биографической справке Бачиньского в антологии «Современная польская поэзия» говорится: «Убит в бою 4 августа 1944 года, на четвертый день Варшавского восстания. Останки его были раскопаны среди руин лишь в январе 1947 года и, опознанные матерью поэта, захоронены в братской могиле на военном кладбище Повонзки в Варшаве. На могильном камне высечен фрагмент из стихотворения Бачиньского».

Насчет братской могилы не совсем точно. Я был на кладбище. Они похоронены вдвоем, Барбара и Кшиштоф Бачиньские. Далее верно — стихотворный фрагмент на черном граните.

Барбара Бачиньская погибла 1 сентября 1944 года. О смерти мужа не знала.

К сентябрю жара пошла на спад, с севера, с Балтики, потянуло прохладой. А в начале августа в Варшаве было почище, чем в Саноке. В пыльном зное, удушливой гари многострадальный город истекал кровью, припадал к Висле зачерпнуть воды теплой, что «свеже млеко».

«Свеже?» — переспросил я. Да, да, «свеже». По-польски — это парное.

...На Балтике декабрь от века холоден. В сорок первом был и вовсе лют. Молодой лед укрощал темные волны Финского залива.

При чем Балтика, почему вдруг Финский залив, если я иду по варшавской улице, носящей имя Кшиштофа К. Бачиньского?

Такой же табличкой обозначена в Кронштадте улица Алексея Лебедева. Поэта, штурмана подводной лодки...

Как и Бачиньский, он стихами прощался с женщиной, предугадывая свой конец. Так же твердо, не сгибаясь, шел ему навстречу.

«Подводная лодка Лебедева лежит где-то около Голланда, и глубинное течение шевелит над ней гибкие водоросли. Лебедев погиб в ночь на 3 декабря 1941 года. В ту самую ночь, когда я возвращался в Ленинград с полуострова Ханко, когда наш корабль, подорвавшись на трех минах, бесшумно сел на «банку». Лебедев шел охранять нас».

Это вспоминает один из нас, вернувшихся, поэт Михаил Дудин, об одном из невернувшихся, поэте Алексее Лебедеве...

Перед мемориальной доской на углу Театральной и Сенаторской я почувствовал с такой же внезапностью, как на санокском кладбище: это нам на роду написано — бесконечно возвращаться в войну, с которой однажды вернулись. Написано самой войной. Случайность встреч — кажущаяся. Пересечения закономерны.

К Кшиштофу Камилу Бачиньскому я пришел из Санока, от нашей сто сороковой. Благодаря ему, трагический августовский эпизод на юго-востоке Польши сомкнулся в моем сознании с трагедией восставшей Варшавы.

4 августа — пик Варшавского мятежа. Побеждена неуверенность первых дней, захвачены важные опорные пункты.

4 августа — канун немецкого контрнаступления, массированных атак на Волю, расстрела 50 тысяч варшавян...

И в маленьком польском городе, и в залитой кровью столице явило себя величие человеческого духа. Скромным деянием санокских медиков. Стихами и смертью повстанца-поэта.

Тут — новое пересечение. Судьба Кшиштофа Бачиньского сливается с судьбами стихотворцев, павших в битве с фашизмом. Он с ними — испанцем Гарсиа Лоркой, болгаринем Николой Вапцаровым, немцем Эрихом Мюзом, югославом Иваном Горан Ковачичем, французом Робером Десносом, нашими — Алексеем Лебедевым, Николаем Майоровым, Михаилом Кульчицким, Павлом Коганом, Миколой Шпаком, Мусой Джалилем...

«...И СПРАВЕДЛИВОЙ СПРАВЕДЛИВОСТЬ»

Чеслав Сенюх победно потирал руки, оглаживая бороденку.

— Для радио нет преград. О'кэй! Все мечты сбываются, пшиатель.— Он щурился от удовольствия, от дыма, валившего из трубки.— Имел высокую честь беседовать с паном профессором, паном полковником Марианом Кияром...

В голосе Чеслава пробуждалась корабельная медь, как если б он оповещал кинозрителей о спуске на воду очередного корабля в Гданьской судовой верфи. В нем просыпался диктор, голос был несоразмерен с маленькой комнатой на Сенаторской улице. Но какое это имело значение!

Благодаря Сенюху доктор Кияр переставал быть загадочной, мифической личностью, обретал конкретность, телефон и домашний адрес: Белосток, Липова, 43, кв. 4.

Профессор Кияр обещал Сенюху при первой же возможности навестить в Варшаву, повидаться со мной.

— Слово джентльмена — в Польше есть еще джентльмены! — басил Чеслав.— Не пройдет и двух недель, как состоится историческая встреча в верхах. Немножко терпения, дорогой гость, немножко вольной жизни в прекрасной Варшаве...

Мы ли ловим ускользящее прошлое? Оно ли неотступно преследует нас?

Не случилось мне видеть в Польше переполненные кинозалы, хвосты у касс. Но у «Релякса» — широкоформатного, стереофонического и т. д. кинотеатра — я толкусь третий день, чтобы попасть на сеанс. Люди рвутся на японо-американский фильм «Тора, тора, тора» («Тигр, тигр, тигр»).

Ни любви в нем, ни детектива, ни обнаженных красоток, ни ошеломляющего монтажа. Бесстрастность кино-Несторов XX века. Документальный педантизм им милее сюжетных соблазнов. Беспристрастность, возведенная в абсолют: лента о японском нападении на Пирл-Харбор («Тора, тора, тора» — сигнал атаки) снимается совместно японцами и американцами. Японская тема: потаенная подготовка и сокрушительный натиск. Американская: беззаботное благодушие и отчаянность обороны. Кадры чередуются с невозмутимой объективностью. Японский штаб — американский, японский крейсер — американская база, обед в кают-компании японского корабля — ужин в американском офицерском ресторане. Будто некто, стоящий над схваткой, отмеривает куски из двух коробок, проверяет метраж и подклеивает, убедившись, что куски совпадают протяженностью. Ни малейшей привилегии никому.

Противники военных лет едины в сегодняшнем стремлении к беспощадно полной достоверности. Соревнуются в дотошной непристрастности к собственной стране, армии. То, что поддавалось украшению (скрытная выверенность японского удара, трогательная беспечность американских офицеров и дипломатов), — объект обвинения. Тем более сурового, что обвиняют соотечественники, срывая флер возможной романтики. Не восхищайтесь осведомленностью и пронизательностью японского штаба, — за ними самодовольная тупость военщины, хмельная вера в первый триумф, а там — хоть трава не расти. Не умиляйтесь благодушием американских чинов. Это безответственность, неумение извлекать уроки из недавней истории — менее полугода назад гитлеровская Германия взломала советскую границу.

Японский штаб скрупулезно наносит на схемы и карты разведанные, полагая, будто гарантирует себя от любых военных сюрпризов. Американское командование пренебрежительно отмахивается от разведсводок назойливого офицера, доказывающего: до вражеского нападения — считанные часы. Какое там нападение, какая там еще

концентрация японского флота, когда политический пасьянс, разложенный в американском офисе, не вселяет тревоги!

Японские крейсера разводят пары, заправляются японские самолеты, перед каждым пилотом контур американского корабля, который ему надлежит поразить. А командующий американской базой спешит на гольф, молоденькие офицеры отплясывают в дансинге.

На той и на другой стороне попадают люди, видящие, к чему клонятся события. Но не им задавать тон. Все предопределено. Запоздалое подтверждение не приносит и минутного удовлетворения. Слишком велика цена.

Примерно половина с размахом и исторической дотошностью снятой картины, длящейся сверх трех часов,— бой.

И драматический бой этот и все, что его предвещает, держит не просто в зрелищном напряжении. Держит за горло. Никакой искусно развернутый сюжет не обладает воздействием, равным непреложным фактам войны.

Армада японских бомбардировщиков в боевом строю. Солнечное небо. Пасторальные облачка. Внизу — зелень мирных островов.

Это их собрат, немецкий разведчик, выплыл под низким сентябрьским небом. Небом Москвы того же сорок первого. Над Петровскими воротами — к Пушкинской площади...

Позже, в октябре, ноябре, когда гитлеровские аэродромы подтянулись в Москве, поднимавшиеся с них самолеты, бывало, облетали столицу средь бела дня. Уже в декабре такое раздолье кончилось.

Но намертво вклинился в память именно этот — один-единственный сентябрьский; за ним мы следили вместе с Тадеушем...

Японский летчик на бреющем полете длинными пулеметными очередями прошивает американский ангар. Американские истребители вырывают на взлетную полосу и разлетаются в куски от прямого бомбового попадания.

Потная черная спина. Нерп прирос к крупнокалиберному пулемету. Белый матрос целит из винтовки в японский бомбардировщик. Двум американским пилотам, почти мальчишкам, удаётся поднять самолеты в воздух.

И два японских бомбовоза с растянувшимися из конца в конец экрана дымными хвостами падают в море. Летчик-японец предсмертным усилием направляет пылающую машину в ангар...

Фильм «Тора, тора, тора» не оставляет и щели для иллюзий, для симпатии к тем, кто наносил удар, и к тем, кто, не предусмотрев, проморгал его.

Противники развенчаны. Воздается должное жертвам. Однако нестораживает ли этот невозмутимый, уравнивающий объективизм?

Кинематографисты двух стран, как видно, неукоснительно следовали фактам. Через тридцать лет зрители другого полушария оцепенело наблюдают трагедию тихоокеанского острова.

Люди жаждут правды. Они ее, кажется, получают, присутствуя в кинозале.

Объективность? Превосходно.

Но общая скамья уравнивает подсудимых.

А напрасно. Неодинакова степень вины, различны статьи обвинения. Когда «все хороши», не найдешь виноватого.

Слов нет, отрадno подняться над мелочами и пристрастиями. Только не слишком высоко. Чтоб не стерлись границы...

У истоков «Тора, тора, тора» стоял Акира Куросава, японский режиссер, прославившийся «Расёмоном», «Идиотом» (по Достоевскому), «Семью самураями», «Красной бородой» и другими лентами, обошедшими мировой экран. Начиная и бросил, рассорившись с американской кинофирмой. Не пожелал даже видеть завершённый без него, после него фильм.

Я читаю интервью с Куросавой, статьи о нем, надеясь узнать, из-за чего все-таки он прервал тогда работу. Хочется верить: Куросаве не безразлично, кто правый — пусть безусловно, кто виноватый — пусть и соотечественник, кто с чем идет к людям, что несет им. Потому, быть может, и снимает сейчас давно вымечтанную картину про арсеньевского Дерсу Узала.

...Определяя зыбкую порой, ускользающую границу между добром и злом, мы ищем примеры (юрист сказал бы «прецеденты») в прошлом, когда само удаление, наш

новый опыт приходят на помощь, позволяя воздать каждому, что он заслуживает.

Но ни расстояние, ни опыт не одаряют невозмутимой бесстрастностью. Особенно когда о судьбе своего народа, о фактах, ставших историей, но еще саднящих, отдающих болью. А подчеркнуто холодная объективность — тоже роль, внушительная и расчетливо выбранная.

Всякий раз, коль о крови, желательна определенность. Кем пролита? По чьей вине? При каких обстоятельствах? Определенность не только деталей, но и подхода, даже тона. В широко снятом фильме и в неожиданно спетой песне.

После «Тора, тора, тора» мне вспомнился случай с одной песней.

Мы с паном Влодеком неторопливо ужинали в санокском ресторане при Доме туриста.

В полупустой зал ввалилась шумная компания. Влодек, глянув в окно, восхищенно зацокал языком: хороши машины — «фиаты», «рено», «фольксвагены», один «мерседес». Номера не Жешувского воеводства, приехали откуда-то издалека.

Сдвинуты столики, поспевают официантки, оживились музыканты в углу на эстраде.

Долговязый, причесанный на пробор мужчина, видно закоперщик (поляки в таких случаях говорят, кажется, «фундатор»), бросив на спинку стула пиджак, отпустив узел галстука, громко заказывает «люксову», «соплицу», джин, бренди. Да побыстрее, пожалуйста, повеселее. Свет пусть приглушат, оркестрик пусть сменит пластинку.

Все громогласно, с каким-то не свойственным Польше купеческим размахом (может, свойственным, просто мне не доводилось видеть чертогон по-польски).

Когда все уже в подпитье — одни танцуют, другие поют, а оркестр сам по себе, поднимается долговязый с пробором, хлопая в ладоши, требует тишины. Шатаясь, пробирается между столиками к эстраде.

Оркестр начинает «Маки на Монте Кассино». Компания подхватывает вразнойой. Кто со слезой, кто с дурашливой серьезностью, кто с пьяной бессмысленностью.

Чувствую, что-то происходит с Влодеком. Закушена губа, пот на бледном лбу.

— Идемте, очень прошу, идемте...

На лестнице ловлю отдельные его слова: «хандлевцы», «с курвы сыны...»

Назавтра, чуть смущенный, пробует объяснить.

Почти три десятилетия назад, тараня немецкую «линию Густава» и открывая союзникам путь на Рим, второй польский корпус потерял при Монте Кассино около четырех тысяч.

— А эти, эти...

Его снова охватывала ярость. Приглушив ее, махнул рукой.

Пурпурные маки, выросшие на крови Монте Кассино,— тоже «Цветы Польши». В носящих это название стихах Юлиана Тувима есть строчки об исконном смысле слов:

Словам, скотами загрязненным
И подлецами извращенным,
Верни их смысл, верни правдивость,
Пусть будет впредь закон законным
И справедливой справедливость.
Пусть же правда перестанет
Быть песен, сказок, снов уделом...

(Перевод Н. Чуковского)

К нему бы прорваться, к этому смыслу, не играя в мнимую (иной ей быть не дано) беспристрастность, не поддаваясь сентиментальности, хмельному кощунству, национальным перехлестам.

ПРИ ОДНОМ НАВЕКИ НЕИЗВЕСТНОМ
(КАФЕ «НОВЫЙ СВЕТ», 21.IV.72)

— На мне будет войсковой плащ и шляпа. У филармонии, главный вход.

Глуховатый голос. Неспешная манера произносить слова...

В пять часов у филармонии я встретил плотного, крепкого человека. Ладонь сильная, мускулистое пожатие. Ничего общего с тем, каким я его представлял, услышав по телефону голос. И вовсе не стар, как мне почему-то думалось.

— Киляр.

Наконец-то он, Мариан Киляр.

Идем многолюдной, шумной улицей. Вслушиваясь в медленную речь Киляра, думаю: это еще полдела —

профессор говорит по-русски. Пойдем ли один другого?

Кончив в сорок первом Львовский мединститут, Мариан Кияр стал врачом. И сразу — война, небывалая для молодого медика практика.

Нигде гитлеровцы с такой зловещей последовательностью не истребляли интеллигенцию, как в Польше, нигде так не ощущалась ее нехватка. Попадались — помню — городки без единого учителя, врача...

С гиммлеровской методичностью осуществлялись «директивы» по искоренению поляков, всего польского, особенно интеллигенции.

«Следует исключить сохранение какой бы то ни было собственной польской национальной и культурной жизни. Польских школ в будущем уже не будет. Следует запретить всякие религиозные службы на польском языке. Все не поддающиеся германизации элементы должны быть безусловно устранены. Красной нитью нашей политики должно быть удержание этих слоев всеми средствами на возможно более низком культурном уровне».

— Для Польши, — замечает Кияр, — интеллигенция — великая проблема...

— В одной из варшавских школ, я слышал, провели распространенную сейчас анкетизацию. На вопрос о самом уважаемом роде деятельности большинство ответило: профессор университета.

Кияру это понравилось:

— Добрый знак.

Мы направляемся к Краковскому предместью — одной из центральных варшавских улиц. Профессор Кияр ступает уверенно, по-хозяйски. Я чувствую себя гостем.

— Не возражаете против кафе «Новый Свет»?

— Не возражаю.

После освобождения Санюк Кияр во второй польской армии генерала Сверчевского. Сотни операций, однажды 72 часа не выходил из операционной. Понине в кадрах Войска Польского, начальник военной кафедры в Белостокской медицинской академии.

То ли это биография, то ли манера держаться, говорить — спокойная и твердая, но период притирки — минимальный. Полная ответственность после первых пятнадцати — двадцати минут...

Просторное, с большими окнами кафе на углу Свентокшистской...

Теперь заметно, что мой собеседник устал. Его крестьянское лицо отяжелело.

Медленно проводит рукой по седым волосам. Помешивает чай.

Мариана Кильяра не удивляют мои попытки оспутать санокскую историю. Хотя сам о ней не задумывался. Лишь телефонный звонок Сенюха вернул к далеким августовским дням. Оглядываясь на них, видит: то была вежа в его судьбе.

Он сделал мгновенный выбор, не полагая, что на годы. Поддался первому порыву, лишь позже пришло осознание.

Заготовленные вопросы, вертевшиеся у меня на языке, отпадают сами собой. Нелепо спрашивать, почему молодой доктор, рискуя жизнью, поступил так, а не иначе. Теперь это в равной степени ясно и ему и мне.

Мариан Кильяр прихлебывает чай, отламывает ложечкой пирожное. На нем гражданский костюм — вне службы польские офицеры редко носят форму, — но я без труда вижу его в мундире, еще отчетливей — в больничном халате.

Лечебной практикой занимается мало. Не удается, — лекции, административная работа, организаторская.

Нынешняя работа, и вчерашняя, и позавчерашняя — годы в армии, за операционным столом и канцелярским — задвинули вглубь санокские дни сорок четвертого. Но доктор Кильяр старательно освобождает их, будит свою память, отвоевывая час за часом, деталь за деталью, имя за именем.

Упоминает врачей санокской больницы времен войны. Однако тогда, в те именно дни, их не было.

— Выходит, из врачей оставались только вы?

Он несколько озадачен, смущен:

— Но были сестры. Особенно сестра-законница Катерина. Виделись с ней? И еще русская... Шура, нет, Валя... Низенькая, светловолосая.

Долго вертит в руках фотографию, которую я достаю из кармана.

— Скорее всего, она...

Да, переодели в гражданское. Но все-таки стремились не держать на виду, чтобы лишний раз не попадалась на глаза. Как это по-русски: «Береженого бег бережет»?

Кильяр помешивает чай.

— Сомнения, колебания... Для этого нужно свободное время, у нас его не было. Общая опасность и ответственность. Круговая порука, если угодно. Практическая и нравственная. Когда хирург находится при тяжелораненом, он не слишком думает о себе.

За широким окном, за прозрачной шторой — Варшава. Синие, черные, красные плащи. Как кавалерийские шинели, серые пальто до пят. Белые, зеленые, оранжевые машины.

Темнеющие окна скрывают пестроту улицы. Вспыхивает светофор, мелькают фары, загорается витрина напротив. Наверху завертелись в однообразной пляске круги и квадраты световой рекламы.

Вместе с профессором Киляром в очередной раз реставрирую картину. Нас поглощает неспешное движение по коридорам и лестницам тогдашней городской больницы.

Пересказываю слышанное от Марии Корнецкой и Саломеи Зелиньской, от сестры Катерины, санитаров. Он сосредоточенно слушает, осторожно уточняет:

— Раненых оставалось человек тридцать — тридцать два. Вначале положили на первом этаже. Вдруг во дворе верховой. Крикнул на бегу, сразу — смятение... Минуты — и на улице танки, бронетранспортеры немцев...

Относительно раненых в бункере больничного двора профессор не уверен. Сам туда не спускался. Подвал этот существовал как убежище. Нужда в нем оставалась и после повторного освобождения. Гитлеровцы продолжали обстреливать город с юга, били из тяжелых орудий. На южной окраине стояли «катюши». (Сестра Мария Корнецкая «перенесла» их на больничный двор.) Надо полагать, где-то там занимала огневые позиции и ствольная артиллерия — на самом уязвимом направлении.

Особенно жестокие бои под Санокom разгорелись в сентябре, когда в этом районе форсировала Сан 1-я гвардейская армия генерала А. Гречко.

Длящаяся и после вторичного прихода наших опасность держала в напряжении. Потому, возможно, кое-что сместилось в памяти.

Не то чтобы Мариан Киляр помнил больше, лучше остальных. От него исходила спокойная ясность, необходи-

мая для полного представления о санокской больнице — «шпитале» в начале августа сорок четвертого года.

Когда все заняли свои места — сестры на этажах, раненые в палатах и коридоре, возникла новая фигура: немец в больнице.

Неизбывная тревога, опыт оккупации, два лагеря под Санокком (для советских пленных и для местных жителей) — все это создало вполне определенный облик немецкого солдата. На каком бы пороге он ни вырос с черным автоматом на груди, вызывал мысль (впоследствии — память) о смерти, расстреле. Дивиться тут нечему.

Вполне вероятно, заходили солдаты с оружием, грозили, проще простого могли осуществить угрозы. Он, Кияр, естественно, не все видел. Но всего ожидал.

Потому отчетливо запомнил немецкого офицера, объявившегося в первый день, вскоре после ухода наших. Невысокого чина, что-нибудь вроде лейтенанта.

Офицер спросил холодно, тоном, исключаящим объяснения, имеются ли русские раненые.

Скрывать, считает доктор Кияр, было бессмысленно. Двух-трех вопросов достаточно, чтобы определить, кто перед тобой — поляк или русский.

— Я ответил: есть. В тяжелом состоянии. Нетранспортабельны.

Офицер задумался. Велел доктору Кияру сопровождать его. Поинтересовался возрастом некоторых раненых.

Уходя, коротко замешкался в дверях и, будто предупреждая возможные расспросы, в той же приказной манере бросил: «Продолжайте лечить!»

Приложил руку к фуражке, круто повернулся, вышел.

Гитлеровцам безусловно было не до советских раненых. Но много ли времени нужно для нескольких автоматных очередей?

— А вы не допускаете у немецкого офицера гуманных побуждений? — со свойственной ему прямоотой спрашивает полковник Кияр и пристально, испытующе смотрит на меня.

— Почему же?.. Допускаю.

Я не покривил душой, но произнес эти слова как-то отвлеченно, не вкладывая в них четкого, личного, что ли, представления. Его у меня не было. И, добавил я про себя, не могло быть.

Почему, однако?

Наступила минута, когда в этом следовало разобратся. Санокская история оборачивалась поиском не только вовне, но и внутри себя. Ждешь ясности от других, постарайся и сам быть достаточно ясным.

Пропал без вести Валя Соловьев, в балтийских волнах погиб Жора Григорьев. Потом под Уваровкой — Слава Алавердов, под Курском — Юра Таунлей. Это все — довоенные друзья-приятели: московский двор, школа на Селезневке, институт в Сокольниках. Сережа Ювенальев, Толя Юдин, Жора Вайнштейн, Шура Мостовенко, Гриша Шмуйловский, Коля Лукашенко... А сколько однополчан, тех, кто только что рядом...

Но когда впервые услышал слово «немчура», корябнуло...

Чем больше видел немцев, начиная с хмурого ноябрьского дня, когда они ватагой валили по лесу, оглашая его быстро усвоенным русским матом, и позже — на подмосковных дорогах в высоких, крытых брезентом грузовиках, в танках под Самодуровкой и Молотычами, чем больше узнавал, вплоть до рассказа украинских девчат в Освенциме, до пятизначной татуировки на безжизненной руке, тем однообразнее становился облик солдата с черным автоматом.

Но когда все «хороши», то не найти правых.

А ведь и они были.

В парашютно-десантную бригаду входил интернациональный батальон (он так и назывался), в 140-ю дивизию прибыли члены комитета «Свободная Германия». Один остался в дивизии (красноармейская шинель без погон, рыхлое, доброе лицо с постоянной улыбкой), обращался по радио к соотечественникам, погиб в Карпатах.

Были, существовали. Но где-то в стороне, вдали от тебя...

— Допускаю,— повторил я,— допускаю, товарищ Килляр.

Доктор расслабленно откинулся на спинку стула.

— Для меня наступила минута решения... Для него тоже. Но ему принять такое решение во сто раз труднее. Для медика лечить — обычно. Для него приказывать лечить раненого противника — идти против течения. Подобный гуманизм вермахту несвойствен. Исключала сама атмосфера... Представьте себе, ко мне приходит следом другой офицер, обнаруживает советских раненых и устанавливает: кто-то из его коллег разрешил их лечить... Нетрудно догадаться, что ждет коллегу...

С самого начала меня интригует это место санокской хроники. Полковник Самуэльсон склонен объяснить его непрочностью положения немцев в Саноке: «Что касается «активности» немцев в гор. Санок, то им было не до нее. Ведь они отходили под натиском нашего левого соседа, и надо полагать, что это были не основные силы противника, а его арьергард, который имел задачей удерживать город определенное время».

Полковник Мариан Кияр согласен с полковником Сергеем Григорьевичем Самуэльсоном, начальником штаба сто сороковой. Нервно, словно в лихорадке, немцы эвакуировали своих раненых куда-то на юг, не завозили в больницу, не рассчитывая, видно, долго удержать город.

Поспешность обычно подсказывала гитлеровцам самый простой вариант — расстрел.

Так что же он, немецкий офицер? Что остановило его?

В больничной, нарушаемой стонами тишине по коридору и палатам идут двое — офицер в мышиного цвета френче и врач в белом халате. Кованые сапоги стучат по изразцам. Десятки глаз следят за немецким офицером и польским врачом. От офицера зависят десятки судеб. В том числе — врача...

Мы уперлись в эту фигуру, понимая: дальше — область предположений, догадок; определенного ответа не получить.

Кончается больничный коридор. Стена. Пустота. Ничего не вижу.

Не потому только, что нет точных сведений. Трижды оправданная ненависть не возбуждает благополучной фантазии. На то она и ненависть.

В небе вертятся, сменяясь, синие, красные круги и квадраты рекламы...

Нам пора. Профессору Кияру сегодня еще возвращаться в Белосток. Дела, дела...

Посчастливится — свидимся.

В Москве я получил письмо. Мариан Кияр писал: «Я выполнил тогда свой долг поляка и врача».

А тот, навсегда неизвестный, какой он исполнил долг?

Немца и человека.

ВДОГОНКУ, ВОСЛЕД

Всякий раз после долгого отсутствия с нетерпеливым волнением подвигаешь к себе гору накопившихся писем. В одну сторону — приглашения, уведомления, поздравления. Давно миновали мероприятия («явка обязательна», «явка желательна»), благополучно обошлись без тебя торжественные вечера, юбилеи, премьеры, «круглые столы», «творческие обсуждения», «товарищеские встречи». Счета за телефонные разговоры ждали два месяца, потерпят два дня. Бог с ними, разномастными казенными конвертами. Сейчас тебе нужны другие.

Письмо из Ашхабада от Витрищука Г. Г.

«К вам обращается семья гвардии капитана Витрищука Георгия Павловича (1916 г. рождения), погибшего 21 сентября 1944 г. близ села Вислок-Вельки Санокского района.

В письме, присланном моей матери одним из друзей отца, сказано, что он погиб, нарвавшись на засаду, когда шел с бойцами на передовую позицию. Он был похоронен в селе Вислок-Вельки, а затем — в 1953 г. — в братской могиле на военном кладбище г. Санок.

В мае 1970 г. мы с матерью посетили Санок и место захоронения отца. И вот теперь от наших друзей в Санокке и в Варшаве с большим интересом узнали о вашей поездке. С волнением прочли в вырезке из польского журнала, что вы сами в чине старшего лейтенанта прошли в ту тяжелую годину по тем памятным лесам и горам...»

Это о вырезке из журнала «Пшиязнь». Я дал ему интервью не без тайной надежды: вдруг кто-то отзовется. Но чтобы из Ашхабада, такого и в мыслях не держал.

Не из польских ли знакомых Витрищука женщина, обметавшая плиты на санокском «цментаже»?

«Разрешите к вашей большой надежде разыскать всех тех мужественных польских врачей, спасших жизни нашим бойцам и офицерам, присоединить нашу скромную и, может быть, очень шаткую надежду и просьбу.

Письмо, о котором я упоминал, подписано фамилией Николая У. (видимо, Устиновича) Полетаева. Нам известно, что он 1910 года рождения, закончил военную академию. Это все. У нас имеются фотографии боевых друзей отца, в том числе та, где они стоят с обнаженными головами

и оружием на груди у его могилы. Возможно, он тоже присутствует среди стоящих. Но здесь можно только гадать.

Пожалуйста, если вам в ваших записях и материалах случайно попадалась эта фамилия, сообщите нам».

Ни я, никто из близких мне однополчан не знал Георгия Павловича Витрищука. Николай Полетаев тоже не числится в наших списках.

Я сверился с разгранлиниями: Вислок-Вельки находится вне полосы наступления нашей дивизии. Вероятно, гвардии капитан Г. П. Витрищук воевал в составе 3-го стрелкового корпуса 1-й гвардейской армии — нашего левого соседа.

Обо всем этом я написал его сыну Геннадию Георгиевичу Витрищуку в Ашхабад.

Письмо Геннадия Георгиевича подтверждало: под безымянными плитами санокского кладбища покоятся солдаты не одной лишь нашей дивизии и не только те, что погибли в августе 1944 года.

Скольким людям в России дорого это далекое, уединенное кладбище в небольшом городке на юге Польши!

Письма настигали меня, то связывая, то обрывая тянущиеся издалека линии. То отвечая на старые вопросы, то загадывая новые загадки.

Одно из этих двух писем — я узнал круглые буквы — ждало меня в Москве, другое застало еще в Варшаве. Ждавшее в Москве писалось раньше. Приведу сперва его.

«Пан не знает меня, я не знаю пана. Зачем пан спрашивает у людей в Саноке, где наш дом? Зачем нужна моя мама? Пан не знает, как ее имя, назвиско, не помнит, где мы проживали.

Но откуда пан знает, как мое имя? Почему помнит, как я была детско, имела червонные пончохи? То ест правда, такие червонные пончохи были.

Я была очень взнервована, когда одна старшая пани сказала мне про пана. Потом другие люди.

Пошла до отеля в Саноке, но пан уже давно уехал. Я попросила адрес. Администрация не хотела дать. Я была очень возбужденная и снова просила. Тогда дали.

Прошу, очень прошу пана написать письмо. Зачем приезжал до Санока, спрашивал про мою маму?

Остаюсь с уважением

Эва Ковальская

P.S. Прошу извинить, плохо пишу по-русски».

В синий стандартный конверт вложена визитная карточка: Эва Ковальская — инженер, живет в Лодзи, адрес, телефон — домашний и служебный.

На конверте санокский штемпель и дата: 20. III. 72 г.

Не предшествуй этому взволнованному письму — варшавское, я был бы порядком озадачен, и вопросов возникло бы не меньше, чем у пани Ковальской.

В Варшаве письмо Эвы Ковальской пришло накануне моего возвращения в Москву. Круглые буквы — я теперь мог сравнивать — не так плясали, как на конверте, ждавшем в Москве.

«Глубокоуважаемый товарищ!

Когда пан приедет до дома в Москве, увидит письмо от Эвы Ковальской. То я писала из Санока. Сейчас в городе Лодзь.

Почему снова пишу до пана, хотя очень трудно, смотрю словарь и спрашиваю мужа?

Тогда, в Саноке, не могла понять, для чего пану моя мама, и была очень взволнованная. Хотя ж моя знакомая Эва видела пана в Саноке и говорила, не надо быть взволнованной. Но она еще молодая и сама нервная — всегда палит папиросы...»

Похоже, Эва с накрашенными губами и сигаретой есть знакомая Ковальской. Почему же не подсказала мне? Не сразу сообразила, кого я ищу?

«Теперь я знаю, слышала по радио, что войсковые приятели пана из 140-й дивизии пехоты похоронены там на кладбище...»

Чеслав Сенюх подготовил передачу: записанные на пленку воспоминания Марии Корнецкой, Саломеи Зелиньской, сестры Катерины и профессора Мариана Киляра. Вначале я несколько слов по-русски. Варшавское радио передало санокскую историю в один из субботних дней по второй программе, в восемь тридцать утра.

«То было в месяце августе 1944 года. Тогда, правдоподобно, пан познакомился с моей мамой. Она много сделала для людей. Носила хлеб русским пленным в лагерь. У нас еврейский мальчик прятался. Потом советский партизан-парашютист.

Правдоподобно, пан хотел сказать маме благодарность...»

Не знали мы с Гороховцевым всего этого, понятия не имели. Мать Эвы Ковальской — молчаливая пани, к которой тогда случайно забрели?

Она нам ничего, могу поручиться, ничего не сказала.

«То было очень давно, пан забыл имя моей мамы, где наш дом и спрашивал на конце города про девочку Эву, которая имела красные чулки.

Моя мама уж не живет четыре года.

Я приезжаю до Санока в месяце марте, когда день смерти мамы.

Мне мило, что пан помнит мою маму. Нельзя ее не помнить.

Пан думает: то говорит всякая дочка.

О нет! Разве всякая женщина может сделать столько людям добра, как моя мама!

В нашей семье произошел один день, когда все несчастья случились. Отца моего арестовали эсэсманы. Увезли до лагеря, он пошел до печи.

Тем днем мой брат Стась (15 лет) убежал из дома, стал партизан и погиб.

Когда я вышла замуж, мама просила, чтобы мой сын имел имя — Стась.

Мой Стасик ходит до детского сада...»

Стась, Стасик... Санокский мальчонка. Лет пятнадцать... Лейтенант Василий... Немецкая граната с деревянной ручкой...

Или — совпадение?

В Польше чуть не каждый пятый — Стась...

«Мама, правдоподобно, знала, как умер Стась. Мне о том не сказала. К нам приехал из Кракова корреспондент написать про маму статью. Приходил два раза или три. Мне принес подарок шоколад. Мама извинялась, но ничего не рассказала.

У нее часто бывала боль головы, стала плохо видеть.

Она говорила тихо, мало. Только вязала. Но не умела жаловаться.

Нам было тяжело жить. По воле мамы, я получила матуру, по-русски — аттестат зрелости. Поступила в варшавскую политехнику. Когда училась студентка, маму привезли до Варшавы в клинику. Сделали операцию — опухоль мозга.

Профессор сказал, та опухоль произошла, правдоподобно, от травмы.

Когда папу арестовали, немец эсэсман очень ударил маму пистолетом.

По операции маме стало лучше. Она снова читала книги.

Я вступила в брак и поехала в Лодзь с мужем. Он любил мою маму, мы желали — пусть она вместе с нами будет.

Мама не могла уехать из Санока. Она говорила: вы молодые, надо самим.

Когда отпуск, мы приезжали до мамы, Збышек (мой муж — Збигнев, попросту, по-польски, Збышек) ремонтировал старый дом. Тот, в котором был пан в 1944 году.

Дома уж нет, на его месте другой — большой, чужой. От этого болит сердце.

Теперь пан понимает, с чего я нервничала, когда узнала, кто-то из Москвы спрашивает про мою маму?

Я не люблю помнить, говорить про войну. От нее беда, горе. Перестали жить папа и брат Стась. Потом мама.

Прошло несколько лет, опухоль у мамы началась снова. Больше делать операцию нельзя.

Третий раз пишу это письмо, все время плачу.

Имею семью: мужа и сына. То моя жизнь. Но у меня нет мамы и всегда больно.

Пан был в Саноке, хотел увидеть мою маму.

Это уж невозможно.

С сердечным уважением
Эва Ковальская

P.S. Телефонировала до Варшавы, на радио. Сказали, пан еще в Польше, дали адрес.

Мой муж Збигнев и я приглашаем пана до Лодзи. Будет приятно встретиться».

Не смог я воспользоваться приглашением. В кармане уже лежал компостированный билет в Москву...

В Москве — я забегаю вперед — мне предстояло получить еще одно письмо. К коротенькому — полстранички — письмецу идти издалека.

...Трофейный фонарик с зеленой шторкой — имелись у немцев такие, сигнальные, на три цвета — мерцал у самого моего лица. С трудом и неохотой я открыл глаза.

Валя Каплева, дежурная по госпитальному взводу, щупала плащ-палатку. Палатка была влажная, липкая. Меня это удивило меньше, чем Валю. Осколок, угодивший под локтевой сустав, задел какой-то сосуд. Выяснилось в придачу, что у меня плохо свертывается кровь.

Но так, как в ту ночь, еще не бывало, — не только плащ-палатка, но и сено под ней пропиталось кровью.

— Вставай, — приказала Валя.

— Спать хочу.

— Спи, спи. На том свете проснешься...

Я поднялся и снова лег.

— Не дойду.

— Дойдешь, братик, дойдешь, братишечка. Ты меня обхвати. Навались, не бойся. Мы, бабы, не боимся, когда наваливаются. Гора мышь не раздавит...

Чего только она не плела, заставляя меня ковылять по лесному склону.

— Посидим на пенечке. Как два голубка. И дальше.

Освещенная изнутри палатка операционной жила в ночной час неистовым накалом той поры — разворачивалось наше наступление на Орел. Носилки крепились на рогатинах, торчавших из земли. На носилках раненые, возле — врачи. А в правом углу лежали те, кто ждал своей очереди.

В операционной Валя, мгновенно лишившись мягкости и забыв о субординации, накинулась на главного хирурга:

— Что ж, товарищ майор, помирать человеку, да, помирать? Пять раз режут, осколок вынуть не могут...

— Какой осколок, почему помирать? Давайте сюда.

Когда сняли повязку, хирург на минуту задумался с занесенным скальпелем. Потом резко опустил, сделав короткий надрез.

— Держите, Валя, осколок. Подарите младшему лейтенанту на память.

И направился к соседним носилкам. Без него делали уколы, переливали кровь, туго бинтовали руку от плеча до пальцев.

Не помню, как мы с Вале́й возвращались, вообще плохо помню ее в последующие дни. Возможно, из-за слабости, а вернее — не до меня ей было, рядом лежало слишком много таких, кто мог проснуться на том свете.

Она, эта ночь, и сохранилась в памяти. Среди сохранившегося навек.

Когда наступило время воспоминаний и мы, оставшиеся в живых, принялись разыскивать друг друга, никто не мог напасть на след Каплевой. Кто-то слышал, будто она там-то. Не подтвердилось. Там-то. Нет.

Теплилась надежда разузнать что-либо в местах, где расформировалась наша дивизия. В Ивано-Франковске, куда я приехал перед Польшей, мне помогали и однополчане, и обком партии, и облвоенкомат, и Калужский райвоенкомат. Единственный итог, да и он не слишком достоверный: Валя вышла замуж за Александра Гриняева, офицера нашей же дивизии.

Вернувшись из Варшавы, я запросил Главное управление кадров Министерства обороны СССР. И — незамедлительный ответ:

«На ваше письмо сообщаю, что разыскиваемый Вами Гриняев Александр Иванович уволен в запас и по данным на 1969 год проживал по адресу: г. Ташкент, ул. Пахта, 33.

В учетных документах Гриняева А. И. значится жена — Каплева Валентина Алексеевна».

На мое письмо в Ташкент никто не отозвался. Ни через две недели, ни через два месяца. Пахта, 33, молчала.

Я прибег к помощи приятельницы, живущей в Ташкенте, попросил навести справки.

Она написала:

«О Каплевой Валентине Алексеевне я узнала вот что. С мужем своим Гриняевым А. И. она разошлась и в Ташкент вообще не приезжала. Они разошлись в Станиславе (тогда так назывался Ивано-Франковск. — В. К.), оттуда она уехала к родным в деревню и там в прошлом году умерла. В Ташкенте живет сестра мужа. Я у нее была. Она говорит, что сведения о смерти Каплевой В. А. достоверны и исходят от односельчан ее».

Неподалеку пылал истомленный августовским зноем подмосковный лес. Вялое солнце белело сквозь угарную мглу. Как в Санюке, когда мы с Гороховцевым бродили вдоль обуглившихся заборов со свежими надписями «хозяйство»...

...И ОБРАТНО

Из далекого далека дымит паровоз, за ним — длинная череда вагонов. На станциях отцепляют одни, прицепляют новые, на красных стенах товарняка мелом выводят названия городов, какие-то цифры.

В Москве возле состава засуетился туда-сюда маневровый паровозик.

До Бреста поезд шел с редкими остановками, смена бригад, заправка водой. В Бресте долгая музыка: подкатываются колесные пары, рассчитанные на западноевропейскую колею.

Затемно поезд преодолел границу. Минутно задержался на первой чужеземной станции. Поляк-железнодорожник длинным молотком стучал по колесам.

Под легким вокзальным навесом двое в прорезиненных плащах-накидках сверили часы. Один другому сказал что-то по-немецки. Тот рассмеялся. Первый бросил еще фразу, и второй вышел в темноту из-под навеса.

Во мраке за станционным зданием застыли расчехленные орудия. В лесу танки опробовали моторы.

Стоял 1941 год, самая короткая ночь — ночь на 22 июня. Товарно-пассажирский поезд совершал обычный рейс, не ведая, что едет в войну и немецкие офицеры шуточно сверяют по нему часы...

Историю эту мне рассказал когда-то старик — польский железнодорожник. Был такой состав — не был? Правда или легенда?

Поляк божился («Як бога кохам»), звал в свидетели матку боску, — все как принято. Упрямо настаивал на числе пассажирских вагонов: не четыре и не шесть, — пять. Один почтовый.

Коль правда, я сейчас качу по тем же рельсам. Но в направлении, противоположном поезду, доверчиво мчавшемуся в разверстую пасть войны.

...Сколько раз ни проделываю этот маршрут, неизменно вспоминается история, слышанная некогда от старого польского железнодорожника.

...Людно, многоязычно в вагоне — кубинцы, немцы, датчане, чехи, сенегальцы, поляки. Грохочущий ноев ковчег образца семидесятых годов двадцатого столетия.

Это в математических задачниках поезда следуют из пункта А в пункт Б. На земле они перемещаются в пространстве и времени. Пересекают реки и часовые пояса. Груз предшествующего тормозит ход. Ветер надежды убыстряет. Неправда, будто города, села, «цментажи», леса и нивы остаются позади.

За окном вагона — млечная россыпь далеких огней: улица Василя Скопенко, улица Кшиштофа Бачиньского, улица Алексея Лебедева, улица Кароля Сверчевского...

Все с тобой. Сплетаются нити, тянущиеся от далеких городов и лет. Ты — точка пересечения. И отвоеванный у времени давний день, мимолетный, словно миг, — восход солнца 4 ч. 01 мин., заход 19 ч. 22 мин., обретает необозримую протяженность.

Санок — Варшава — Москва
1972—1973

О
БЪЯСНИ
ТЕЛЬНАЯ
ЗАПИСКА

Тянуло, так и тянуло махнуть рукой. Все это — мираж, сновидения. Чужие сновидения, и мираж привиделся другому. Почему именно ты должен задавать вопросы, на многие из которых сегодня некому ответить?

Потому лишь, что ты жив, а он... Потому что где-то когда-то...

Нет такой обязанности, нет у меня такого долга.

Я столько же раз зарекался, сколько и принимался сызнова.

А если не мираж...

ДНЕВНИК

На столе россыпь глянцевых красных крошек от сломанных сургучных печатей, облепивших самодельный конверт, перехваченный бумажным шпагатом. Адреса — мой и обратный — каллиграфически выведены водянистыми чернилами, какие обычно прикрывают донышко пластмассовых чернильниц в провинциальных почтовых отделениях. Восемь замызганных тетрадей разного формата, неодинаковой толщины.

Когда я их недоуменно листал, рябило в глазах от густых строк, навалившихся одна на другую. Буквы клонились влево, а строки сползали к правому углу. В последней, самой пухлой незаконченной тетради с дерматиновым переплетом — записи, сделанные шариковой ручкой, чередовались с карандашными.

От мысли, что надо продираться сквозь чернильно-грифельные дебри, угадывать концы слов — пишуший любил сокращения, — становилось муторно.

Письмо, приложенное к тяжелой бандероли, укрепляло в желании воспользоваться обратным адресом и отфутбо-

лить тетради на Курилы, тому, кто их послал. Он, извольте видеть, считал: «Вам должен представлять интерес дневник моего бати, который являлся вашим товарищем по войне и оружию».

Не было у меня такого товарища, знать не знаю. Дневник — явствует из первой же записи — велся в мирное время, человеком, демобилизовавшимся по инвалидности. И эта манера решать за другого, без малейших оснований взывать к фронтовому товариществу, разглагольствовать о пользе «дружеской критики».

Фамилию его читаю впервые. Она отсутствует в обстоятельном, отпечатанном на гектографе списке ветеранов нашей дивизии. Справки наводить я не смею, поскольку «батя разрешает пользоваться дневником, как вы желаете, но не велел употреблять его фамилию. Последнюю волю надо уважать».

Сын, отстукавший на машинке свое послание, утверждал, будто у «бати» есть причины для такой утайки. Чтобы помочь мне, когда я воспользуюсь дневником (на сей счет он не сомневался — воспользуюсь), разрешил огласить имя отца.

Георгий Егорович. Георгий Егорович.

Прочитал я дневник за трое суток. Безотрывно. Запоем. Садился утром и откладывал поздно ночью.

Ничего невероятного в тетрадях вроде бы не содержалось. Однако изредка упрямое воспоминание, мечущаяся мысль продолжали либо нарушали пелену повседневности. Последняя, больничная тетрадь — уколы и лекарства, бесильные против мучений, медицина, беспомощная перед надвигающейся смертью. В этой тетради чаще возвращения к тому, о чем немало в первой, — к сорок пятому году и додневниковому сорок четвертому.

Но различать тетради я стал позже, перечитывая их. Тогда, при первом заходе, лишь уловил слабый свет, каким озарялись иные страницы, веру, их согревавшую, горечь, надежды. Они мне были не чужими, они, а не человек.

Я почувствовал отбрасывающую назад силу расхристаных тетрадей-дневников, которые как будто ни на что не претендовали, скромненько велись лишь для самого себя. Не содержали напутствий сыну, каких-либо назиданий и

уроков для потомства. Если с кем и сводились счета, то, пожалуй, только с собой. Но без надрыва, походя. Не счета даже — элегические сожаления.

Единственный человек, к кому предъявлялись претензии, как ни странно, был я. Претензии — слишком громко. Разве что упрек, ни к чему вроде бы меня не обязывающий.

Упрек допустимо было перевести в разряд читательских отзывов, замечаний, пожеланий и т. д. На том «закрыть тему».

Но не получилось почему-то «закрыть». Чем дольше читал, тем меньше получалось.

Мягко и настойчиво чужой дневник вторгался в мою жизнь, в мое прошлое. Именно — прошлое. Вынуждал оглядываться назад и порой вспоминать намертво забытое. Вспоминать, и узнавать, и обнаруживать связи, о которых прежде не подозревали.

Но все это не сразу, не без внутреннего противодействия возвращению.

В письме я попросил сына Георгия Егоровича прислать фотографии отца, желательно — фронтовые.

Сын — теперь на правах знакомого он подписывался «Жора» — сообщил, что у него лишь несколько снимков «бати». Они для него «дороги и священны». Но, уважая «фронттовую дружбу отцов», он в военоторговском ателье переснял три фотографии.

На первом любительском снимке компания молодых офицеров отплясывала посреди лесной лужайки. Над головой одного, пустившегося вприсядку, карандашом выдавлен крестик. С таким же успехом можно было пометить крестиком любого из офицеров, — лица их не попали в фокус. На обороте твердой рукой Жора начертил: «Минута отдыха между боями. 1943 г.».

Вторая фотография сохранила по углам следы кнопок, которыми была когда-то приколата, как объяснил в письме Жора, к «Доске почета ветеранов Великой Отечественной войны в 1970 г.». На ней — мужчина с напряженно остановившимся взглядом чуть монгольских глаз; мясистые щеки, седой пушок между глубокими залысинами, добродушная картофелина носа, твердая нижняя челюсть, дряблая складка, свешивавшаяся под ней. Бросалась в глаза асимметричность в широких, как у молотобойца, плечах.

Третий снимок — открытый гроб, почтительно окружен-

ный скорбными фигурами. Слабо прочерченный белый профиль: натянувшаяся кожа подбородка, заострившийся нос...

«Вам этих фотографий вполне достаточно», — втолковывала машинопись Жоры, уведомляя попутно, что сам он «стоит на страже государственных рубежей» и я, полагаясь на него, могу «спокойно заниматься творческой работой».

Приверженность к пишущей машинке и специфическим словесным оборотам наводила на мысль, что мой корреспондент скорее сидит в штабе, чем «стоит на рубежах». Штабная деятельность, впрочем, не менее достойна...

Я придирался к фразам, стараясь отмахнуться от Жориных советов. Формулировались они не без присущей ему категоричности. Но иные заслуживали большего внимания, чем я склонен был уделить поначалу.

Мы, размышляя капитан с Курильских островов, уважаем бывших фронтовиков, их заслуги. Но не хватит ли вам делиться друг с другом своими воспоминаниями, упиваться далеким прошлым? «Батя» этим не грешил. В минувшем его тревожило относящееся к новым дням. Это же сегодня волнует самого Жору. Желательно принимать в расчет пожелания нового поколения и т. д.

Всего сильнее резануло замечание Жоры насчет двойников. В каком-то смысле, видите ли, «батя» и я двойники, он обнаружил у нас совпадающие интересы.

Таков человек, чьи фотографии и дневники присланы с далекого тихоокеанского острова.

Человек, изображенный на фотографиях, был мне незнаком.

Но я столь жадно всматривался во второй снимок, что возникло это самое: «где-то, когда-то...»

Я входил в дневник, еще не подозревая, что меня втягивает в лабиринт. Втягивали первые же страницы.

Записи эти делались в августе сорок пятого года, во львовском госпитале. Но вспоминал Георгий Егорович другой госпиталь, где лежал годом раньше: поляки-медики тайно врачевали советских пленных, бежавших из лагерей, раненых офицеров и бойцов нашей армии.

Конечно же больница в Саноке, раненые из 140-й дивизии, укрытые поляками. Напечатанная в 1974 году моя документальная повесть о тогдашнем Саноке получала весомое подтверждение. Пусть с опозданием, но отыскался

человек, находившийся в этой больнице в тревожно-накаленные дни августа сорок четвертого. И год спустя, и тридцать лет он помнил о тех, кому обязан был своим спасением. Благодарная память не изменяла и когда смерть подкралась к его койке; врачи уже оттягивали не месяцы жизни — часы, последние часы...

Сколько раз проезжал я той зимой по Ленинскому проспекту мимо старинной ограды из чугунных прутьев, круглых тумб, мимо корпусов, желтевших вдали, за голыми деревьями скудного парка. В Первой градской умирал мой однополчанин. Незнакомый, пожелавший остаться неизвестным. И — сохранить след.

Почему все же автор дневника ни в предсмертные месяцы, ни раньше не попытался увидеться со мной?

Число вопросов росло по мере чтения дневника.

Однако, прежде чем я добрался до ответов, с непреложной ясностью обозначилось: Георгий Егорович не имел никакого отношения к санокской больнице, отродясь в ней не бывал.

Въедливо перечитывая тетради, я натолкнулся на фразу: «За окном рос густой лес, как стена, он покрывал весь склон горы».

В Санокке — лес, горы?

Но если не Санок, тогда где же? И то же самое время: август сорок четвертого. Однако не только август, но и сентябрь.

Ничего нельзя понять. Окончательно сбивает с толку это больничное окно, обращенное к поросшей лесом горе, — белый переплет, впечатавшийся в густую зелень...

Перебираю стоянки медсанбата, госпиталя, больницы, в каких довелось лежать. Горы, лес за окном? Не бывало такого. Но всплывает четко и осязаемо: распахни фрамугу, протяни руку — вот она, живительная листва, хвоя...

Другая фраза, проскочившая незамеченной в первом чтении, вовсе поставит в тупик: «В соседней палате располагались немцы, я слышал их речь и когда они стонут на своем языке».

Под общей госпитальной крышей на оккупированной земле наши и немцы? Слыхом не слыхал о таком, нигде не читал.

Георгий же Егорович писал запросто. Поразительность случившегося была им пережита. Сейчас он силился понять. Но многого не знал сам.

Меня, в повести «Возвращение» в общих чертах восстановившего санокскую историю (польские медики укрывали, лечили раненых из нашей дивизии после недолгого немецкого вторжения в город), потряс прежде всего факт, словно бы бестрепетно занесенный Георгием Егоровичем в дневник. Событие тем более странное, что случилось оно в те же дни и совсем неподалеку. В местах, где наступала наша дивизия.

«Когда пришла Сов. Армия, полковник Майсурадзе провел митинг, а командир дивизии лично вручил директору больницы и еще одному пану медали «За отвагу». Я хотел побеседовать с тов. Майсурадзе, который меня, наверно, помнил, но не смог этого по состоянию здоровья».

Арчил Семенович Майсурадзе — начальник политотдела 140-й Сибирской стрелковой дивизии, где я служил с дней ее формирования. Это как бы приближало факт. Но не даровало ясности. В Саноке митинг не проводился — наши полки уже двинулись на запад: медали полякам-медикам, к сожалению, не вручали¹.

Георгий Егорович «дружески критиковал» меня за то, что, занявшись санокской историей, я упустил другую — более таинственную и сложную.

В одном он был прав: сами по себе случаи спасения поляками советских людей (беглецов из плена, раненых солдат и офицеров) — не редкость.

Но и я вовсе не считал произошедшее в Саноке чем-то из ряда вон выходящим. Напротив, меня привлекала своеобразная обычность факта, даже будничность. «Ничего особенного», — частенько повторяли мои санокские собеседники.

Чем сосредоточеннее я читал дневник, тем больше воп-

¹ Много позже, в октябре 1978 г., я получил письмо от военного атташе при посольстве ПНР в СССР генерала дивизии И. Щенсновича, уведомлявшего, что герои повести «Возвращение» польские граждане Мариан Киляр, Мария Корнецка и Саломея Зелиньска награждены юбилейной медалью «60 лет Вооруженных Сил СССР». «Награждение это приурочено к празднованию 35-й годовщины народного Войска Польского».

росов, обступавших со всех сторон. Тем непонятнее ни на что не похожий госпиталь где-то в горах.

Мне казалось: если установить, что мы знали друг друга, встречались, все постепенно прояснится, займет свои места.

Георгий Егорович мимоходом упоминал о двух наших встречах. Первая была датирована: 4 августа 1944 года. Место: фольварк севернее Санока.

Вторая — года через четыре в подмосковной деревне Чертаново (сейчас это уже Москва).

Хотя во второй встрече мне отведена роль статиста, и не слишком привлекательная, я в надежде — неизвестно на что — цепляюсь за нее. Человека, который заинтересовал Георгия Егоровича, я помню. Не очень отчетливо. Однако помню.

УРОКИ БОЕВ ЗА ДЕРЕВНЮ ЧЕРТАНОВО

В те времена автобус от площади Маяковского до Чертаново добирался более часу. Мимо вздымающегося за глухим забором высотного здания на Смоленской. Мимо Даниловского рынка — молочницы в защитных телогрейках военных лет с пустыми уже бидонами голосовали у края мостовой. Кривыми улочками на Варшавское шоссе. Водоразборные колонки, дощатые тротуары, с палисадников свешиваются набухшие гроздья сирени, собачий лай вдогонку. Деревеньки, забытые богом и людьми церковки.

При въезде в Чертаново автобус отваливал на обочину. Не маршрутный — маршрутные туда не ходили. Армейский темно-зеленый автобус доставлял нас, слушателей военной академии, в деревню Чертаново — излюбленный район полевых занятий.

Согласно учебному расписанию, мы наступали на Чертаново и соседнюю деревню Битца. Обороняли их, окружали, заходили с флангов, сосредоточивая в роще «круглая» танки и мотопехоту.

Нам порядком осточертело бы это Чертаново, когда бы не полковник, проводивший занятия с нашим отделением. Сухонький, собранный, изящный, он воевал в гражданскую, был в Испании, кончил Отечественную в Пруссии. При своей миниатюрности не наращивал каблуки, лишь в лютые морозы надевал папаху, предпочитая ей фуражку с коротким, опущенным книзу лакированным козырьком, как на портрете Нахимова.

Благодушно скосившись, поглядывал он, как мы ежимся,

толкаемся, приплясываем в своих хромовых сапогах, трем уши. Доставал из коробки «Казбека» папиросу, разминал тонкими волосатыми пальцами с полированными ногтями

— Курите, курите,— махал он ладошкой, в то время как другие отделения, закончив перерыв, со свежими силами наваливались на Чертаново.— Кому невогугу, разрешаю опустить наушники.

В колонне, возвращавшейся в город, автобус нашего отделения двигался замыкающим и вскоре отставал. Возле чайной полковник давал шоферу команду остановиться.

— Заслужили свои «наркомовские».

По заледенелому крыльцу мы поднимались в душно натопленную комнату с плакатом «Разрушенное — восстановим» (здоровяк азартно стругал рубанком доску, веселыми кольцами змеилась стружка) и другим, военных еще лет: «Дойдем до Берлина» (солдат, присев у дороги, перематывает портянки), со столами, покрытыми несвежей, прожженной папиросами клеенкой, блюдами с засохшей горчицей. Расстегнув шинели, устраивались на лоснящихся скамьях.

Полковник раздевался, приглаживал рукой седенький пробор, доставал очки в золоченых дужках и, сохраняя невозмутимую сосредоточенность, изучал меню, надежно приклеенное к лиловым обоям.

Разомлев, мы пели песни, еще не откочевавшие в концерты «по заявкам ветеранов Великой Отечественной войны». Само слово «ветеран» только опробовалось, в широкий обиход не вошло, и уж конечно к себе мы его не применяли. Как минимум оно предполагало седину.

Чаще других почему-то пели «Рубашку».

Твоя рубашка сохнет на заборе,
Качает ветер рукава слегка.
Ты защищать страну уедешь вскоре,
Пойдешь в атаку впереди полка.

Прочувственно, со слезой в голосе выводили:

Чинить рубашку буду я с любовью.
Потом пойдет рубашка под утюг.
Носи ее, мой милый, на здоровье.
Не забывай меня на фронте, друг.

Полковник не сводил насмешливого взгляда с наших красных, растроганных рож.

— Убогий репертуар,— как-то заметил он и запел, прищурившись, отбивая ритм короткими ударами маленького кулака:

Drum,
links, zwei, dreil
Drum,
links, zwei, dreil

Раскрыв рты, мы слушали отрывистые немецкие слова, мелодию, сопровождающую чеканный шаг боевой колонны.

— Не признали? «Марш единого фронта». Научился у Эрнста Буша в Испании... Обрыдла ваша застиранная, залапанная «Рубаха».

В это полуденное время чайная была немногочлюдна. За ближним к двери столиком компания шоферов в валенках с калошами, в ватных брюках — их «ЗИСы» с невключенными моторами тарахтели под окном — била о стол и рвала на куски воблу, завистливо глотая слюну при виде шипящей пивной струи, нацеленной в наши кружки. В противоположном углу, под плакатом, устроился инвалид; наброшенная на крепкие плечи шинель, сохранившая петельки и темные полосы от погон.

Был он, этот инвалид, или воображение услужливо вырисовывало его портрет?

Откуда мне знать о костылях? Из первой тетради дневника. Львовский госпиталь, ампутация правой ноги.

Приподнятое плечо на снимке семидесятого года.

Между львовским госпиталем и таинственным госпиталем где-то все же поблизости от Санока — год, о нем как-то глухо пишется в дневнике.

Но сейчас не отвлекаться. Удостовериться в нашей второй — подмосковной — встрече.

Увижу я его в чертановской чайной — разгляжу и на фольварке у Санока...

Инвалид — он высокого роста, широк в кости — поглядывает в мою сторону. Я его уже видел. Еще в поле. Он молча приближался к нашему отделению, когда наступал перерыв.

Фигура и экипировка настолько обычны для тех лет, что мы ни в поле, ни в чайной не обращаем на него внимания. Пускай себе тянет пивко, с праздным любопытством приглядывается к нам.

Но сегодня дело принимало, похоже, иной оборот. Резким движением сильных плеч он сбросил на лавку

шинель с аккуратно пришитыми под мышками кожаными заплатами, взял черные костыли и направился к нашему полковнику.

Поди знай, что отчубучит инвалид, что предшествовало «прицепу» — кружке пенистого пива, как отзовется на немецкую песню, не ведая: она — антифашистская.

Мы настороженно ждали развития событий. Лишь полковник сохранял доброжелательную невозмутимость.

— Разрешите обратиться, — приковылял к нему инвалид.

— Бога ради, — не по-уставному ответил полковник, подвигаясь на скамье. — Прошу вас.

Инвалид остался стоять, опираясь на костыли. Тогда полковник поднялся; в знак готовности слушать наклонил седой пробор.

Хромой говорил торопливо, взволнованно. Полковник сдержанно улыбался, кивал.

Убедившись, что скандал не угрожает, мы из деликатности отвернулись.

На прощание полковник пожал руку собеседнику, стукнул по клеенке, давая нам знак: пора расплачиваться.

— А вы, майор, — он вскинул гладкий подбородок в мою сторону, — задержитесь. Товарищ хочет с вами побеседовать.

— Со мной? — изумился я. «Майора» я получил недавно, еще не привык к новому званию.

— Да, да, с вами. Доберетесь на попутных.

В недоумении я приблизился к инвалиду.

Шофера, оставив на столе куски чешуйчатой шкуры, хлебные крошки и обрывки газет, покинули чайную. Мы остались вдвоем в пустой комнате с лиловыми обоями и дремавшей за стойкой толстой буфетчицей с жирными пятнами на халате.

— Айда за мой столик, — предложил инвалид. — Пива желаешь? У нас на совесть, теплое, с отстоем. Правда, Нюрочка?

Буфетчица, не удостоив его ответом, нехотя полуоткрыла глаза и снова погрузилась в дрему.

— Головастый полковник, — заметил, по-хозяйски усаживаясь, мой неожиданный знакомец.

— Головастый, — подтвердил я.

— Не допускаешь, он желал дать свое направление вашим мыслям? Расширить их? Повернуть их, что ли?

Я повел плечами, удивленный его предположением. С чего это нам давать направление? Буш, Испания, вол-

нующе близкие лет десять назад, пребывали сейчас на периферии нашего еще оглушенного войной сознания. Пелись другие песни, и разговоры велись о другом. Что ж, всему свое время. В нужный момент отдадут соответствующую команду, спустят распоряжение, и пластинка будет сменена. Возможно, с новой пластинки раздастся старая песня про единый фронт.

Примерно так мы рассуждали. Чудиле полковнику вольно оригинальничать. Высокому парню с костылями, что день-деньской торчит в чайной, не занимать досужих часов.

Я не видел необходимости выкладывать все это постороннему человеку. Он же, почувствовав, на какой тоненькой нитке держится наш разговор, счел за благо выбрать другую тему — такое, что поближе офицерам, постигающим военные премудрости, ведущим по картам и на местности бою за д. Чертаново.

— Воюете вы ловко, с флангов охватываете, с фронта лупите, заходите в тыл...

В его голосе звучало пришедшее мне по душе одобрение. Я уже был готов похлопать его по плечу. Но он, словно избегая этого, насмешливо подпустил:

— На войне бы так.

Возникла необходимость поставить его на место.

— Мольтке писал: войска делают в бою то же, что и на учении, только в десять раз хуже.

Я не был уверен, именно ли Мольтке, в десять раз или в три. Но позарез хотелось проявить находчивость, удачно ответить.

И ответил.

Чтобы спустя долгие годы, разбирая завитушки нервно пляшущего почерка, прочитать:

«Все они гладкие, сытые и очень себе нравятся. Приводят цитаты ни к селу ни к городу. Я, дурья голова, хотел поделиться с ним своими воспоминаниями. Они ему как прошлогодний снег. Не люблю, когда люди живут по инерции».

— Ты ведь в сто сороковой служил? — не то спросил, не то сам себе ответил инвалид, задумчиво рассматривая меня. Он назвал свою фамилию. — Не помнишь?

— Вроде...

— Вроде Володи, похож на жареное ружье. Ты про меня заметку в дивизионной газете писал.

— Возможно,— согласился я. Мне начинало казаться, что я вспоминаю. Но заносчивость... Вернее, то, что мне представлялось заносчивостью.— Мало ли я статейк написал.

— И то верно. По воскресеньям, когда мужики набьются, Нюрочка говорит: «Вас много, я — одна». Не обижайся. Я по-дружески. Хотя какие мы друзья-приятели!.. Встретились, а взаимного понимания нет. Не то что с полковником... Может, ко мне заглянем? Я тутошний, родился в здешних местах.

— Спасибо. В другой раз.

— Всегда уверен, что будет «другой раз»? Да что я тебя все шпыняю. Характер от одиночества портится. Женюсь — приглашу на свадьбу. Пока — давай посошок.

Мы выпили, не закусывая. Покхекали, помолчали.

Он, сцепив сильные пальцы, развел локти, опустил руки на стол и упрямым взглядом уперся в меня.

— Последний раз мы с тобой виделись четвертого августа тысяча девятьсот сорок четвертого года. Недалеко от Санока. Забыл?

— Подожди, подожди...

— Теперь-то чего ждать. У меня с того дня, точнее — с ночи — многое в жизни перевернулось. Нет, я не про это,— он кивнул на костыли.— Лучше деревяшки в руках, чем на могиле. Война есть война.

Эти слова стоят у него в дневнике: «Война есть война». По поводу штрафбата, куда его упекли в ноябре сорок четвертого. Не осуждение и не объяснение. Констатация: война есть война.

Ни о чем таком он тогда, в чайной, не говорил. В этом я уверен. Больше выспрашивал меня. Где провел ночь, завершившую четвертое августа, как. Я почему-то уходил от ответов, хотя и не чувствовал за собой вины.

Почему?

— Так и запишем,— он потянулся к костылям,— встреча протекала в дружеской обстановке.

Подобная запись в дневнике не обнаружена. Но гораздо позже, в шестой тетради (семидесятые годы), говорится о том, что он хотел бы повидаться со мной, поделиться одним воспоминанием и надеждой, кое о чем попросить меня, но удерживает память о нашей неудачной встрече в Чертаново, — разговор вновь может не состояться.

В утешение замечу: обо мне он упоминает без раздражения. Считает, что и сам не нашел верного тона. Теперь бы нашел, может, черканет мне письмишко.

Вероятно, черканул бы. Но уже не до того. Болезнь, операция. В последней тетради, когда понял: из больницы не уйти, — стал делать записи о далеком госпитале в лесу, среди гор...

В год нашей встречи, в сорок восьмом — целая страничка о полковнике, преподавателе тактики. Произвели впечатление и песня на немецком языке, и брошенные вскользь фразы об Испании, и недолгий разговор. «Своеобразный человек, живет в глубину, не только сегодняшним моментом».

Больше я его не видел. Район полевых занятий сменился. На новых листах топографической карты — ни Чертанова, ни Битцы, ни рощи «круглая».

Какое-то внутреннее неудобство от тогдашней встречи у меня осталось. Не это — «ах, что я наделал», именно неудобство; осадок от него вскоре улегся. Чтобы вновь и ощутимо всколыхнуться, когда на мой стол лягут восемь густо исписанных тетрадей. В конце последней — незаполненные листы.

«ТАКОЙ ДЕНЬ»

О «таком дне» я вычитал в его дневнике. Запись, как ни удивительно, имела отношение ко мне, давшему повод. Смысл дневниковых рассуждений примерно следующий.

Наступает на фронте час, когда человека охватывает безразличие. Прежде всего к себе. Нервные перегрузки оборачиваются апатией. Не обязательно этот день самый опасный, самый рискованный. Но ко всему перенесенному приплюсовывается новый груз, и стрелка переходит черту, за которой что-то ломается, лопаются пружина. Слабеет самоконтроль. Собственная жизнь теряет смысл и ценность. Настороженность, собранность оставляют человека. Погиб-

нешь ни за понюшку табака. И человек этот теряет ценность для других, на него нельзя положиться, тщетно ждать от него совета, помощи. Он сам, не раненный, не контуженный, в них нуждается. Однако кто заметит, поймет подобное состояние? Как выведет из него?

По мнению Георгия Егоровича, 4 августа сорок четвертого года для меня наступил «такой день». Он об этом подумал, когда мы случайно встретились поздно вечером на фольварке к северу от Санока. Много позже, припоминая эту встречу, он пишет — без осуждения, скорее сочувственно: «словно очумелый», «невменяемый».

Почему и как наступил для меня «такой день»?

Мне велено — кровь из носу — найти командный пункт дивизии (должен размещаться в Саноке), доложить: автобус дивизионной газеты, непонятным образом попав в расположение противника, расстрелян из пушки вражеского бронетранспортера. Личный состав невредим, типографское имущество уничтожено, погиб случайный попутчик — лейтенант (фамилия не установлена).

Редактор, не зная обстановки, намерен скрываться с наборщиками в роще неподалеку от места катастрофы (точка обозначена на моей карте) и ждать указаний.

Никто из нас не подозревал, что дивизионный КП, второй эшелон, медсанбат смяты, перепаханы зубчатыми гусеницами. Но что достанется на долю гонца, приносящего такие вести, как я, догадывались.

Это меня, однако, не беспокоило, и не слишком пугала опасность поисков переправы, КП. Полчаса назад на моих глазах погиб Василий, веснушчатый заика-лейтенант, до срока выписавшийся из госпиталя, спешивший в Санок.

Штурман, сбитый над Краковом, партизанивший в лесистых Бещадах, он рвался на передовую, предвидя встречи с отрядами польского Сопротивления, надеясь помочь им найти общий язык с нашим командованием...

Смерть Василия, тупоносый немецкий транспортер, в упор — мы замерли немymi зрителями — разгромивший редакционный автобус, настолько ошеломили, что чувство самозащиты притупилось. Срабатывал автоматизм армейской дисциплины. Не подстрелят — найду КП, доложу, безропотно выслушаю все причитающееся в подобных случаях.

В полосе наступления правого соседа сохранился мост. Пробоины на живую нитку заколотили досками, забили

бревнами. По шаткому настилу переваливались на впадинах пушки, грузовики, санитарные машины, «катюши»; ковыляли унылые обозы. Сюда не дотянулся клин вражеского прорыва. Здесь царил едва подвластный регулировщикам кавардак переправы. Настырные автомобильные гудки, ржание лошадей, грозные окрики начальства, многослойный мат, тревожное: «Воздух! Воздух!», заливисто-судорожное тьяканье зениток.

Стоило приблизиться к району, где предположительно действовала наша дивизия, как дала себя знать примета фронтового неблагополучия: солдаты без офицеров, офицеры без солдат. Белые бинты торопливо перевязанных раненых. Слухи, нагнетавшие страх: от штаба ничего не осталось, командование перебито, медсанбат, ДОП захвачены...

Я вытер рукавом мокрый лоб, расстегнул потную гимнастерку, ослабил ремень с кобурой. Голова гудела, плечо ныло от полевой сумки.

Всматриваясь в лица — одно бы знакомое! — я плелся навстречу потоку и суматошной стрельбе.

Услышав из придорожной рощицы свое имя, обрадованно бросился на зов.

Меня окликнул Алексей Ефимов, старший инструктор политотдела по работе среди войск и населения противника. Занимая должность со столь длинным названием, Леша оставался скромным до застенчивости добряком. Вечно выглядел так, будто только-только проснулся. Лениво моргал, потягивался, прикрывал зевающий рот. Его преображала лишь передовая, по которой он ползал со своей бандурой — громкоговорителем, «разлагая» немцев, упрямо предлагая им сдаваться в плен.

— Что произошло? — спросил я Ефимова. — Передохнем в тенечке.

— Такое творилось...

Щепетильно правдивый, он делился лишь тем, что сам видел. Но и этого хватало...

— Есть хочешь? — придвинулся Леша. — Не хочешь? Превосходно. Так и так ничего нет. Кроме курува.

Он тихо засмеялся.

— Товарищи старшие лейтенанты, — взмолилась невесть откуда взявшаяся женщина с погонами капитана медслужбы. Пучок набок, волосы растрепаны. — Помогите ради Христа. Свыше сорока раненых. Транспорта никакого, грузовики не останавливаются.

— Пошли,— толкнул меня Ефимов.— Как говорил один великий немец — спешите творить добро.

Мы останавливали полуторки, «ЗИСы», страшали и увещевали водителей, взывали к совести и не скупилась на угрозы. Подтаскивали и укладывали раненых.

В беготне, ругани, стенаниях наступал вечер. Спасительно потянуло прохладой.

— Ой, мальчики, как вас благодарить. Вконец зашились. Спирта ни грамма...

Врачиха из танкового полка, сопровождавшего сто сороковую, была знакома с нашими медсанбатскими.

— Там ужас, сплошной ужас. Командир эвакуовзвода убит...

Я задохнулся.

— Оселков?

...Месяц провалялись мы бок о бок под шатким парусиновым пологом. Оселков с перебинтованным лицом — множественные осколочные ранения, только щели для рта и глаз — душа палатки, где стоны сменялись вспышками хохота, проклятия — анекдотами. Не просто раненый, он еще и лекарь, не просто друг-приятель, но и старший лейтенант медицинской службы.

Когда Оселков выписался, я с незажившей рукой самовольно покинул медсанбат. Он прислал весточку: разжился трофейным стрептоцидом, сам тебя долечу. В знак дружбы мы обменялись с ним командирскими ремнями...

Не могу избавиться от навязчивого предположения: Георгий Егорович из того же батальона, что и Оселков. В последней тетрадке его дневника говорится о готовности истинного медика к риску — о лихом и сердечном батальонном фельдшере, о поляках из тайного госпиталя, о бородаче хирурге из Первой градской, привлекавшем его ненавязчивой добротой и решимостью...

Расторопного, всех и все знающего в дивизии Оселкова назначили на хлопотливую должность командира эвакуационного взвода медсанбата...

— Оселков? — переспросил я, уже ни на что не надеясь.

— Да, да,— закивала врачиха.— Прямое попадание...

Она продолжала что-то нервозно говорить. Машинально поправляла пучок, зажимала губами шпильки, совала их в волосы.

Не попрощавшись, я повернулся и пошел в сторону Санока.

— Ты куда? — догнал меня Леша. — Куда на ночь глядя?..

Ефимов горячился, с несвойственным ему многословием пытался объяснить: это — чистейшая глупость, нежелание здраво взвешивать обстоятельства, неумение ждать завтрашнего дня.

— Правильно, — согласился я. — Один великий немец учил: не откладывай на завтра то, что можно сделать послезавтра.

Леша рассердился.

— Неврастения, замаскированная под ухарство. Колеечное мальчишество.

— Ты стопроцентно прав, Леша. Я пошел...

Он был прав не на сто — на двести процентов.

В закатном небе черной тушью клубы над Саноком.

От офицеров и солдат нашей дивизии мне уже известно: в городе немцы. Передовые части пострадали меньше, чем КП дивизии. Генерал Киселев развернул фронт; занят новый рубеж, артиллерия сменила огневые, прикрывая маневр стрелковых полков.

Основательно потрепан штадив, второй эшелон. В захваченном врагом городе остались раненые.

Где новый КП, неизвестно.

Те, кому посчастливилось вырваться из Санока, искали свои роты, батареи.

Вместе со случайными попутчиками я завернул на фольварк. Белый дом на высоком фундаменте, хлев, сарай, хозяйственные пристройки, сад, терявшийся в темноте.

В доме ни души. Зато в «пивнице» не продохнуть: поляки, наши. На цементном полу — катушки с проводом, вещмешки, автоматы, стянутые обручами бочки. Под потолком — гирлянды лука и чеснока. За столом, уставленным банками консервов, большими мисками картофеля и кислой капусты, солдаты, девушки из штаба, несколько офицеров, старики в пиджаках с ватными плечами и сапогами с высокими задниками. Молодая полька кормила грудью туго запеленутого младенца и поглядывала в угол, где старший сынишка, стыдливо повернувшись к обществу спиной, восседал на горшке.

Меня пригласили к столу, уступили, сдвинувшись, край ящика. Некоторые лица мне отдаленно знакомы. Но говорить, выяснять степень знакомства неумоготу.

Среди этих отдаленно знакомых и был, значит, Георгий Егорович. Я же, «очумелый», никого не заметил?..

Заметил бы, кивнул. Что изменилось?

Очень утешительно считать: от тебя ничего не зависело, ничто не изменилось бы.

Несколько офицеров, отойдя в сторонку, тихо переругиваясь, спорили между собой: искать подразделения сейчас, ночью, или дожидаться утра. Кто-то обратился ко мне:

— Ты как полагаешь?

Я безразлично промолчал.

Один из споривших — широкоплечий, рослый старший лейтенант, — сплюнув, лихо забросил за спину автомат, взял вещмешок и направился к лестнице. Поднялся до половины по скрипучим деревянным ступенькам и не без вызова произнес:

— Считаю, надо идти к своим бойцам, найти их. Отсыпаться будем после войны.

Пригнувшись, сделал еще несколько шагов, и крышка люка за ним опустилась.

Никто не оглянулся ему вслед.

«Я один-единственный среди офицеров ушел с фольварка. Все другие остались.

Нельзя сделать вывод, что я был неправ, если поступил на свой лад, не как прочие. Но их тоже нельзя осудить, нельзя признать, что они допустили ошибку.

Со мной тогда получилось — хуже не придумаешь. Но окончательный итог я не считаю отрицательным. Он сыграл большую роль в моей дальнейшей жизни».

Лишь теперь мне известно, кто был ушедший. Известно, чем обернулась для него дымная августовская ночь, растянувшаяся на годы.

В ту ночь я сидел за столом, никого не видя, ничего не слыша, ни о чем не думая. Сидел отсутствуя.

— ...Вы ешьте, закусывайте, товарищ старший лейтенант, — уговаривала соседка. — Все равно как голодовку объявили.

В мерцающем свете керосиновой лампы, подвешенной над столом, я видел черную прядь, упавшую на погон с сержантскими лычками.

— Ранены? Кровь на щеке, на гимнастерке.

Я ответил, что невредим. Кровь — от раненых, которых помогал эвакуировать.

Она подвинула ко мне глубокую тарелку с картошкой, кринку молока.

Жадно захлебываясь, я выпил молоко; к картошке не притронулся и все время чувствовал, как соседка исподволь следит за мной.

Скамейки пусты. Наши девушки за одной переборкой, поляки — за другой устраивались спать. Низенький, с быстрыми, угловатыми движениями и зыркающими глазами капитан из штаба артиллерии устанавливал среди солдат очередность ночного караула.

— Ничего не кушали. Помылись бы. Идемте наверх — солью.

Я безропотно повиновался. Снаружи пахло ночным садом, свежим сеном, гарью и бензином.

— Скидайте гимнастерку, сбрую. Рубаху тоже.

Холодная вода, окатившая голову, плечи, лицо, вызвала дрожь. Я стоял, блаженно зажмурившись.

— Мылом, мылом. От так. Теперь вытираться. Дайте-ка. От неумека.

Она растирала спину, грудь и продолжала командовать:

— Нательную рубашку и гимнастерку — в стирку. Без них переночуете, найдем одеялку.

Меня не удивила и не умилила непривычная опека. В этот час меня ничем было не удивить. Черноволосую девушку с сержантскими нашивками я как будто встречал в штабе — машинистка либо связистка? — но не обращал внимания. Вообще старался не замечать девушек, полагая невозможными для себя фронтовые романы.

Переложил документы в брючный карман, сгреб в охапку ремень, портупеею, кобуру, полевую сумку и направился в дом. Но не в «пивницу» — пугала духота, многлюдность, — в пустующие комнаты. Шел, натываясь в темноте на шкафы, стулья. Пока не уперся в широченную постель, белевшую в полумраке спальни.

Скинул сапоги, бросился на покрывало, зарылся головой в необъятную подушку. Спать, спать, спать.

И не уснул. Первая в жизни бессонница. Бессонница слепого отчаяния.

— От они где. Весь дом исходила. Как сквозь землю провалились.

Я не успел ответить. Она зажала твердой ладонью рот. Обожгла шепотом:

— Молчи, молчи...

Голая рука обхватила мою голову, властным рывком притянула к себе.

Где-то бухают далекие разрывы. Слабые сполохи играют в окнах безмолвного дома.

Она отзывалась, прежде чем я успевал пошевелиться, протянуть руку, убеждаясь: это правда.

— Туточки я. Никуда не денусь.

Проснулся от яростно бившего в глаза солнца. Никого нет. На спинке кровати — чистая рубаха, отутюженная гимнастерка.

В подполе — поляки. Женщина с грудным. Незнакомые солдаты. Из вчерашних — только низенький быстроглазый капитан-артиллерист.

— Давайте вместе держаться. Меня предупредил младший сержант... Люда, Лида... как там ее?.. Чтобы вас не будил и дожидался.

Люда? Лида?

Меня захлестывали волны благодарности и — гнева.

Я был ненавистен, отвратителен самому себе. Но вдруг вздымалась кощунственная и недоуменная нежность. Что же, однако, случилось?

Незамедлительно разыскать, увидеть. Произнести необычное для меня, для нее.

Мы встретились после вторичного освобождения Санока, когда дивизия продолжала наступление в лесах Бещадских отрогов. На ней потемневшая, потяжелевшая от дождя плащ-палатка с надвинутым капюшоном.

Впрямь ли она? Остановился, почувствовав частые толчки сердца. Как обратиться? Лучше ошибусь в звании, чем в имени.

— Товарищ... сержант!

Она вскинулась и потупилась.

— Ой, товарищ старший лейтенант... Здрасьте... Здравия желаю...

Не поднимала головы, уставившись в разлохмаченные на сгибах, с налипшей грязью кирзовые сапоги.

— Живы-невредимы. От хорошо... Вы, товарищ старший лейтенант, об том забудьте, из головы выкиньте. А то станете обо мне неправильно думать. Вам это понять невозможно... Я тороплюсь. Старшина приказали: одна нога здесь, другая — там.

Уже на берегу, будто вспомнив, обернулась ко мне, откинула капюшон:

— Не шукайте меня... Не надо этого!

Меньше всего она ждала новой встречи. Да и я упорства не проявлял.

Реставрируя санокскую историю, я шагал день за днем и пропустил ночь. Хотя она жила в подсознании, причастная к памяти о «таком дне». Жила скрытно, немо, ни на что не претендуя. Как не претендовал сам порыв — без клятв, заверений, без попытки продлиться. Исчерпавший себя, едва пропала спасительная в нем надобность.

Есть в тетрадах не только о «таком дне», но и о потаенно сохраняемой «такой памяти». Совсем, правда, в другом месте и ко мне касательства не имеет.

Он берег «такую память». Годами жил ею...

О ночи, когда я остался на фольварке, а он ушел, в дневнике растерянно-скупые записи. На свою беду он не мог толково объяснить случившееся после ухода.

Не хотел ждать утра и отправился отыскивать батальон. Взял на запад. Долго шел. Пока не заблудился.

С рассветом артиллерия открыла огонь по площадям. Контузия, осколок в грудь навывлет.

Весь день, теряя сознание, приходя в себя, пластом лежал в кустах, где его настиг снаряд. Из полевой сумки достал флакончик и нюхал одеколон.

Следующей ночью подобрали поляки. Несли на плащ-палатке либо одеяле. Прятали в подвале, неумело перебинтовали грудь. Когда стемнело, опять осторожно подняли на одеяло. Потом везли фурой. Какое-то время держали в бараке, пахнувшем нефтью. Приходил, кажется, врач, какие-то люди...

Он почувствовал под собой мягкий матрац, сквозь белый переплет окна увидел зелень.

Но почему доктор говорит по-польски? Откуда-то донеслась немецкая речь...

«Плен» — первая мысль и первое слово.

— Даже совсем не плен, — заверил молодой врач; его, вскоре выяснится, все почтительно величают «доцентом».

Чуть оправившись, он тревожно спросил у «доцента», где документы, личное оружие. «Доцент» не сразу понял вопрос, а поняв, на полурусском, полупольском языке объяснил: пациент был доставлен без «брони» и «засвидченья». Пропажа документов — пустяк, нонсенс. Надо выздороветь. Тогда будет «бронь», она убедительнее любого удостоверения. Не так ли?

Не совсем, к сожалению, так.

Одна из сцен, относившаяся к неизвестному лазарету, выглядела особенно странно.

Вполне разборчивая запись:

«Среди белого дня явился католический поп. На нем была до самого полу черная одежда и сверху медицинский халат. Я подумал, что будет отпевание. Священник пошел к поляку, который лежал через две койки от меня и сильно мучался, видно, умирал. Потом подозвали совсем молодую девушку. Она взяла за руку раненого поляка, священник что-то произносил. Но не по-польски (кажется, на латинском языке). Я понял только, что это не отпевание. Наоборот, вроде бы бракосочетание с умирающим человеком!!!

Назавтра я был перенесен на чердак».

О жизни на чердаке — отрывочные записи. Видимо, Георгий Егорович не считал эту встречу (встречи?) слишком существенной.

К нему наверх поднялся офицер в конфедератке, пожал руку, однако не назваля. Прилично говорил по-русски. При карбидной лампе они вдвоем уточняли обстановку, силы противника в районе Санока. Была в дневнике фраза: «Не только они мне помогли, но и я им сгодился». Судя по записи в другом месте, с Георгием Егоровичем польский офицер (офицеры?) советовался и позже. («Они видели, что я разбираюсь в тактике. Знаю технику и приемы нашего общего противника. Уважали во мне советского офицера, который кое-чего повидал на фронте и кое-чему подучился».)

В дневнике не проставлена точная дата освобождения польского госпиталя. «В двадцатых числах сентября». Время

нахождения в армейском госпитале указано: с 23 сентября по 10 ноября. Потом неделя в офицерском резерве. И — военный трибунал. За самовольное оставление части, за утерю документов и оружия.

Этого не случилось, если бы Георгий Егорович попал в свою сто сороковую и через ее медсанбат был направлен в госпиталь. Но дивизия спешила, наши врачи оказали необходимую помощь, эвакуацию же возложили на другую часть. В армейский госпиталь его привез на крестьянской фуре раненный в бедро сержант из расчета «катюши».

«Война есть война, а штрафбат есть штрафбат».

Эдакая философская невозмутимость, не исключавшая, однако, и практических соображений. В связи со штрафбатов, куда попадали провинившиеся офицеры, мне думается, он не хотел, чтобы фигурировала его фамилия и далекая тень упала на биографию сына-офицера. Прямо об этом не сказано. Но угадывается между строк. В другом месте, безотносительно к тому, о чем писалось на странице: «Во время войны между офицерами ходила такая острота: «Дальше фронта не пошлют, меньше взвода не дадут». Боец в штрафбате — это гораздо меньше, чем командир взвода, и обидно».

Сидело это, видно, в нем, саднило.

Прямо об этом не сказано, но угадывается между строк.

Все же лучше по мере сил избегать предположений.

Вначале я приписывал штрафбату и его нежелание участвовать во встречах ветеранов. Потом понял: память Георгия Егоровича о войне не во всем совпадает с нашей. Расслабленная, отдающая сентиментальностью ностальгия, которой мы нет-нет да и грешили, предаваясь фронтовым воспоминаниям, ему чужда. Относительно ветеранских встреч он в одном месте иронично проехался: «Припоминают золотые денечки...» Сам он — сужу по дневнику — ни о чем таком не писал. Ни об окопных эпизодах, ни об атаках, ни о перемещениях по службе. Хотя — это мне сообщил Жора — отец воевал с первых дней. Сначала в Карелии, потом под Москвой, с конца сорок третьего года в нашей дивизии. Отличившись в боях, без всяких курсов, получил первичное офицерское звание. Но держал в памяти как раз то, что отличало его армейскую судьбу от остальных. Пережил нечто никому из нас не отпущенное: свыше месяца в госпитале бок о бок с поляками и немцами. Каждый лоскут бинта, каждый пузырек йода делились между ранеными, говорившими на разных языках, делился

с немцами, недавно стрелявшими в поляков и русских.

Пережил и сберег. Сберег для себя. Только когда приблизился конец, решил, что такие воспоминания могут понадобиться и другим.

Думал, похоже, об этом и раньше. Но публично исповедоваться не рвался. По устройству душевному и потому еще, что не был уверен — поймут ли. Лучше уж избежать шумного юбилейного застолья, хмельных — со слезой — излияний. Когда-нибудь всплывут далекие факты — без его фамилии.

ПУНКТИР

Оклеенные нарядными обоями стены уцелели, а крыши как не бывало. Ясные, стальные звезды над головой.

На паркетном полу солома, слабо согретая обескровленными телами. Раненые укрыты шинелями, ватниками, бушлатами, телогрейками. По шуршащей соломе от одного к другому, никого не минуя, идет рослый майор в туго перехваченном ремнем замызганном полушубке. Наклоняется над каждым:

— Спасибо за службу. Искупил вину.

Удается — пожимает руку, нет — постоит над бессильно распластавшимся либо напрягшимся от боли телом — и дальше.

— Искупил вину. Спасибо за службу.

Случайный свидетель этой сцены, я не берусь привязать ее к определенной дате, не помню, где это было. Только лишь морозное звездное небо, веселый узор на стенах, приглушенные стоны, шорох соломы и — майор, командир штрафбата, шагавший среди раненых, повторяя формулу очищения.

Что-то подобное пережил, но не как свидетель, Георгий Егорович.

16 января к югу от Кракова штрафбат бросили в бой. На следующий день осколок раздробил колено правой ноги.

— Спасибо за службу. Смыл вину...

Полевой госпиталь, санитарный вагон, госпиталь во Львове. Ампутация.

Во Львове его нагнал приказ о восстановлении в лейтенантском звании, и теперь он лежал в залитой светом

офицерской палате с цветами на окнах. Здесь же замполит вручил ему Красную Звезду, зачитав выписку из приказа по 140-й Сибирской стрелковой дивизии и подчеркнув, что товарищ старший лейтенант проявил мужество именно при освобождении Львова.

Все это в первой тетради, в записях, какими начинается дневник: предчувствие новой жизни — без войны, без смерти, жадно караулящей за каждым бугорком. Но с памятью об оставшемся чуть позади, о потрясениях и терзаниях последнего года.

Сколько ни перечитывал я кривые карандашные строки, кое-где обведенные чернилами (видно, он не раз к ним возвращался), не обнаружил ноток обиды. Заметны горечь, даже растерянность. Но и радостный свет — на мою долю выпало испытать силу людской солидарности, самоотвержения, я приобщился к чему-то особенному.

Гордость смешана с негасимым интересом: кто же они все-таки были, люди, укрывавшие, перевозившие с места на место, лечившие его и — немцев? Что за госпиталь? Не у кого спросить, поделиться не с кем. Оставалось вспоминать и думать.

Год назад еще шла война, и ненависть не требовала оправданий. Однако на конспиративном островке, куда его выбросило, она уже потеснилась...

На излете жизни он припомнит и радостные впечатления юности, и дни в польском лазарете, и счастье, ожидавшее во Львове...

Волей случая он, раненный, ожидавший одинокой безвестной гибели в глухом лесу, вдруг переместился в странное тогда, совсем рядом находившееся царство сострадания, благожелательства. Не царство — скромное княжество, укрытое от сторонних глаз. Немецкий солдат — воплощение зла, принесенного на польскую и наши земли, оказывался соседом по госпитальной койке. Общий врач, общая надежда выжить...

По всему похоже, Георгий Егорович принадлежал к тем, кто навеки дорожит поступком, благородство, беспримерность которого выходят за рамки обыденного.

Неспроста его заинтересовал и полковник, певший в чертановской чайной немецкую антифашистскую песню. Тоже нарушение привычного.

Не исключаю: он нащупывал незримую связь между

полковником — ветераном испанской войны — и госпиталем на лесистых горных склонах.

Сейчас я пытаюсь понять возрождающую силу непредвиденной, негаданной заботы и ласки. Между прочим, сержант в кирзовых сапогах (Люда? Лида?) почувствовала мою нужду в этом, увидев меня 4 августа 1944 года... Ни на что не надеясь, не рассчитывая даже на ответную благодарность.

Вот оно как получалось: мы оказывались поблизости друг от друга, совпадали иные (далеко не все) устремления.

Однако обе встречи случайны, бесплодны. Мысли же его мне предстояло узнать из присланных с далекого острова дневников.

В августе сорок пятого Георгий Егорович вышел из проходной госпиталя, новенькими костылями щупая чужой тротуар. За спиной — тощий сидор, прикрученная к нему скатка. Разноязычная толпа, легко подхватив, закружила меж деревьев, увитых плющом камениц, чугунных столбов с газовыми фонарями. Выбросила у памятника Мицкевичу, занесла в ресторан с загадочной картонкой, болтавшей на медной ручке двери: «Dziś flaki»¹. Неумолчно звенящий синий трамвайчик, вдоволь покружив, привез к оперному театру, позади которого плескалась барахолка, именуемая Краковским рынком.

Я служил тогда сравнительно неподалеку, в Станиславе. Пользуясь любым предлогом, как и многие офицеры гарнизона, наезжал в неизменно воскресный Львов, словно и не прибитый войной. Город бурлил на раздольных площадях и тесных улочках, в чадных ресторанах и семейно уютных кафе, истово торговал на толкучке, где патрули с красными нарукавными повязками вылавливали военных...

В первой же тетрадке меня подстерегала волчья яма. Вначале я ее проморгал. Лишь позже обнаружил аккумулятенные выдранные страницы.

Серый картонный переплет, плотная бумага в клеточку. Корешки удаленных листков подчищены бритвой либо ножницами. Когда это сделано, почему?

¹ «Сегодня рубцы» (польское национальное кушанье).

Вырванные страницы относятся к львовскому периоду. Есть его начало и завершение. Никак не объяснен вдруг предпринятый шаг — после выписки из госпиталя остаться в незнакомом городе. И конец: возвращение в Москву, в свое Чертаново.

Фразы, записанные впоследствии, сказанное и недосказанное позволяют установить; работал он в гарнизонной КЭЧ (квартирно-эксплуатационная часть), ему сделали протез, но неудачно, со службой шло как будто гладко.

Однако чего ради выдирать листки?

Не хотел делать чьим-либо достоянием ту часть своей жизни, которая принадлежала лишь двоим, ему и ей.

Много позже будет написано о «такой памяти». Когда эта память выкажет свою силу, и в последней, обращенной назад тетради промелькнет: «Во Львове я незабываемо воспрял духом».

Это была полька.

Летом 1958 года, отправляясь в туристическую поездку в Польшу, он занесет в дневник: «Еду на ее родину».

Но — ни слова о встречах, письмах. Как отрубил.

Читал по-польски, владел обиходной разговорной речью.

Само собой это не дается. Месяц в госпитале — срок недостаточный. Да и какая там учеба...

Знал язык и не хотел забывать. Выписывал «Жиче Варшавы», пытался следить за книжными новинками, не пропускал польских фильмов.

Временами его интерес угасал, потом обострялся.

Искал сведений о госпитале, опять надолго забывал о нем. Жизнь шла своим чередом.

Мы встретились после его возвращения, когда им, неприкаянным, еще владело недавнее прошлое.

Постепенно все вошло в колею. Вечернее отделение энергетического института. Жена, сын. Новый протез избавил его от костылей. Ходил, опираясь на палку.

Когда избу снесли, добился квартиры: здесь же, в Чертаново, — не хотел покидать насиженного угла.

Дневник вел не ахти как регулярно. Месяцами ни строки. Потом — будто через снесенную плотину.

В этом потоке — семейные заботы и служебные, строчки о погоде и о книге, прочитанной в командировке, денежные подсчеты, огорчения из-за двойки, схваченной сыном.

Иногда о жене — спокойно и доброжелательно. Однако родители дождались совершеннолетия Жоры и мирно расстались.

Многое в дневнике прочитывается как вполне заурядное. Необычное осталось позади, в додневниковом периоде или на вырванных львовских листках в клеточку. До последней тетради допустимо было считать поездку 1958 года в Польшу не выходящей за рамки туристической программы.

В иных своих утверждениях, мечтах он был своеобразнее, чем в повседневной жизни. Правда, почти всегда проявлялась человеческая определенность, нелегко уловимая последовательность.

Дал, скажем, затрецину своему Жореньке, когда тот обозвал одноклассника-татарчонка «свинным ухом» (потом терзался из-за «рукоприкладства» и «слабого воспитания сына»). Разводясь с женой, построил ей и сыну кооперативную квартиру, что было нелегким предприятием, — незадолго до этого перешел с завода в институт, где, не обладая ученой степенью, получал довольно скромный оклад (завод оставил, поссорившись с главным инженером по «принципиальному вопросу»; принципами он не поступался). Была еще детективная история с двумя девушками-продавщицами из соседнего магазина. Отчаявшись, они почему-то обратились к нему за помощью. Мошенница директорша подвела их под монастырь, а они, невинные и неопытные, не умели отбиться. Георгий Егорович ввязался в дело, ездил в прокуратуру, в приемную «Известий», нашел толкового адвоката...

Он не относился к людям, одержимым одной идеей. В текучке, которая его несла, отвлеченным исканиям оставалось маловато места. Но, вопреки повседневности, не забывался давний эпизод — госпиталь в горах. Недостаток определенности, четких сведений временами будоражил душу. Не настолько, чтобы, забросив все, пускаться в поиски, терзаться. Но и вовсе бездумно отсчитывать: день да ночь — сутки прочь — не всегда удавалось.

Странное происшествие заставило спустя год взять в руки карандаш, вывести первые строки. Это вошло в не слишком обременительную привычку, стало потребностью. В тетрадь заносилось разное, первотолчок терял силу. Но время заставляло оглядываться все дальше назад: что же, однако,

произошло? что означало произошедшее? только ли тебя оно касается?

А поди разберись, когда не знаешь толком всех обстоятельств.

Не от того, разумеется, горечь неоконченной тетради, отрывочных записей, сделанных на больничной койке Первой градской. Но все же и от того. Однако не только отчаяние. Проблески умиротворения: в жизни мне выпало счастье. И — впрямую, насколько позволяли скудные сведения, о госпитале, о женщине из Львова...

Итак, в июне 1958 года Георгий Егорович туристом приехал в Польшу. С Гданьского вокзала автобус доставил группу в отель «Европейский». Обедали в высоком ресторанном зале; наружные стеклянные двери открывались в летнее кафе с круглыми столиками под веселым тентом. Впереди — пустынная площадь, на противоположной ее стороне — сооружение из трех арок. Гид объяснил: остатки дворца, могила Неизвестного солдата.

Он вышел через кафе, обогнув тяжелую громаду гостиницы. Тянула к себе оживленная толпа на кипящем по-летнему Краковском Предместье.

В киоске купил план города и, постукивая тростью, отправился по Варшаве.

Стемнело. Он шел Аллеями Иерусалимскими, повернул на Маршалковскую. Останавливался у лампадок, освещавших выбитые на камне надписи: здесь были расстреляны поляки. Дата, количество убитых. Алый отсвет падал на гвоздики и красно-белые ленты.

Будто что-то вспомнив, изменил маршрут. Сверяясь с планом, расспрашивая прохожих, двинулся на улицу Сэнну. Искал дом номер 45.

Улица обрывалась на 41-м. Дальше — груды битого кирпича, поросшие травой каменные руины и — гладкий серый асфальт площади с многоэтажным Дворцом науки и культуры...

«Здесь, в д. № 45, она жила до 1939 г.»

(В семьдесят девятом году, повторяя маршруты Георгия Егоровича, я не удержался, отправился на Сэнну. Она и теперь заканчивалась 41-м номером. Последним стоял старый довоенный дом, по-нашему в пять, по-польски в четыре этажа. Почерневшая кирпичная кладка под давно осыпавшейся штукатуркой, царапины и шрамы от осколков.

Но уже в помине нет каменных развалин, признаков запустения. Перпендикулярно к Сённой выстроились современные здания чистенькой улицы Эмилии Плятер, с запада опоясывающей высотный Дворец...)

Подобно тому, как обрывалась Сённа улица, датой «1939 г.» обрывались обстоятельно начатые дневниковые записи, уступив страницы сумбурной, не слишком внятной скороговорке.

Вместо трех дней, предусмотренных для Варшавы, Георгий Егорович, отказавшись от экскурсии в Краков, задержался здесь еще на четыре, условившись вместе с другой туристической группой нагнать свою во Вроцлаве.

В бюро «Orbis»¹ на Свентокшистской он объяснил, что достаточно владеет польским, может обойтись без переводчиков. И там, сочувственно поглядывая на трость и догадываясь о протезе, прислушиваясь к старательно выговариваемым польским словам, готовно согласился, на фирменной карточке написали два телефонных номера,— в случае чего, при первой необходимости...

Семь суток в Варшаве и еще полдня на обратном пути из Сопота.

В Старом Мясте кафе «У Михала», где угощают подогретым красным вином, маленькое кафе «Али-Баба» неподалеку от Замковой площади, скамейка на пражском берегу Вислы, аллея в парке Лазенки... Никаких впечатлений, размышлений. Ни разговоров, ни встреч.

Потом, присоединившись к своей группе, он ничего не писал о варшавских днях. Прошлое навалилось с неотвратимой силой. Он ушел в воспоминания, упрямо возвращался в сорок четвертый год, в госпитальные дни. Там, среди лечащего люда, был не только «доцент», но и другие врачи. Важную роль, видимо, играл человек, которого величали «паном инженером». Кажется, по его настоянию Георгия Егоровича перевели в подвал, потом на чердак, на голубятню, где укрывали двух раненых советских парашютистов.

Всплывали какие-то подробности. Например, рядом с ним (в палате? в подвале? на чердаке?) лежал француз, не понимавший ни по-польски, ни по-русски. Или такая деталь: вместо бинтов стерилизовали газеты.

Он расспрашивал гидов. Те выслушивали, кивали, хвалили за польский язык, говорили, что врачи-поляки часто выручали советских раненых, но вот относительно госпиталя, о

¹ Польская туристическая организация.

котором расспрашивает пан, увы, увы, не приходилось слышать. Жаль, очень жаль. «Шкода».

Туристический маршрут пролегал по местам, далеким от Санока и Кросно: Вроцлав, Познань, Гданьск, Сопот, снова Варшава.

Находясь во Вроцлаве, он, того не подозревая, был в двух шагах от человека, который бы запросто ответил на любые его вопросы, касавшиеся госпиталя.

«МАРШ ЕДИНОГО ФРОНТА»

Внешне, анкетно жизнь Георгия Егоровича повторяет тысячи других. Само ее отличие — дневник — в конечном счете подтверждает: автор — один из...

Пытаясь в ней разобраться, я подставляю себя на его место и удовлетворенно ловлю совпадения. Однако подстановка — палка о двух концах. Я не считаю свою судьбу копией остальных. Никто не считает. Когда в знак солидарности произносят: «Я тоже...», — через минуту ждите: «Но я...»

Мы начинали, росли, ощущая причастность ко всему, что роднит, сближает людей. Дети коммунальных квартир, мы шумной ватагой вываливались из школьных дверей и шатались по московским улицам, не спеша домой. Бесшабашной студенческой компанией шли летом сорок первого в военкомат, дружно смеялись, натягивая скрипучие сапоги и примеряя новенькие гимнастерки, доставленные с интендантского склада.

Большинство из нас, убежденных и прирожденных коллективистов, легло в безымянные братские могилы.

Уцелевшие, постепенно освоившись в послевоенном мире, жадно искали друг друга, мчались, чтобы свидеться, в Омск или Баку, в Ташкент или Ивано-Франковск.

Жизнь, однако, не только сводила. Она и разводила. По семьям, по городам, деревням, далеким гарнизонам, по местам, уготованным каждому, по больничным палатам. И могилы уже не братские — индивидуальные. Как у Георгия Егоровича на Ваганьковском кладбище, неподалеку от могилы начальника нашего политотдела Арчила Семеновича Майсурадзе...

С годами все внятнее это: «Но я...» — потребность осознать себя среди остальных, почувствовать единственность своих радостей, своего горя.

Автор дневника приступил к своим записям, рано почувствовав необычность собственного жребия.

Случиться могло с каждым — чего не бывало на войне! Только не каждому отпущено испытать единственность случившегося. Но и испытав, не обязательно станешь «протоколировать» свою жизнь. Встреча с полькой в послевоенном Львове? Какое-то воздействие оказала и она; из-за вырванных страниц судить трудно. Уничтожая их, автор дневника этот отрезок своей биографии выводил из поля зрения. Все прочие годы — оставлял. В обыденности этих лет надо отыскать исток своеобразия, мысль, преодолевавшую канон повседневности. Как? Тем более — мысль отрывочна, возвращения эпизодичны. Интервалы затягиваются. Однако я убедился: рано или поздно вернется. Не так, так эдак.

Лишь бы не проморгать.

Снова перелистав тетради, в одной обнаружил подробность, которую можно бы счесть случайной, проходной. Но стоит отказаться от такого взгляда — и тогда эпизод должен многое объяснить в последующих мыслях и порывах, в восприятии жизни.

После сельской семилетки по настоянию отца и потому еще, что «дома было трудно с пропитанием», Георгий перебирается в Москву к тете Зине и поступает в техникум. В 1935 году его «за высокий рост и спортивную внешность» вместе с несколькими студентами выделили в группу, приветствующую VI конгресс КИМа — Коммунистического Интернационала Молодежи. Ребят обрядили в новенькие юнштурмовки с ремнями и портупелями через плечо. В течение месяца разучивали с ними немецкую антифашистскую песню композитора Эйслера.

Тремя шеренгами, из двух боковых входов и заднего, они вступили под высокие своды сверкающего люстрами Колонного зала Дома союзов.

«Это было незабываемо!!!»

Подтверждаю: незабываемо.

В тот ли день, днем раньше или позже, в составе делегации московских пионеров — белые рубашки, красные галстуки — я тоже стоял в узком проходе Колонного зала, исступленно скандировавшего: «Рот-фронт!»...

«Мы вошли в зал. Один парень произнес приветствие. Потом мы запели на немецком языке «Марш единого фронта». Нас обнимали, подкидывали в воздух».

«Марш единого фронта». Наш полковничек отбивает кулаком ритм в чайной на окраине Чертанова. Чудаковатый рослый инвалид на костылях, оставив свое пиво, спешит к нему...

...Георгий выступал с отчетом о конгрессе на комсомольском собрании и вообще прослыл «специалистом по мировой революции». Когда техникум посетили австрийские щуцбундовцы¹, его позвали участвовать в беседе и чаепитии.

Он приглынулся щуцбундовцу по имени Фриц — чем-то напоминал оставшегося в Вене сына. Фриц позвал его к себе в гостиницу на Тверской улице, неподалеку от Страстной площади.

Воспользовался он приглашением или нет, в дневнике не сказано.

Имя Фрица всплывает в другой связи.

В 1937 году Жора окончил техникум, поступил на шарико-подшипниковый завод, но жил мечтой попасть в Испанию. Обивал пороги военкоматов — районного и городского, райкома и горкома комсомола.

Набравшись духу, он отправился к Фрицу. Не застав его в гостинице, пошел на Моховую, в Исполком Коминтерна. Разгуливал из конца в конец по длинным коридорам, надеясь встретить Фрица, поговорить с кем-либо, ведавшим отправкой добровольцев в Испанию. Естественно, не нашел Фрица и ничего не добился.

«Целый час я находился в этом помещении. Видел людей, съехавшихся со всех сторон света, слышал разные языки».

Давний эпизод прочно осел в его памяти, вызывая различные ассоциации и мысли.

В той же тетрадке, например, признание, касающееся имени «Фриц».

Когда в войну оно стало презрительной кличкой, «я его в таком смысле употреблять не мог. У меня не поворачивался язык. Хотя в моей жизни имелись нарушения этого принципа (война, первый этап). Не прощаю себе».

¹ Щуцбунд — Союз обороны — военизированная организация социал-демократической партии Австрии. После жестокого подавления вооруженного выступления в 1934 году многие щуцбундовцы вступили в компартию.

В январе сорок второго года Георгий Егорович получил трехсуточный отпуск (полк вывели на переформировку под Москву) и дома свиделся с отцом. Тот со дня на день ждал военкоматской повестки.

Единственное, кажется, место в дневнике, где возникает отец, чертановский крестьянин. Политикой Егор Иванович не увлекался, перспективы мировой революции его не занимали, но услышав от сына «немчура», ехидно спросил: «Ты что ж, в другую веру перекинулся? Так и будешь сумой переметной?»

«По сегодняшний день помню, какой стыд взял меня».

Следующие два абзаца:

«Получается, что национализм может возникнуть от обиды за горе своего народа. А может возникнуть от увлечения победами. Когда Гитлер побеждал в период 1939—42 гг., многим немцам моча ударила в голову. Причины находятся часто, предлог — всегда.

Националистом быть легче, чем интернационалистом. Особенно в острый исторический период. Всегда подыщется оправдание, а интернационализм объяснить труднее, он доступен не каждому. (Я в этом убеждался.) Националист гребет по течению».

В этом месте дневника снова возникает Фриц. Тот самый, что приглашал пить чай в номер московской гостиницы «Люкс». Теперь — фронтовая встреча, видимо, начало сорок четвертого года.

В блиндаж Георгия Егоровича привели пленного ефрейтора. Долговязый «язык» онемел от неожиданности и невразумительно мычал в ответ на стандартные вопросы полкового переводчика. Начальство по телефону приказало прекратить допросы. Оставить пленного в покое, накормить, запереть одного в землянке. Прибудет офицер, который знает, как разговаривать с ихним братом.

Вскоре из «виллиса» выскочил коренастый человек в чистом белом полушубке без погон, в цигейковой офицерской шапке с опущенными ушами. Его сопровождал полный неповоротливый капитан и немолодой лейтенант в очках.

Человек вошел в блиндаж, отряхнул снег с сапог, снял ушанку, огляделся, по-граждански поздоровался с каждым. Пожимая руку Георгия Егоровича, растерянно поднял голову.

«Мы, как обалделье, глядели друг на друга. Потом обнялись так, что затрещали кости. Это был Фриц».

Георгия Егоровича поразил допрос. Если это можно

назвать допросом. Он не понял и десятой доли. Но мягкий улыбчивый Фриц стал вдруг напористо-беспощадным, неотступно упрямым. Он добивался своего и, получив, не давал ефрейтору перевести дыхание. Сам говорил горячо, убежденно, снова и снова атаковал разговорившегося пленного. Лейтенант едва успевал записывать их беседу.

«Таких, как мой Фриц, было немного. Не по ним мы судили тогда о немцах. Но чтобы суд был справедливым, всесторонним, надо учитывать и их.

Немцы-антифашисты гребли против течения, шли против своего народа, зараженного шовинизмом. Какие нужны для этого силы!»

После этого выписка из словаря: «Шовинизм — это крайний национализм, проповедующий ненависть, презрение к другим народам и разжигающий национальную вражду».

Определение, заимствованное из словаря, Георгия Егоровича развивает в том смысле, что национализм, если ему потакать, грозит привести к шовинизму. А далее — рукой подать до фашизма. И возвращается к своему Фрицу, к поразившей его встрече на передовой.

«Очень жаль, что мне не пришлось поговорить с Фрицем по душам. Он спешил в штаб фронта, взяв с собой пленного. Эта встреча имела для меня большое значение. Я бы хотел сохранить на будущее его дружбу. Но Фрица, как выяснилось, вскоре перевели в Москву. После войны он вернулся в Германию, стал видным работником.

Никогда не забуду, как он беседовал с пленным!»

...Среди записей, бегло сделанных за своим столом после возвращения туристической группы из Польши, впервые проскользнуло насчет развода с женой. Дальше расплывчатого намерения пока что, правда, не шло.

Тогда же примерно снова стали одолевать мысли о госпитале. Он обратился в польский союз ветеранов войны, писал еще куда-то. Но никто не мог ничего сообщить — в запросах не указывалось ни имен, ни местонахождение лазарета.

И он остывал. Сегодняшние хлопоты все дальше оттесняли прошлое, лишая его четких линий, какие оно начало обретать в экскурсионной поездке.

Я листал дневник с трудноизъяснимым чувством причастности к судьбе человека, который его вел, с ноющей болью утраты — человека уже нет в живых.

Пусть все по-разному. Биографии, род занятий и то, что принято именовать «кругом интересов». Однако какие-то его настроения, порывы, тревоги мне родственны, готов их счесть своими. Случайные, мимолетные совпадения.

И вдруг уперся в заковыченную фразу из моей повести «Возвращение»: «Но случайность тут ничего не объясняет».

А дальше — его:

«Именно, что случайность ничего не объясняет. Приведешь случайность, и думать тогда не очень надо. Случайность часто клонит к безответственности.

В моей жизни большую роль сыграла случайность (госпиталь, встреча во Львове). Только это — внешний взгляд. Я был, можно сказать, нацелен на такие случайности и принял их в свою душу. Для другого они остались бы случаем, происшествием. Я их теперь за таковые не принимаю».

Любопытно, однако, у него получается: сам вроде бы стремился к случайностям, а потом видел в них чуть ли не смысл своей жизни.

Из дневника Георгия Егоровича явствует, что спустя некоторое время после экскурсионной поездки в Польшу (1958 г.) таинственный госпиталь понемногу стал забываться. Каков срок его хранения в памяти?

В записях начала семидесятых годов лишь два косвенных упоминания. В связи с больницей, куда он попадает («Диагноз нехороший, но эскулапы сомневаются. Может быть, темнят. В том госпитале темнить не стали бы.») И еще в одном месте.

Выписавшись из больницы (диагноз вроде не подтвердился), он прочитал в журнале повесть о Санокке — «Возвращение», и память ожила, пришла в действие. Опять припомнил нашу неудачную встречу в Чертаново, встречу на фольварке под Санокком. «Дружеская критика»: как же автор не доискался, не дознался — ведь где-то неподалеку, среди других больных и раненых, лежал он, контуженный, с пробитой грудью.

Нельзя, настаивал Георгий Егорович, мириться с тайнами. Надо копать до старательно спрятанной сердцевины. Выжить: добро она или зло?

Эта мысль повторяется в последней тетрадке (снова Первая градская, диагноз подтвердился).

С отчаянием и упорством он заставляет себя вспоминать давний госпиталь.

«Я поставил вопрос доктору-поляку, зачем лечат немцев. Он ответил: «Потому что дал клятву Гиппократа».

В тот момент я не знал, какая это клятва, впоследствии ознакомился.

«Вы их вылечите, они снова будут убивать вас и нас».

Польский врач со мной не согласился. Он выразился так: «Если мы их вылечим, они уже не будут фашистами, не будут презирать славян. От их национального превосходства останется ноль без палочки. Наш гуманизм — верное оружие против их философии».

Насчет моей пропаганды интернационализма доктор не спорил. Он высказался в том смысле, что для врачей кровь существует как предмет (объект) лабораторного анализа, чтобы установить болезнь или когда надо делать переливание.

Я сказал, что у фашистов тоже имеются доктора. Он мне ответил: «То не доктора, а курвы сыны». Даже матерно выругался».

С точки зрения дневниковой достоверности этот диалог, восстановленный через тридцать с чем-то лет, нельзя принять за чистую монету. Поляк говорит: «ноль без палочки», матерится... Признание, сделанное между прочим: «Я был как во сне, контуженный». Еще одно: «Из-за разницы в языках мы плохо понимали один другого. Если б я тогда знал польский, все бы уразумел и запомнил».

Через три страницы: «Мне выпало в тот период наблюдать человеческую дружбу».

Быть может, подлинное и вымышленное, случившееся и додуманное переплелись так, как обычно переплетаются спустя годы,— запутанно, прихотливо. Сама мысль приводила все это в систему, столь для него ценную, что, почувствовав приближение смерти, он торопливым карандашом заполнял свою последнюю тетрадь.

«Получается, польские доктора тоже подрывали немецко-фашистскую армию. Гуманизм против национализма!»

Фронтовая судьба утвердила автора дневника в тревожной мысли: где бы ни возобладал национализм, добра не жди. Он болезненно реагировал на любую национальную кичливость. Никому не давал поблажки. Мы обычно пропускаем такие самовосхваления и разговорчики мимо ушей, отмахиваемся от них. Он же, по его собственным словам, «видел принципиальную сторону». Мог ввязаться в уличную перебранку, порвать отношения с человеком, написать гневное письмо недавнему другу.

«Если бы Гитлер не сыграл на самом поганом, т. е. на

расовой теории, он бы не сумел вести свою подлую войну. Миллионы людей, среди них также немцы, остались бы живы!»

Между выпиской из больницы и возвращением в нее прошло примерно два с половиной года. Вначале Георгий Егорович чувствовал себя неплохо. Разъезжал на своем «Москвиче» с ручным управлением, навещался в Ленинку, читал русские и польские журналы, военные воспоминания, статьи о Коминтерне, испанской войне.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ (ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ)

Это послужило лишь началом — растрепанные тетради с дневниковой исповедью. Попросив Жору прислать фотографию отца, я пробудил вулкан. На меня обрушился шуршащий поток писем, справок, удостоверений, личные документы разных лет. Жора победно сообщил, что освоил технику фотокопирования, занимается в кружке фотолюбителей при гарнизонном Доме офицера и занял второе место на выставке, приуроченной к 1 Мая...

Я испытывал трепет перед бумажным половодьем, затопившим стол. Пришлось все это сортировать, приводить в некую систему, ломать голову над таким, скажем, загадочным удостоверением в потемневших от долгих лет зеленых корочках с надписью латинскими литерами: «Сеннациецие Ассоцио Тутмонда». В скобках: «Всемирный Безнациональный Союз». Латинскими же буквами — имя и фамилия. Сбоку — зеленая пятиконечная звезда в красном кружке.

Поди догадайся, что это — общество эсперантистов, что Георгий Егорович в ранние годы увлекался международным языком, состоял в кружке юных эсперантистов. (Не помогло ли это ему освоить потом польский?)

Кстати, теперь я убедился: он читал не только варшавские журналы и газеты. Одна из двух папок содержала переведенные им самим выдержки из польской книги о Януше Корчаке. Здесь же хранились выписки из работ Василия Сухомлинского, из его «Воспитания коммунистического отношения к труду». К обложке коричневой папки приклеен листок со словами Сухомлинского: «Чувство вины — благородное чувство воспитанного человека. Не переживает вину только дурак и дремучий нравственный невежда». (Вторая фраза подчеркнута красным карандашом.)

В другой папке можно было обнаружить школьную грамоту — «Ударнику пятилетки за успехи в освоении знаний и сознательную дисциплину», справку о тренировочном прыжке с парашютом («Самолет покинул на высоте 600 м»), свидетельство о браке, свидетельство о рационализаторском предложении, смысл которого я не смог понять, заключение медкомиссии о фронтовой инвалидности, водительские права, диплом с отличием об окончании института, пропуск в Ленинскую библиотеку, ветхий мопровский¹ билет, протокол об избрании народным заседателем...

В каком несметном количестве бумаг, заверенных печатью, отражается жизнь человека!

Не во всем, не всегда, не полностью автор дневника совпадал с человеком, который угадывался за письмами и официальными бумагами, за его же собственными заметками, когда они безотносительны к дневнику. И воспринимался он людьми по-разному. Это дает себя знать даже в двух письмах, написанных с несомненным к нему расположением, почти одновременно, по одному и тому же печальному поводу.

С разрешения Жоры — непосредственного адресата — привожу оба целиком.

Письмо Жориной матери, бывшей жены Георгия Егоровича:

12 января 1978 г.

«Дорогой сынок!

Потерять родного отца — это и для взрослого человека сильное переживание. Для тебя тем более, поскольку ты всегда уважал отца, несмотря что мы с ним с 1964 г. находились в разводе. Я его тоже уважала как исключительного человека.

Не всякая жена, с которой разошелся ее муж, станет отмечать у него лучшие стороны. Таковыми сторонами являются: справедливость, доброта, хороший подход к простому человеку.

Я сама за многое благодарна Георгию. Как в отношении образования, поскольку в силу его настойчивости, а также помощи по дому, я закончила институт им. Г. Плеханова и добилась продвижения на работе, так и в смысле общего развития.

¹ М О П Р — Международная организация помощи борцам революции.

Он приучил меня к чтению художественной литературы. Она имеет огромное значение.

Хочу напомнить и такой факт, как строительство для нас с тобой кооперативной квартиры из двух изолированных комнат с лоджией.

Ты уже имеешь представление о жизни, не всякий мужчина поступит так в условиях развода. Такое благородство нельзя забывать.

Хочу тебе сообщить, что Георгий, не как некоторые мужчины, никогда мне не изменял. Хотя был видный собой, и многие женщины на него засматривались. Я была окружена его душевной заботой и тоже берегла ему верность. В этом отношении наш брак можно считать образцовым. Для тебя это положительный пример.

Имелись в нашей жизни также отрицательные моменты. Редко у кого их не бывает.

Ты, сынок, не думай, что я начала во здравие, а кончу за упокой. Но ты должен понимать всю объективную правду, знать про отдельные недостатки, которые имел твой отец. Я, как жена, много из-за них пережила.

С одной стороны, Георгий был житейским человеком. Ты помнишь, что у него были, как говорят в народе, золотые руки. Любую вещь сам чинил, начиная от керогаза, когда мы только еще поженились, кончая лучшим телевизором. С другой стороны, он поддавался всяким фантазиям, придуманным фактам. Он слишком часто жил в мечтах, вместо того чтобы ходить по земле. Ему если что втемяшится, пиши пропало. Умный ведь человек, а вобьет себе какую-нибудь идею и держится за нее.

Это, конечно, отрицательно сказывалось на нашей жизни.

Я тоже люблю мечтать, а в молодости особенно. Но мечту не надо путать с жизнью. Разве ты, сынок, со мной не согласен? Когда путают, ничего хорошего получиться не может. Это ты поймей в виду.

Его выдумки и фантазии сгубили нашу дружную семейную жизнь.

Я советовалась с опытными в медицине людьми. Они высказывали мнение, что всевозможные фантазии, а также идеи могут явиться результатом контузии, которую он перенес на фронте Отечественной войны. Точно можно установить только на исследовании в специальной больнице.

У меня никогда бы язык не повернулся сделать Георгию такое предложение. Я его слишком уважала, а также любила.

Мне было трудно еще по причине того, что я не всегда могла разобраться, где настоящая правда, а где воображение.

Твой отец был неоднократно ранен в боях за Родину. Имел правительственные награды. Он был на редкость скромный и никогда не рассказывал о своих боевых эпизодах. Но почему-то сообщил мне, что находился в штрафном батальоне. Я его спрашивала: «Интересно знать, за что?» Он не мог объяснить. Выдумывал про госпиталь на временно оккупированной немецкими захватчиками территории. Я ему говорю тогда: «Где этот твой госпиталь? В каком конкретном населенном пункте?» Он только молчит.

Я, дура наивная, думаю про себя: забудет про госпиталь и про штрафной батальон. А он через некоторое время опять начинает сказку про белого бычка.

Периодически складывалась ненормальная семейная обстановка. Муж и жена не имеют взаимопонимания. Чего тут понимать, когда человек от неудовлетворенности придумывает различную блажь.

Особенно обидны были мне, как женщине, его фантазии про польку, которую он якобы полюбил во Львове в 1945—1947 гг. и сохранил чувство на всю жизнь. Я его спрашиваю: «Зачем же ты на мне женился?» Он отвечает: «Сильно перед тобой, Зина, виноват. Думал, то прошло». Он, сказать объективно, часто признавал свою вину передо мной.

Я лично уверена, если что и было во Львове по молодому делу, наверняка миновало. Это только в старых книжках описывают любовь до гроба, когда он и она всю жизнь не видятся. Ты, Жорочка, уже и сам женатый, должен понимать.

Много всевозможных фантазий имелось у твоего безвременно умершего отца и моего бывшего мужа. Иной раз слушаешь его — заслушаешься. Потом подумаешь: ведь опять фантазирует. Но прямо не выскажешь, чтобы не обидеть. Только он все равно почувствует, замолчит, закроется в себе или сядет за свой дневник.

Пишу тебе это, родной сынок Жора, а сердце обливается кровью, слезы бегут из глаз. Ну что же, если фантазер, придумщик? Значит, душа требовала. Пускай бы фантазировал, придумывал, только бы жил. Он мне и после развода оставался дорогим человеком. Сказать по правде, другие мужчины меня даже не привлекали. Пускай была еще нестарая и некоторые проявляли ко мне интерес.

Не только ты, сынок, осиротел. Но и я, разведенная,

овдовела. Испытываю это сердцем. Ночами, как вспомню, реву. Нет моего Георгия на свете. Хотя и не мой он был. А чей — не пойму.

Прости, сынок Жоренька, свою мамку за бестолковое письмо. Постарайся все понять. Не умом, так душой.

Никогда не забывай своего отца.

Целую тебя тысячу раз.

Твоя мама Зина.

Р. С. Когда ты был малышом, отец учил называть меня «мама Зина». А то ты никак не понимал, почему у меня и у тети Зины одинаковое имя. Он сам иногда так меня называл. Когда находился в хорошем настроении».

Письмо лечащего врача из Первой градской больницы:
«Москва, 28/1—78

Уважаемый Георгий Георгиевич!

Долг службы нередко заставляет меня сообщать родным умершего горестную весть. Настоящее письмо я пишу не по обязанности, о самом факте вас уведомили телеграммой. Мое письмо носит личный характер, его причины постарайтесь уяснить из содержания.

Какое-то время тому назад при спокойных ночных дежурствах я обычно беседовал с вашим отцом. Георгий Егорович вызывал у меня уважение и интерес. При таком диагнозе больной раскрывается перед нами, медиками, как он есть. Данный случай относится к тем, когда личность освобождается от повседневных наслоений, становится характернее.

Пишу вам не в утешение и не по принципу: «De mortibus aut bene aut nihil (О мертвых или хорошо, или ничего)». О мертвых, как и о живых, следует говорить правду. Я исхожу только из этого.

Ваш отец был человеком непростым, не совсем обычным. Он мне не сват, не брат, наши отношения я не буду называть дружбой. (Недостаточность срока, аномальная обстановка.) Однако считаю себя оценившим человеческие достоинства Г. Е.

Я не сразу, не с первого взгляда выделил его из общей массы больных. Он не старался выделяться, задавал мало вопросов. (Многие жалуются, задают десятки вопросов, переспрашивают. Это нормально.)

Соседи по палате раньше меня почувствовали симпатию

к Г. Е. Я реагировал на их реакцию. Сперва испытывал предубеждение. Мы, врачи, не слишком любим, когда в палате кто-то выделяется своим авторитетом. Мы боимся — не в ущерб ли это нашему авторитету. (Есть основания опасаться.) Но ваш отец никому не давал медицинских советов, не цитировал журнал «Здоровье», не ставил под сомнение рекомендации лечащих врачей.

Благодаря Г. Е. изменился к лучшему духовный климат в тяжелой общей палате. Возросло взаимное благожелательство, взаимопомощь. Меньше нервозности. Другие разговоры. Все передачи из дому шли в общий котел.

Заставая Г. Е. у чьей-то кровати, я понимал обычно так: этому больному сейчас хуже всех остальных, неплохо, чтобы доктора уделили ему повышенное внимание. Замечу попутно: не всякий больной способен почувствовать чужую боль, испытать сострадание. Г. Е. не заблуждался на свой счет, не разрешал себе иллюзий. Ни на что не надеясь, он сохранял трогательное уважение к врачам и медицине. Позже я узнал, что это чувство у него давнее.

Замечу также: благодарность к врачам нередка. Но с годами она обычно идет на убыль. Чем лучше человек вылечился или, наоборот, чем хуже его состояние, тем незначительнее в его глазах роль врача.

Сострадательность, присущая Г. Е., и его особое отношение к медицине не бросались в глаза и выявлялись постепенно, незаметно.

Боюсь, вам, человеку молодому и здоровому, все это не слишком понятно, не слишком ценно в ваших глазах. Но с годами, надо надеяться, поймете. Поможет в этом не мое письмо, а отцовский дневник.

Далеко не новичок в медицине, я настолько считался с Г. Е., что когда он в одно прекрасное утро попросил меня перевести такого-то больного в другую палату, мне и в голову не пришло поинтересоваться причинами. Если Г. Е. просит, следовательно, так надо.

Но от предложенного ему бокса он наотрез отказался: не согласен, что дружеское расположение следует проявлять с помощью привилегий, давать одному недоступное остальным; кроме того, я нужнее соседям в общей палате.

Нашему сближению содействовало определенное совпадение биографий: мы — одного фронтового поколения, мои родители умерли в блокадном Ленинграде, его отец убит на фронте, мать скончалась через полгода.

Мне импонировала объективность его взглядов, гуман-

ность без громких слов. Он трезво смотрел на людей, на различные сложности жизни. Трудно восстановить содержание наших бесед, мы касались многого. Однажды в ночной беседе обсуждали с ним, почему медсестер не называют теперь сестрами милосердия, почему не употребляется слово «милосердие»? (В существо вопроса я сейчас не вникаю, привожу как пример, характеризующий кругозор Г. Е.)

Моя манера в разговорах с больными прятаться за шуточки с Г. Е. не срабатывала.

У Егорыча (как называл я его в часы наших бесед) ощущалась потребность поделиться своими соображениями. Такова была его реакция на приближение летального исхода.

Но я полагаю, что существо вопроса не только в этом. Дневник велся еще с послевоенных лет. Он мне давал читать тетрадь за тетрадью. Кроме последней.

В дневнике попадались мысли, которые Г. Е. выражал в беседах. Но в письменном виде они иногда упрощались, приобретали схематичность, а также недостаточную мотивированность. Он с этим согласился. (По его словам, я был первым человеком, который читал дневник.) В ответ на мои замечания он сказал, что сто раз хотел бросить писать. Но поддавался привычке. Дневник (по его мнению) заставляет додумывать мысль до конца. Некоторые вопросы считает принципиально важными и не хотел бы, чтобы они «бесследно растворились в воздухе» (привожу дословно). Его мучил страх перед безвозвратным уходом прошлого. Самое ценное, поучительное в пережитом каждым человеком должно каким-то образом сохраниться. (Примерно так он высказался.)

Слова для него не существовали помимо действия. Это, конечно, не облегчает жизнь. Но он, насколько я успел почувствовать, не старался ее облегчить. (Тоже существенная черта.)

Ему тяжело было умирать. Винил себя, что не все довел до конца, допустил много ошибок.

Он думал о вас, выражал беспокойство насчет того, будут ли вам понятны его побуждения, его жизнь.

Простите, Георгий Георгиевич, за мое затянувшееся, сумбурное письмо. Ночь располагает к такой писанине.

Я больше других наблюдал вашего отца в его последние мучительные дни и испытывал потребность с кем-то поделиться.

Желаю вам здоровья и благополучия, верной памяти об отце. Отнеситесь к его последней воле так, как она того заслуживает.

С уважением...

Р.С. Перечитал утром. Ну и каша. Однако посылаю». Вместо подписи — замысловатый клубок с поджатым хвостиком. Доктор менее всего заботился о разборчивости, к тому же — бесконечные помарки. Будто писал для себя и не очень пекся об адресате. Три или четыре слова я вставил по смыслу, не сумев их прочесть.

В письме Жориной матери лишь кое-где исправлены знаки препинания. Как позволил я себе сделать такие — только такие! — исправления в дневнике Георгия Егоровича.

Нигде не сформулировал Георгий Егорович свою последнюю волю, никого не обременял ею. При всем том она была достаточно определена и для доктора, с которым он вел откровенные предсмертные беседы, и для Жоры. Она сохраняла свою непреложность для людей, ценивших и любивших умершего.

Я его в свое время не понял и оценил слишком поздно. Тем больше мой долг, надо попытаться отыскать следы госпиталя, назвать имена. Попытаться не только ради высоких целей, — хотя бы для очищения собственной совести.

ТОЧКА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ

Ответ приблизился со стороны настолько неожиданной, что я не сразу в него уверовал и не испытал ни малейшей радости. Застыл от изумления, медленно и недоверчиво прослеживая извивы причудливо закрученной спирали.

Последняя запись в дневнике Георгия Егоровича датирована 12 декабря 1977 года.

В декабре того же семьдесят седьмого года скончался мой приятель Ежи Плеснерович, литератор и режиссер из польского города Жешува.

Мы познакомились, когда он приехал в Москву на совещание, созванное нашим Союзом писателей. В номере

гостиницы «Пекин» (трельяж, широченная, укрытая шелковым покрывалом постель, мерцающая высоко под потолком синяя люстра) выпили на брудершафт.

К моменту брудершафта я уже знал: Плеснеровичу нельзя ни грамма спиртного, категорически запрещены командировки, какие-либо волнения, сильные переживания и вообще все, из чего состоит грешная земная жизнь.

Насчет запрета и грешной жизни он признался сам, слабо улыбаясь и наливая по второй.

Улыбался он часто и почему-то смущенно, будто винясь. Двигался мягко и вместе с тем — стремительно. Любопытный, деликатный и нетерпеливый. В нем добродушно уживались противоречивые свойства, не мирившиеся с одним: вконец подорванным здоровьем.

В июне 1977 года с писательской группой я попал в Польшу на Дни советской литературы. Жешув не значился в списке городов, которые нам надлежало посетить. Но там жил Плеснерович, поставивший радиоспектакль по повести «Возвращение».

У руководителя делегации я отпросился на сутки, надеясь еще сутки прихватить на свой риск и страх.

В Жешуве Ежи Плеснеровича не оказалось. Он, как мне сообщили, лечился в санатории неподалеку от Кросно. Следующим утром я мотанул туда.

Ежи плохо выглядел, был мучнисто бледен, ходил так, словно ему стало трудно передвигать свое крупное, отяжелевшее тело. Но это не мешало строить планы на будущее, намечать поездки и встречи.

На письмо из Москвы ответа я не получил. И вообще — ни строчки от Ежи.

Лишь весной семьдесят восьмого — коротко: Плеснерович скончался в декабре минувшего года...

Своевольно закружились беспорядочные воспоминания. Синий маршрутный автобус с эмблемой РК (черный руль, наложенный на желтый круг), духота, несмотря на ранний час, молчаливые пассажиры, спешившие в Кросно к началу рабочего дня.

В Кросно схватил попутный «польский фиат» — родню наших «Жигулей», показал шоферу написанный на листке адрес. Тот дружелюбно кивнул.

Минут через тридцать я постучал в двустворчатую дверь — одну из целой вереницы выходивших в широкий коридор санатория.

Ежи открыл. Мы обнялись на пороге. Теплый серый

пиджак, брошенный ему на плечи, упал. Я быстро нагнулся.

— Тебе нельзя резких движений,— строго напомнил в ответ на его извинения и благодарность. Даже среди поляков Плеснерович выделялся своей неиссякаемой вежливостью. К тому же он был личностью восторженной.

— Посмотри, как прекрасно!

Подвел меня к широко распахнутому больничному окну. Лес поднимался за рамой и тянулся вверх, докуда хватало глаз...

Дважды, если не трижды, прочитаны дневники Георгия Егоровича. Дважды или трижды принималось окончательное решение: отложить до лучших времен — заняться немедленно. Всякий раз, безотносительно к решению, сквозь марево, тревожа своей необъяснимостью, проступало белое окно на густо-зеленом фоне.

Вылетело из головы название курорта, где виделся с Ежи Плеснеровичем, только помнил: оно состоит из двух слов; находится городок к югу от Кросно, совсем неподалеку.

Не понадобилось и пяти минут, чтобы по туристической карте установить: Ивонич Здруй.

Ивонич Здруй. И в о н и ч З д р у й.

Назавтра, немного придя в себя, я позвонил полковнику-отставнику А. В. Гаркавенко, который досконально изучил путь нашей дивизии и не раз выручал меня.

— Саша, сто сороковая брала Ивонич Здруй? Это к югу от Кросно.

— Можешь не уточнять местонахождение Ивонича Здруя.— Александр Васильевич любил ответы обстоятельные, развернутые.— Данный населенный пункт действительно находился в полосе наступления Сто сороковой Сибирской, ордена Ленина, дважды Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова второй степени стрелковой дивизии.

— Это — как бог свят?

— Странно от тебя слышать.

— Прости, пожалуйста.

— Прощаю. Что у тебя еще?

— Награждал ли наш комдив двух поляков из Ивонича Здруя?

— Такой факт имел место. Приказом по дивизии награждены два гражданина Польской Народной Республики за помощь советским раненым.

— А насчет каких-нибудь подробностей...

— Такие сведения не фиксируются в оперативных документах. Между прочим, мог бы звонить не только как в справочное бюро. Я недавно на рыбалку ездил. Кое-какой закусон еще сохранился...

Теперь, когда установлено место (точно) и время (примерно), мне ясно, к кому стучаться.

Строчу письмо в Ульяновск Е. П. Брычко, который с августа сорок четвертого был начальником штаба нашей дивизии. Что ему известно о польском населенном пункте Ивонич Здруй? Не размещался ли там тайно госпиталь, где поляки лечили советских раненых? Знало ли наше командование и лично он, Елисей Петрович, о таком госпитале? И т. д.

Ответ не заставил себя долго ждать. С неизменной скрупулезностью старого штабника Елисей Петрович сообщал из Ульяновска:

«Относительно боя за Ивонич Здруй помню, что это было в середине сентября месяца. За Ивонич Здруй немцы держались упорно, и наши части вели за этот город бой двое суток. Но до этого там вели бой другие части нашей армии (имеется в виду 38-я армия.— В. К.), не помню точно, но мне кажется, что 342 с. д. 68 стр. корпуса. Но она ушла вправо и город Ивонич Здруй оставила нам.

В результате успешного боя Ивонич Здруй нашими частями был взят... Вскоре ко мне в штаб дивизии прибыли два польских гражданина с жалобой на наших солдат, что они поят лошадей из лечебно-курортного источника. На что я им со смехом ответил: «Наши лошади заслужили напиться из лечебных источников».

Но солдаты доложили, что лошади этой воды пить не хотели, она горько-соленая.

В дальнейшем разговоре выяснилось, что ко мне пришли с жалобой врач местного госпиталя и местный житель по специальности инженер (фамилий не помню) и что они оба несколько дней назад вывезли ночью с поля боя несколько тяжело раненных советских солдат и поместили их в подвале помещения госпиталя, оказав медицинскую помощь.

Указанные сведения я доложил комдиву генерал-майору Киселеву, который поручил тут же находившимся полковнику Майсурадзе и начсандиву Цареву проверить данные и немедленно ему доложить.

После тщательной проверки оказалось, что в госпитале в полуподвальном помещении находилось 12 человек переодетых в гражданскую форму тяжело раненных бойцов и два офицера...

Советских бойцов выносил польский инженер и на своей лошади доставлял в госпиталь ночью, а польский врач-хирург оказывал им медпомощь. Двум солдатам были сделаны сложные операции втайне от немцев.

Комдивом генерал-майором Киселевым было принято решение: наградить граждан Польской республики орденами Красной Звезды. Но знаков в дивизии в наличии не оказалось. Тогда комдив принял решение наградить их медалями «За отвагу». Поручил мне подготовить приказ о награждении, а Майсурадзе подготовить собрание местного населения Ивонича Здруя в зале клуба.

На митинг собралось много польских граждан, выступил полковник Майсурадзе. Я зачитал приказ о награждении польских граждан медалями «За отвагу». Тут же комдив лично вручил медали награжденным и поблагодарил их за высокий долг перед Советской Армией...

Правда, через некоторое время нам из наградного отдела фронта сообщили, что мы не имели права награждать польских граждан, а только должны были ходатайствовать о награждении их. Но так как этот случай был единственный и заслуживал внимания, нам было прощено «незнание закона о награждении иностранных граждан». Был составлен дополнительный материал и отослан военному совету 1-го Украинского фронта, который наш материал утвердил и ходатайствовал перед правительством о подтверждении награждения...»

В тот слякотный, с весенней моросью день, лишь когда стемнело, я заглянул в зеленый почтовый ящик, прибывший к калитке. Вынув волглые газеты, вернулся домой, бросил их на тумбочку. Ложась спать, развернул; из газет выпало письмо Е. П. Брычко.

Перечитал его дважды, сложил аккуратные странички. Сна — ни в одном глазу...

«Комдивом генерал-майором Киселевым было принято решение...»

Раздумываясь, круглолицый Александр Яковлевич Киселев входит к начальнику штаба, расстегивая тугой воротник мятого кителя. Быстро оглядывает просторную комнату, закатанные к потолку черные шторы, усатые портреты по стенам, добротный буфет. Снимает генеральскую фуражку, стряхивает капельки воды (начались дожди, вскоре они зарядят всюду), большим платком вытирает шею, коричневые от солнца запысины. Двое суток бурлил бой, и хорошо, если ему, командиру дивизии, удалось урвать часочка два для сна.

Подперев голову, он слушает начальника штаба, скосив глаза, следит по его карте, разложенной поверх вышитой хозяйской скатерти (уже подклеены новые листы, залитые зеленью лесов, сквозь которую проступают сплюснутые коричневые кольца, означающие высоты). И вдруг Брычко — о каком-то чудном госпитале.

До того ли, когда потрепанные полки карабкаются на мокрые кручи, цепляясь за каждую неровность, каждый бугорок. Наступление в горно-лесистой местности, будь она трижды проклята. Противник выше тебя, перед ним, как на ладони, цепочки ползущих, перебегающих, падающих бойцов, он косит их, косит сверху прицельным, точно корректируемым огнем. Самого же его нелегко засечь, достать артиллерией, минометами. Низкая облачность привязала самолеты к аэродромам.

Вынос и эвакуация раненых — проблема. Обстреливаются пути подъезда, машины бессильно буксуют на размытых крутых подъемах. Жалуются начсандив, беспомощно разводит руками зам по тылу. На столе поверх карты донесения из полков: не хватает людей, снарядов, патронов...

Проходя в комнату, Киселев миновал в коридоре офицеров связи, спящих вповалку под вешалкой из оленьих рогов. Натянутые на голову, заляпанные грязью плащ-палатки напоминали о бессонной колготной ночи, что осталась позади. Вскоре их растолкают, пошлют в части...

О каком там еще госпитале докладывает педантичный Елисей Петрович? До того ли сейчас командиру дивизии.

Однако Александр Яковлевич Киселев всегда оставался самим собой. Даже валясь с ног от усталости.

Таким мы его запомнили и будем помнить десятилетиями...

...Генерал вскинулся, оживился. Что за поляки? Откуда? Головой рисковали — не чем-нибудь. Под немцем не согнулись. Да еще нам помогали. То и дорого: не только о себе беспокоились, не только единокровных спасали. Если, конечно, так именно и обстояло. Если все проверено.

Киселев возбужденно поднимается, резко отодвигает стул, вышагивает по паркету, сцепив руки за спиной. Пусть бы все узнали и поняли, как высоко он, командир советской дивизии, ставит этих незнакомцев, как дорог их порыв ему, человеку суровому, властному, что ни день идущему обок со смертью и посылающему на смерть других.

Не случалось прецедентов, и он сам не знал, какими возможностями располагает, правомочен ли награждать зарубежных граждан.

Начальник политотдела Арчил Семенович Майсурадзе, который, молча прикурившись, переводит взгляд с начальника штаба на комдива, тоже не знает. И Елисей Петрович Брычко не знает.

Но Киселеву достаточно уверенности: поляки должны быть награждены. Незамедлительно и достойно.

Когда один из штабников — пухлый капитан с черной трофейной папкой на молнии — осторожно предлагает запросить наградной отдел фронта, Киселев грубо его обрывает. Майсурадзе довольно ухмыляется. Он тоже не выносит этой манеры: запрашивать, согласовывать, утрясать. Награждение поляков — важный политический момент. Политические решения следует принимать так же быстро, как оперативные. Он не устает об этом напоминать своим подчиненным. О награждении надо будет сообщить замполитам полков и отдельных подразделений, чтобы обеспечили поучительные беседы об интернационализме и вообще уделяли побольше внимания этой существенной теме. В дивизионной газете пусть напечатают...

Брычко думает, что пухлый капитан с папкой вовсе не глуп. Нет хуже, чем получать по заливку за превышение командной власти, штабных прав. Но с другой стороны — только начни выяснять, слать ходатайства, и один господь знает, чем и когда это кончится, не утонет ли запрос в писарской трясине. А ложка-то дорога к обеду. Поляки ему понравились — держатся независимо, с достоинством, перед гитлеровцами, видно, не робели. Нравится даже то, что, не побоявшись, пришли с жалобой на наших ездовых,

норовивших ублажать своих лошадей не иначе как минеральной водой.

Правда, Леша Бессонов, начальник разведки, докладывал, будто в госпитале лечили и немцев. Но это нас не касается. Госпиталь есть госпиталь. Да и маскировка, возможно, нужна, лавировать нужно.

Они трое, комдив, начштаба, замкомдива по политчасти (он же начальник политотдела) согласно скрепят подписями приказ о награждении.

Только капитану с черной папкой не по себе. Не его печаль-забота: наградить или не наградить. Начальство само ведает, по телефону разговаривает. Но сейчас комдив обернется к нему, поинтересуется, есть ли в наличии звездочки, а последнюю Красную Звезду вручили неделю назад командиру взвода бронейщиков.

Если генерал решит наградить поляков Красной Звездой и сегодня же вручить ордена, получится пшик, вернее — он, капитан, получит, как говорят солдаты, медаль во всю ж...

Так и есть.

Красная Звезда, рассуждает вслух Киселев, самое малое, что заслужили братья-поляки.

Брычко и Майсурадзе кивают головами. Майсурадзе энергично, Брычко — сдержанно. Красная Звезда — предел наградных возможностей командира дивизии. Более высокие награды — привилегия вышестоящих инстанций.

— Давай по-скорому излагай приказ,— поглядывая на часы, комдив обращается к капитану.— Может, ты против?

Капитан не против, он всей душой за. Только сегодня в сейфе ни одной Звездочки.

— Ни одной? — яростно бьет кулаком генерал о стол, покрытый скатертью и картой, и произносит фразу, в которой только предлоги поддаются печатному воспроизведению. Успокоившись, опустившись на стул, бросает:

— Оформим полякам медали «За отвагу». Лучше, чем ждать, покуда пришлют ордена.

Брычко и Майсурадзе единодушно кивают.

Архивы сохранили этот необычный документ. Привожу его целиком. В том виде, в каком он некогда составлен: **«Приказ по 140-й стрелковой дивизии № 063-н 21.9.1944.**

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за вынос с поля боя 12 тяжело раненных бойцов Красной Армии, оказание им высококвалифицированной помощи в тылу

врага, сохранение и сокрытие их в течение 10 дней¹ от розыска со стороны немецко-фашистских войск НАГРАЖДАЮ медалью «За отвагу»:

1. Доктора медицины Алексевича Иосифа Иосифовича — старшего врача Ивонич-Здруйского санатория, Кросненского уезда, Краковского воеводства (Польша).

2. Инженера-гидротехника Барановского Михаила Зеноновича — Кросно, Кросненский нефтепромысел (Польша)».

Совсем недавно я шел этой же улицей Ивонича Здруя, по которой командование дивизии отправилось на митинг в связи с награждением.

Ежи Плеснерович осторожно сказал:

— Немножечко посидим в ресторане. Мне немножечко надоел этот... По-русски «санаториум» какого рода?

— По-моему, ты хочешь немножечко нарушить режим, — проявил я проницательность.

— Не больше чем на пятьдесят граммов вудечки. — Прикинув, Ежи добавляет: — С минеральной водичкой.

Мы беседовали о чем угодно. Только не о том, что здесь, в этом «санаториуме», тридцать три года назад размещался нелегальный лазарет.

Не лежал ли Георгий Егорович в той же палате, где потом Ежи? Где все так же шумят деревья за открытым окном и летний ветер лениво вздымает легкие белые занавески.

Договаривались о встрече более спокойной, неторопливой, не подозревая, что видимся последний раз...

Я запомнил дату: 16 июня 1977 года.

ЛУЧИ ОТ ТОЧКИ

Теперь, когда линии непредвиденно пересеклись в точке, имеющей свое географическое наименование, пересеклись, своенравно связав двух людей, никогда не знавших, не подозревавших о существовании друг друга, мне хочется знать, о чем думал в тот четверг, лежа в Первой градской больнице, Георгий Егорович, о чем писал в своей завер-

¹ Имеются в виду лишь те советские раненые, которые попали в санаторий непосредственно в период боев за Ивонич Здруй. Отсюда: 10 дней и 12 человек. В списке от 15 сентября 1944 г., который удалось разыскать в Ивониче Здруе, 15 фамилий. Некоторые совпадают. Доктор Алексевич писал русские фамилии латинскими буквами.

шающей дневник тетради. Я жажду знаменательных совпадений.

16 июня 1977 года — никаких записей. 17-го — тоже никаких. Зато в субботу и воскресенье прорвало. Медицина отдыхала, больной трудился. Начал своим недавним разговором с хирургом-бородачом.

Разговор, по всей видимости, велся ночью; собеседники касались всевозможных проблем, не спеша переходили от одного предмета к другому, шутливо упрекали друг друга. Врач между прочим заметил, что ночные часы лучше использовать для отдыха, а не для философствований и дневника. Больной, не оставаясь в долгу, распространился о вреде трубки и курения.

Среди бесконечных «я сказал», «он сказал» (Георгий Егорович старался дословно восстановить прямую речь, что местами выглядело неестественно) попадались вещи и по-серьезнее, чем вред табака: память как помощь в беде, нравственный долг врача, участь хирурга, которому возраст вскоре закроет доступ к операционному столу.

Правда, в подобных суждениях была не бог весть какая оригинальность. Примечательно другое. Георгий Егорович не совсем смирился с приговором. В своем письме Жоре доктор был недостаточно точен, когда уверял, будто Г. Е. ни на что уже не надеялся.

Слабая надежда теплилась. Это чувствуется по вопросам, какие он осторожно, бочком ставил врачу. Тот уклонялся, уходил в сторону, отвечая не по существу. Достаточно красноречивая уклончивость ввергала Георгия Егоровича в отчаяние. Он горько писал о неминуемом конце:

«Мои часы сочтены. Даже бородастый не спорит».

Дальше следовала одна из самых невнятных страниц во всем дневнике. Георгия Егоровича оставила его постоянная обстоятельность. Будто он одновременно хотел и не хотел что-то высказать. Это «что-то» было сугубо личным, ни к кому не обращенным, и писавший нисколько не заботился о ясности, последовательности.

Строки, датированные 18 июня 1977 года, при первом чтении я вообще склонен был считать выведенными в таком болезненном и подавленном состоянии, когда человеку уже безразлично, поймут его или нет.

«Мы на автобусе доехали до хутора недалеко от города Новый Двор. Там стояли три крестьянских домика, в одном проживала ее подруга с дочерью. Они уехали отдыхать куда-то в горы.

Изба наподобие нашей чертановской, с печкой. Чуть поменьше. Две комнаты, кухня.

Я опомниться не успел, как она навела порядок: подмела, положила свежую скатерть, перестелила постель.

Потом взяла велосипед, привязала к багажнику хозяйственную сумку и сказала, что скоро приедет. Купит продуктов в городе Новый Двор.

Пять суток как на необитаемом острове, как один час.

Даже когда выходила по воду к колодцу, то целовала меня.

Рядом пруд или речушка. Крякают утки. Тишина немислимая.

Придумывала всякие обеды, ужины. Как прежде, когда жили во Львове под одной крышей. В чай добавляла фруктовый сироп. Все делала сноровисто, быстро, я и охнуть не успевал.

Она смеется. Все время смеялась. Только в последний вечер заплакала. Мы сидели на берегу. Она плачет, умоляет меня, чтобы поклялся, что никогда не забуду этот хутор, эти наши дни.

Как всегда вечером, набросила мой пиджак. Она сильно зябла, постоянно бил озноб.

Сказала, что я ее человек, ее мужчина. Был, есть и буду единственный на белом свете.

Прошло без года двадцать лет, а я все-все помню и до смерти не забуду».

Дальше шли три черно-начерно зачеркнутые строки.

Кончалась запись так:

«Хорошо все-таки, что она не видит меня сейчас, когда я больной и обреченный. Для нее это было бы сильным страданием. Сколько я ни мечтал о встрече, но не желал бы, чтобы она вошла в палату».

И еще одна необъяснимая фраза: «Тогда, в польской больнице, ксендз благословил на брак человека накануне его смерти».

Сквозь ночь в мою комнату прорывались привычные шумы подмосковного поселка, однообразно грохотал товарняк, пересчитывая стыки, на взлетной полосе Внуковского аэродрома реактивные лайнеры опробовали моторы, как эхо, им отзывались самолеты, снижающиеся для посадки.

Меня сбивал с толку прежде всего хутор возле города Новый Двор. Нет у нас такого города. Но название — явно

русское. «Она» — его львовская полька, уехавшая на родину еще в 1947 году?

Поди разберись. Не зря же Зина считала его неисправимым фантазером...

Однако ночью нисходят прозрения.

Стоило лишь протянуть руку, достать из ящика туристическую схему «Варшава и ее окрестности», и через две минуты я отыскал город Nowy Dwór (Новы Двур).

Мгновенно все стало на свои места. «Без года двадцать лет» — 1958 год, поездка Георгия Егоровича в Польшу, когда он, прибыв в Варшаву, откололся от своей экскурсионной группы.

Он отыскал ее! Они провели пять суток на крестьянском хуторе неподалеку от столицы, вблизи города Nowy Dwór.

Годами он жил памятью об этих сутках, этих часах. Вплоть до последних своих дней.

Конверт со штемпелем Ульяновска я сунул в тетрадь Георгия Егоровича. Заложил то место, где он отрывисто писал о варшавской встрече с женщиной, которую неизменно любил.

Вдогонку за первым пришло новое письмо от Е. П. Брычко. Он почувствовал, насколько мне важно все связанное с Ивоничем, и старался помочь, придирчиво выспрашивая собственную память.

«Фронт к Ивоничу Здрую приблизился примерно в конце июля. Действительно госпиталь находился на ничейной земле...

В госпитале лечили всех, а в основном гражданское население. Тех, кого они подбирали (пленных, советских партизан), а также лечили раненых немцев. Все раненые и больные, за исключением немцев, выдавались за гражданских поляков.

С человеком, о котором Вы пишете, с офицером нашей дивизии, возможно, было так, что он заблудился, его ранили, и каким-то образом он попал в этот госпиталь. Ведь в Санокке здорово пострадали наши тылы и некоторые подразделения...»

Лет десять тому назад, начав писать «Открытый фланг» — повесть о нашей дивизии, я с горечью хватился: нет подшивки дивизионной газеты. Та, которую мы вели у

себя в редакции, погибла вместе с автобусом, расстрелянным в упор с немецкого транспортера на берегу Сана 4 августа 1944 года. Новые газеты мы уже не подшивали. Не оказалось многотиражки ни в Ленинской библиотеке, ни в архивах. (Почти общая участь дивизионок.) Я кликнул клич среди однополчан. Мне стали присылать случайно сохранившиеся экземпляры, вырезки, фотокопии. Иногда полстраницы, иной раз четвертушку (обычно заметка о самом отправителе). Набралась объемистая папка, от которой было не много проку — слишком разрозненны, отрывочны, недостаточны материалы.

Сейчас, вспомнив о старой, успевшей запылиться папке, я принялся просматривать ее содержание. В одном из номеров, рядом с заметкой об артиллеристах, удачно отбивших контратаку, обнаружил информацию, набранную черным петитом:

«Советские награды — польским гражданам»

В освобожденном от гитлеровских захватчиков населенном пункте состоялся торжественный митинг. Собрались местные жители и представители нашего командования.

Такие митинги часто проводятся в городах и деревнях Польши после прихода Советской Армии. Но этот был не совсем обычный. На нем двум польским гражданам вручались советские боевые медали. Они удостоились их за отвагу, проявленную в условиях вражеской оккупации, — за медицинскую помощь, оказанную советским воинам.

Поляки, получившие награды, под носом у гитлеровцев организовали нелегальный госпиталь. В нем врачевали советских военнослужащих, которые во время недавних боев получили ранения и оказались на нейтральной или оккупированной территории, наших партизан и парашютистов, беглецов из фашистского плена, местных жителей, а также других лиц, нуждавшихся в лечебной помощи.

Командир части поздравил награжденных и выразил им благодарность. В свою очередь награжденные благодарили Советскую Армию — освободительницу и высказывались о советско-польской боевой дружбе.

В. Владимирский».

Спустя много лет приходится раскрывать маленькие редакционные секреты. «В. Владимирский» — мой псевдоним. Я его обычно ставил под короткими информациями,

приберегая настоящую подпись для произведений более значительных. Например, для заметки об артиллеристах, помещенной рядом.

Информации часто составлялись по политдонесениям и оперативным сводкам, поступавшим из полков, на основании чьих-то слов.

Автор «Советских наград...» явно не был на митинге, пользовался сведениями из вторых рук. Отсутствие фамилий, названия населенного пункта — дело обычное для дивизионки военного времени: разглашать подобные данные не полагалось.

Теперь понятно, почему я ничего не помнил ни об Ивониче Здруе, ни о госпитале.

Любопытно, пожалуй, в куцем сообщении слова «а также другие лица, нуждавшиеся в лечебной помощи». Кто же они, эти лица, после того как перечислены поляки, советские бойцы и бывшие пленные?

Видимо, было известно и о немцах, но в то время писать о них в газете не считали возможным, не сумели бы объяснить странное для военных лет явление.

Еще одно уточняющее подтверждение: госпиталь существовал.

НА НИЧЕЙНОЙ ЗЕМЛЕ (ТОЙ ЖЕ УЛИЦЕЙ)

Стоило чуть приоткрыть окно, и пронизывающий утренний ветер бросил в комнату дождевые капли. Одна упала на размочалившийся картон старой тетрадной обложки и, мгновенно впитавшись, обратилась в серое пятнышко. Я сдвинул стопку тетрадей, закрыл на шпингалет раму. Через час-другой туман поднимется, ветер скорее всего стихнет, обнажатся лесистые вершины; горные кручи предстанут в своей осенней красе — густая зелень с желтыми подпалинами, извилистые ниточки тропок, обрывы, пирамидальные кроны, нацеленные в зенит.

На ратуше пробило восемь. Куранты разносили трогательно-незатейливый мотив. Слова этой песенки здесь напевает каждый:

Ивонич — дивный городок,
Он — радость и любовь моя...

Далее — столь же незамысловато.

Мое открытие Ивонича Здруя чуть запоздало. Год назад курорт отпраздновал четырехсотлетие со дня основания.

Летом семьдесят седьмого, попав сюда к больному Ежи Плеснеровичу, я больше поглядывал на часы, чем по сторонам. Время беспощадно подхлестывало, основания притормозить его запрограммированный бег, «застолбить» городок, притулившийся к лесистым склонам, еще не выказали себя. Ивонич оставался настолько «одним из...», что даже название не сохранилось в памяти. Лишь беглые, произвольные дорожные впечатления.

Вдоль накатанной асфальтовой ленты из Жешува в Кросно и дальше на юг вздымались альпийские предгорья. Крестьянка в бикини ворошила сено, другая, в купальнике, раскинулась в шезлонге, зажмурив глаза и подставив лицо ранним лучам. Парень в клетчатых трусах и резиновых сапогах шел за плугом. Семья в больших беретах и спортивных тапочках шествовала с косами. Двухэтажные коттеджи победно теснили деревянные избы.

Хочешь — воля твоя, умиляйся неопейзанским сценам, видам, до которых так охочи фоторепортеры и операторы кинохроники: эффектная стыковка нового со старым, традиционный пейзаж, нарушенный самодовольной, всепроникающей современностью...

Не слишком ли доступны такие наблюдения, дорого ли стоят?

У «пейзан» в бикини и беретах, надо думать, забот полон рот, и восторженное, походя, умиление автотуриста, право же, неуместно. Да и турист в лучшем случае сохранит фотографии, слайды. Летучая память выветрится, ее забудут новые впечатления. Будешь чесать затылок, натужно вспоминая, где и когда ты это видел, стараясь отличить от других снимков и цветных открыток.

Постижимо ли величие природы при разрешенной в Польше автомобильной скорости 90 километров в час? Допустить, будто ты хоть сколько-нибудь понял промелькнувшую рядом, поманившую жизнь, значит и вовсе предаться самообольщению либо самообману...

Обосновавшись на считанные дни в Ивониче Здруе, я всячески ограничивал, суживал свою цель. Лишь то, что связано с участью человека, для которого микроскопическая точка на карте осталась загадкой и памятью на всю жизнь. Таинственным островком, на который его выкинула фронтальная волна.

Но «лишь то» — беспредельно. Корни его теряются в далекой глубине, корневая система, вопреки кажущемуся, с годами разветвляется, прошлое проникает в сегодня, и ты недоуменно останавливаешься, пытаешься разглядеть, угадать, как все это было, есть, будет...

На туристической карте «Ивонич и окрестности» цветными карандашами я посилено воспроизвожу боевую обстановку, как она сложилась в августе — начале сентября 1944 года. Не поручусь за безупречную точность (обстановка нанесена в соответствии со старым фронтовым анекдотом: «Мамка, — зовет пацан, — командир карту достал, сейчас будет дорогу спрашивать»), но все же очевидно: линия наших окопов змеилась севернее курорта, отделяя его от деревеньки Ивонич. Немцы же укрепились к югу от него, на высотах 512, 525, 550, 608, оборудовав доты, сеть траншей и укрытий.

Сегодня уже не установить, какая часть сооружений создавалась непосредственно при подходе Советской Армии к Сану, какая — загодя.

Весь этот район давно облюбован гитлеровским командованием. Сперва как место возможной ставки фюрера, потом как рубеж, самой природой уготованный для неодолимой обороны.

Еще осенью 1940 года после аэросъемки и обстоятельного воздушного наблюдения начали возводить гигантский «фюрер-объект». Степень засекреченности была такова, что не только оградили всю территорию высоким непроницаемым забором, отороченным колючей проволокой, но и заливали зеленой краской каждый холмик свежевырытой земли. В главный тоннель (почти 500 метров длины) свободно въезжал железнодорожный состав. Сверх того строились электростанция, котельная, водокачка.

Местное население, привлеченное к основным работам, потом уничтожалось. Есть данные, что заодно истребили также итальянских инженеров. Это не помешало Муссолини вместе с Гитлером посетить супер-бункер. Визит запечатлен на фотоснимках германских газет того времени и в памяти жителей окрестных деревень, которых на трое суток изгнали из своих домов.

Они и поныне высятся, нерушимые стены, будто лишь вчера сняли опалубку. Я ходил и дивился бетонной прочности этих теплиц, где ныне разводят шампиньоны.

Зловещая тайна сперва обернулась трагедией, потом — анекдотом. Спецобъект фюрера превратился в небывалое

по размерам и технической оснастке хранилище конского навоза, который служит питательной средой для шампиньонов.

Строгая — строже некуда — тайна способна выкидывать и такие фортели. Прежде, однако, чем станет анекдотом, прольется столько крови, что ко времени благополучной метаморфозы уже будет не до смеха.

Километрах в пятнадцати южнее засекаченного логова в 1941 году гитлеровцы устроили лагерь для советских военнопленных, сюда же прибывали транспорты с поляками и евреями (деревня Шебне, Сталаг-325). И здесь — тайна, и здесь — гигантомания. Тела убитых и умерших свозили в овраг. Их было столько, что значительная часть оврага поднялась, образовав огромную площадку и созданный отнюдь не природой амфитеатр...

Нанеся на безобидную туристическую карту с кемпингами, санаториями, пансионатами, автостоянками, кинотеатрами, общественными уборными, заправочными колонками бетонное убежище фюрера и Сталаг-325 (октябрь 1941 года — март 1944), я спустился еще километров на 15—20 к юго-востоку от Шебне и уперся в зубчатый пунктир наших позиций. Судя по обстановке, у противника — глубоко эшелонированная оборона, господствующие над местностью наблюдательные пункты, оснащенные, разумеется, цейсовской оптикой. У нас — спаленные долинные деревеньки, в том числе Ивонич. Сам «Здруй», то есть курорт, в точном переводе — «источник» — между красной линией и синей. На нейтральной земле, где отсутствуют чьи-либо войска и хоть какая-нибудь возможность укрыться. Всё просматривается с вражеских наблюдательных пунктов, простреливается, доступно бомбам, минам, снарядам, прицельным очередям крупнокалиберного пулемета.

В своеобразной ситуации, вернее, в не совсем обычных предпосылках ее, сыграл свою роль и лагерь, откуда бежали в леса и горы пленные, и партизанские отряды, наводнившие эти леса и эти горы...

Боясь распылиться, я провожу фломастером круг, в центре которого Ивонич Здруй.

У гитлеровцев всего хватало — продовольствия и снаряжения, бетона и боеприпасов. Укрепившись на горных краях, они держали ключи от Карпат. Но хозяйничали в Карпатах и Прикарпатье партизаны. Отряды, таившиеся в лесных дебрях, близ буровых скважин, в глубоких тесни-

нах и расселинах, в штольнях, пустовавших бараках, где жили рабочие с нефтяных промыслов. (Запах нефти, о котором упоминается в дневнике Георгия Егоровича.) Здесь действовали два советских отряда: «Сергей» и «Кравченко», приземлялись парашютисты, заброшенными тропами пробирались разведгруппы.

В польском языке есть слово, объединяющее все многообразие сопротивления, — «партизанка». Это и восстания, и взрывы на дорогах, и засады у мостов, и захват мотоциклов, и выпуск нелегальной литературы, и помощь пленным, и многое, многое другое — вплоть до связи с местными жителями, с людьми, имеющими доступ в лагеря, комендатуры, в различные оккупационные учреждения, с немцами-антифашистами.

Если брать район, заключенный в рамку моей туристической карты, то едва ли не столицей местной «партизанки» окажется Ивонич Здруй. В курортном городке хранили оружие, устраивали конспиративные встречи, обменивались информацией, снаряжали диверсионные группы, разрабатывали планы и способы саботажа, запасались продовольствием и — получали медицинскую помощь. Принадлежавшая специалисту по костному туберкулезу доктору Юзефу Алексевичу больница «Санато» — главный партизанский госпиталь, где доцент (действительно молодой доцент, в дневнике правильно) Виктор Бросс, врачи Кчоровский, Мечислав Сидор, Каняк делали перевязки и операции, подчас сложные. Инженер Михал Барановский ведал — как бы это назвать — организационной стороной, обеспечивал перевозку раненых, доставку персонала, охрану. Иногда врачей ради алиби «захватывали», надевали черную повязку на глаза, везли в лес, где лежали раненые.

Во врачах постоянно нуждались и гражданские. Не только больные. Осколки, пули не признают различия между гражданским населением и военными, между детьми, выбежавшими поиграть, и партизанами, отстреливающимися из-за деревьев.

Сейчас уже не установить, кто именно из медиков пользовал Георгия Егоровича, пока его прятали на лесных заимках, доставляли из одного тайника в другой, передавали в надежные руки. Таких, как он, были десятки, прибавить беглых пленных — сотни.

Система всяческой, прежде всего медицинской помощи партизанам, пленным, парашютистам была настолько раз-

ветвленной и отлаженной, что на конспиративной квартире Чеславы Кендерской (девичья фамилия — Михна, псевдоним — «Астра») одновременно с немецким штабом находились раненые беглецы из плена. Штаб внизу, раненые — на чердаке. Ночью, при тусклом свете карбидной лампы, доктор Алексевич произвел операцию. Инженер Барановский стоял на страже.

Едва представилась возможность, раненых отвезли в «Санато». Это были отнюдь не первые русские в до отказа переполненных палатах, глядевших окнами на лес.

Больничная теснота затрудняла работу врачей и сестер, но вместе с тем играла им на руку. Русских клали вперемежку с поляками. Случалось, обряжали женщинами, укрывали косынками. Однажды, когда сунулся немецкий патруль, дали в руки свечи, — умирающие...

— Выходит, немцы догадывались? — спросил я.

— Они не были такие глупые, — ответила Мария Якубович, в те далекие времена носившая псевдоним «Мила», — совсем не были. Имели подозрение о пленных, правдоподобно, о русских и польских партизанах. Но как, проше пана, отличить цивиля от партизана, русского альбо украинца от поляка? У них на медицинских карточках такие похожие, непонятные для немцев имена. Грозили доктору Алексевичу — «расстреляем». Он молчал, показывал медицинскую документацию. Возле польских фамилий написаны немецкие. То правда, у нас лечились и солдаты вермахта. Только не рядом с русскими.

— Солдаты вермахта? — переспросил я.

— Так. Тоже нуждались в помощи. И были удобны для конспирации.

(Любопытно, полковник Е. П. Брычко в своем письме именно подобным образом объяснял присутствие немцев в ивоничском госпитале.)

Юзеф Алексевич держался независимо безотносительно к тому, с кем разговаривал. Он и перед Е. П. Брычко не тушевался. Еще прежде, до прихода нашей дивизии, сделал внушение адъютанту аковского офицера, велел убрать цветы с больничной тумбочки.

Великая тайна спасения нуждалась в строжайшей охране, в солидарности многих людей, различавшихся и взглядами своими, и характерами, и языком. Малейшая осечка, и вместо «Санато» — барак в Шебне. Из сферы одной тайны — в другую, в тайну уничтожения.

Алексевич, Бросс, врачи и сестры, инженер Барановский

круглосуточно ходили по острию бритвы, каждый шаг мог стать последним.

От бывшего санитаря Эдмунда Щтепаника мне предстояло услышать рассказ о его путешествии в горы вместе с Виктором Броссом и еще одним медиком. Сделав в укромном лесном уголке перевязки раненым, они возвращались в Изонич. И были схвачены гитлеровским патрулем во главе с молодым лейтенантом.

«Врач? Гут. Поведем в госпитал».

А в госпитальный подвал ночью завезли оружие.

— Мы шли, правда, как на казнь. Навстречу идет гулять граф Залусский. Его предкам когда-то раньше принадлежал курорт. Теперь уже, правда, граф не был такой хозяин. Однако хорошо сориентировался. По-немецки поздоровался с лейтенантом, свободно поразговаривал, запросил на водку, пригласил в свой дом. Знаете, не каждый день немецкого офицера польский граф зовет выпить водочки... Лейтенант не удержался, патруль пошел отдохнуть, мы, правда, утекли. Так тоже бывало, тоже происходило. Профессор Бросс, наш доцент, любил пошутить. Молодой, веселый. Доктору Алексевичу было, правда, не до шуток...

Юзефу Алексевичу в тот год стукнуло шестьдесят. С фотографии мне в глаза смотрит, чуть склонив голову, человек с мощным лбом, строго сведенными бровями, пышные черные усы, двумя клиньями гордо топорщится седая борода.

Видел я и другой снимок. Невзрачная бороденка клинышком, короткая стрижка, ускользящий взгляд в сторону. Рубашка без галстука. Обезличенное лицо.

Справа от снимка отпечатки пальцев. Слева анкетные сведения. Профессия — огородник. Внизу корявым почерком не сильного в грамоте человека самолично выведено: «Чеслав Новодворский».

Кенкарта, подписанная крайсхауптманом 18 января 1944 года, действительна по 18 января 1949 года. Фальшивое удостоверение, которое Юзеф Алексевиц совал патрульным, предъявлял в комендатуре, отправляясь в лес, занимаясь делами, не имеющими касательства к огородничеству...

Доктор Юзеф Алексевиц скончался в 1958 году. В том году, когда Георгий Егорович туристом приехал в Польшу.

Егорыч нагнал свою группу во Вроцлаве. В городе, где Виктор Бросс, став уже профессором, возглавил хирургическую клинику.

Кривые судеб сближались в пространстве и времени. Вот-вот коснутся.

Только не случилось этого.

На ивоничском кладбище я зажег свечу перед серым каменным надгробьем Юзефа Алексевича. Там же похоронена его жена Анель, медсестра из «Санато»...

Поздно, до отчаяния поздно узнаешь о том, что надо бы знать гораздо раньше.

Лишь в эти дни, под мелодичный перезвон курантов, услышал я и об «Ивоничской республике». Была, существовала такая. Сохранилась в истории.

В разгар лета 1944 года отряды польских партизан захватили роскошный ивоничский санаторий «Эксельсиор» (различные виды курортного лечения, ванны, парафин, массажи и прочее), где поправляли свое здоровье около трехсот немецких офицеров, преимущественно летчики. Запасы медикаментов, наркоза, первоклассный хирургический инструмент поступили в распоряжение доктора Алексевича. Партизаны же прихватили оружие, радиостанцию да документы, хранившиеся в канцелярии гмины¹.

— Что сделали с немецкими офицерами? — спросил я.

— Отпустили на все четыре стороны².

Был также разгромлен стоявший неподалеку штаб дивизии «СС-Галиция», прославившейся своими зверствами. Его остатки бежали в Кросно.

Единственную тупиковую дорогу перекрыли при въезде в Ивонич Здруй баррикадой из буровых труб.

Возникла «Ивоничская республика». Над ратушей взвился красно-белый флаг. Его отлично видели пилоты люфтваффе.

— И что? — спросил я.

— И ничего, — ответили мне. — Ну, стреляли, ну, глотали слюни от злости. Так ведь и прежде стреляли, и прежде глотали...

¹ Г м и н а — низшая сельская административно-территориальная единица в Польше.

² Даже в дни Варшавского восстания, захватив в плен немецких военнослужащих, поляки не нарушали Женевскую конвенцию.

Поныне эта дорога — единственная.

— Здесь — видишь? — стояла баррикада, — показал мне спутник, нажимая на педаль тормоза. — Баррикады нет. Но въезжать в Ивонич Здруй нельзя. Зона тишины.

Небывалая по нашим временам тишина. Самолетные трассы проходят стороной. До железной дороги около десяти километров. В ресторане, где мы когда-то обедали с Ежи Плеснеровичем, вечерами запрещена музыка.

Тишина. Велька тиша.

Еще до полудня туман рассеялся. Ночью глубокое, как бывает только в горах, звездное небо опустилось на Ивонич. Умиротворенно зазвенели куранты на ратуше.

Над горами, над лесными откосами, над санаториями с неторопливо — одно за другим — гаснущими окнами. Над пустынной улицей, по которой тридцать пять лет тому назад торопливо шел командир 140-й Сибирской стрелковой дивизии генерал Киселев, чтобы вручить медали двум полякам. Мокрые полы плащ-палатки били по грязным хромовым сапогам...

ЗНАК, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ ДОРОЖНЫМИ ПРАВИЛАМИ

От Ивонича Здруя до Санока 36 километров. Повезет с автобусом (две пересадки) — на все про все час с минутами.

Сколько суток проделывал этот путь Георгий Егорович?

Теперь мне в общих чертах известен его маршрут — лесные чащи, в которые его угораздило попасть, горные склоны, где прятали партизаны и перевязывали польские врачи. Маршрут этот, леса и горы, отпечатался на всей его жизни. Невероятное сохранило свою невероятность, но сейчас уже поддается истолкованию.

Чем дальше я брожу и езжу вокруг Ивонича, тем внятнее неумирающая прикосновенность прошлого к новым дням.

В Польше первоклассные автомобильные дороги, правила движения соблюдаются неукоснительно. При красном свете, даже когда на горизонте ни единой машины, никто не ступит на проезжую часть. Без всякого светофора водители остановятся перед «зеброй», пропуская пешеходов. Благодать.

Все поездки от Ивонича Здруя до окрестных городков и деревень укладываются в самые короткие сроки. Вот только знак, не предусмотренный дорожными правилами. Черная стрелка, нацеленная в сторону от большака. Останавливаться не обязательно. Мчись дальше, сколько душе угодно. Но коль остановился, отвалил на обочину и, погнувшись стрелке, направился в лес, в гущу, поднялся на гору, то уже не скоро вернешься.

Стрелка указывает места, где были расстреляны мирные жители и партизаны, пленные и обитатели гетто. Где ныне поставлены памятники, положены плиты над безымянными могилами. Кладбища среди просвеченных солнцем сосен. На вечно тенистом дне оврага. Вдоль живописной поляны. На изумрудно-зеленом взгорье.

К одному из таких кладбищ мы свернули вместе с Чеславом Леошем, председателем суда в Ясло. Человек неторопливый и обстоятельный, он знает все, что можно узнать о тех, кто зарыл в землю, и о тех, кто зарывал. Будучи членом Комиссии по расследованию гитлеровских злодеяний (Комиссия по сей день не прекратила деятельности, в ее составе юристы, врачи, журналисты, сотрудники милиции), Чеслав Леош год за годом, месяц за месяцем копил материал. Роется в архивах (гитлеровская бюрократическая машина изготовила такое количество бумаг, что не все успела сжечь или вывезти), участвует в эксгумациях, раздобывает и исследует фотоснимки. Опубликовал несколько работ о преступлениях, совершенных нацистами в районе Кросно и Ясло, в лагере в Шебне (Сталаг-325).

Подведя меня к окну, Чеслав Леош широким жестом хозяина показал окрест:

— Узнаете? Сто сороковая Сибирская дивизия пехоты воевала за город.

— Воевала,— подтвердил я. Очень хотелось воскликнуть: как же, конечно узнаю! Но я не помнил, ничего не помнил, лишь дымящиеся развалины да закопченные стены. И нет уверенности, что то были развалины Ясло, а не другого польского города. Сколько их было, обращенных в пепелища, черные плечи среди холмов и равнин...

Не только я, никто из знакомых однополчан — это странное обстоятельство выявилось после моего возвращения в Москву — не мог вспомнить о боях за Ясло. Ответы на мои письма лишь подтвердили провал в коллективной памяти. Но не объяснили его. Все соглашались: Ясло осво-

бождено нашей дивизией. Однако — как? И почему на картах боевых действий разграничительная линия дивизии, армии, даже 4-го Украинского фронта проходит, исключая Ясло, словно специально огибая его?

Отчаявшись, я по обыкновению обратился к Александру Васильевичу.

Гаркавенко не без сожаления оглядел меня с высоты своего роста и протянул руку к верхней книжной полке. Надел очки и, листая страницы, ворчал:

— Наша дивизия... Наша... Надо почитать начальство и почитать его сочинения.

Он сел за стол, положил перед собой развернутый том и, назидательно подняв указательный палец левой руки, начал медленно читать:

— «...Железная и шоссейная дороги из Ясло на запад были перерезаны...» Абзац пропускаю. Слушай дальше: «Наибольших успехов добился 101-й стрелковый корпус. Его 140-я и 70-я гвардейская дивизии продвинулись на 5—6 км западнее рубежа, предусмотренного задачей дня. Но для корпуса генерала Бондарева нашлось в этот день еще одно важное дело...» Ну-ка, сосредоточься, сейчас главное: «Как уже говорилось, мы заблаговременно приняли меры в отношении опорного пункта противника в г. Ясло. В частности, 140-я стрелковая дивизия выставила справа для прикрытия свой 258-й стрелковый полк. Теперь, когда она ушла вперед, его предстояло сменить 285-м стрелковым полком 183-й стрелковой дивизии, двигавшейся во втором эшелоне корпуса. Однако ход событий показал, что целесообразней овладеть г. Ясло и тем самым полностью избавиться от угрозы правому флангу и тылу 101-го стрелкового корпуса.

Такое решение я и принял, хотя этот город находился в полосе правого соседа — 60-й армии 1-го Украинского фронта. Вечером 15 января обоим названным полкам — 258-му и 295-му — была поставлена задача перейти в наступление: одному — с юго-запада, а другому — с юго-востока и в ночном бою разгромить гарнизон противника.

Выполняя приказ, полки при поддержке артиллерии ворвались в город с двух сторон. Гарнизон противника оказал отчаянное сопротивление. В помощь ему вражеское командование подбросило подкрепление, но и это не помогло. Засевшие в городе гитлеровцы были почти полностью уничтожены...» Понятно?

— Что за книга, Саша?

— «На Юго-западном направлении». Воспоминания командующего тридцать восьмой армией Маршала Советского Союза Москаленко?

— Ка Эс,— уточнил я.

— Именно, Ка Эс,— подтвердил мой не улыбчивый собеседник, опустив наконец перст.

Разговор, какой велся с доктором Леошем, предполагает хорошую память. Я должен был установить — пусть с опозданием — причины, из-за которых не сумел внятно ответить на его вопрос...

Развивая свою мысль, Чеслав Леош достал пачку фотографий.

Наше поколение, мне думалось, уже не удивишь повестью о лагерных преступлениях, фотографиями со штабелями трупов. Чеслав Леош не собирался удивлять. Лишь демонстрировал доказательства и приводил улики.

На снимке четыре трупа — кожа обтянула выпирающие ребра, головы откинута в предсмертной судороге.

— Извините меня, пять. У пятого ноги и голова виднеются из ящика. Не двое немцев — трое. Третий в дверях. А тут на снимке колонна пленных. Обращаю внимание на лица. Обросшие, стали страшными от мороза и голода. Такие лица выбраны умышленно... Это вам что-нибудь говорит?

Дикая, в первую минуту непонятная картина. Люди в оборванных шинелях, надвинутых пилотках, драных ушанках справляют надо рвом естественную нужду.

— Не заблуждайтесь. Не фотографический интерес любителя к экзотике, физиологии. Только возможность испытать себя сверхчеловеком, а прочие... Всякий шовинизм начинается уверенностью в своем расовом преимуществе.

— А чем кончается?

— Чем? Предела нет. Надо только начать, пробудить звериный инстинкт превосходства.

Поверх лагерных снимков судья Леош положил фото-портрет мужчины лет тридцати. Из тех, что слывят интересными. Строгие черты лица, большие ясные глаза, чуть припухшие губы, подбородок, мягко рассеченный складкой. Форменная фуражка залихватски сбита набекрень. Доктор Вальтер Генц.

Все приказы, обращения, распоряжения он подписывал, неизменно ставя перед фамилией «Dr».

Экономист по специальности, Вальтер Генц был также не чужд антропологии и этнографии. Не хобби. Хотелось доказательно обосновать всестороннее первенство нордического типа. Чтобы не оставалось сомнения в праве арийцев казнить и миловать прочие людские разновидности. Образованность — как ее понимали нацисты. Научная, философская, историческая, если угодно, осведомленность, подкрепляющая человеконенавистническую цель. Иные из них были отнюдь не троглодиты. Могли сослаться на авторитет, привести статистические данные, щегольнуть цитатой. Вальтер Генц принадлежал именно к таким — теоретически подготовленным практикам. Вполне допускаю, что в его рабочем гроссбухе среди всевозможной, тщательно выверенной цифири, будь то суммы налогов, показатели выработки пленных, результаты очередной карательной экспедиции, имелась такая, например, выписка из Ницше: «Мы открыли счастье, мы знаем путь, мы нашли выход из целых тысячелетий лабиринта... Нет ничего более нездорового среди нашей нездоровой современности, как... сострадание».

Какие необозримые просторы открываются перед человеком, который, избавившись от сострадания, обретает счастье!

Есть все основания полагать, что Вальтер Генц обрел счастье на посту крайсхауптмана Ясло. Он чувствовал себя настолько хорошо и уверенно, что не испытывал ни малейшей потребности запомнить хотя бы одно слово польски. Слишком презирал поляков, был слишком убежден в их неполноценности, чтобы снизить до какой-то славянской тарабарщины. Он загодя знал: тарабарщина, язык дикарей.

О, Чеслав Леош изучил этого человека так, словно они вместе съели пуд соли.

Доктор Вальтер Генц не относился к кабинетным деятелям, выполнявшим свои обязанности «от» и «до», ему не откажешь в изобретательности, темпераменте. Одно лишь доброхотное участие в общих акциях уничтожения его не удовлетворяло. Он был не только образованнее многих своих коллег, но и инициативнее их. Ему хотелось выделяться из тусклой серо-зеленой массы нацистского чиновничества, хотелось чего-нибудь эдакого.

Родился, скажем, у доктора наследник, и отец от

избытка чувств, от бурлящей родительской радости вышел на балкон и застрелил трех жителей подопечного города.

Когда фюрер и дуче осчастливили своим посещением бетонный тоннель вблизи Ясло, крайсхауптман не ударил лицом в грязь. Принять самых высоких гостей не мог — по чину, по протоколу не положено. (Гитлеровский райх был государством со строгой иерархией.) Однако закатить банкет для свиты, сановной охраны — пожалуйста. Доктор Вальтер Генц расстарался, вдоль лестницы и коридоров установил «живые канделябры» — неподвижно замерших евреев со свечами и цветами в руках.

Банкет кончился, гости разъехались, свечи погасли, «канделябры» уничтожили...

Горячо любя фатерлянд и высоко ценя нордическую отвагу, доктор Генц, вполне здоровый мужчина призывного возраста, крепкого сложения, не рвался на фронт, предпочитая самоотверженную деятельность в тылу. Когда война подкатила к его крайсхауптманскому особняку в Ясло, 13 сентября 1944 года он скрепил своей подписью с неизменным «Dr» последнее распоряжение и — дал деру. Исчез, растворился, дематериализовался.

Из Западной Германии на все запросы отвечали: пропал без вести.

А Чеслав Леош знай себе кропотливо восстанавливал все этапы многотрудной деятельности Вальтера Генца в Ясло, все преступления, совершенные им лично и при его участии, по его приказам.

— Господин крайсхауптман надеялся на нашу забывчивость, — судья Леош впервые улыбнулся, но глаза за выпуклыми стеклами очков оставались холодными. — Расчет на тайну, которой окружал свои акции, и на нашу...

— Короткую память.

— Так, так, — кивнул Чеслав Леош. — Но нельзя, нельзя ничего забывать. Прощать тоже нельзя. Это противоречит гуманности и правосудию. Опасность из прошлого могла бы перекинуться в будущее.

Мне вспомнился город Аушвиц, Освенцим, в день вступления наших войск. И потом, спустя двадцать с чем-то лет, когда туда приезжали молодые немцы из ФРГ выполнять наиболее тяжелую работу — уборка мусора, расчистка территории, ремонт барачков, ставших музеем.

Помню упитанных парней с длинными льняными волосами, узкими подтяжками поверх маек, стриженных девушек с сигаретами, стиснутыми в зубах. Они молча выпальвали траву между рядами колючей проволоки.

Помнится и другое. Синий «BMW»: притемненное ветровое стекло, литера «Д» на белом номерном знаке. Автомашина из ФРГ. В ней трое мужчин в мягких шляпах, немолодая, но моложавая женщина с зеленым пластиковым козырьком от солнца.

Один из мужчин, грузный, с вислыми усами, сносно говорил по-польски. Держа мясистые руки на баранке, он о чем-то спрашивал милиционера, дежурившего у главного входа.

Приезжие не спеша вылезли из своего «BMW», потягиваясь, размяли косточки, но на территорию лагеря-музея идти не собирались. Сунув руки в карманы помявшихся брюк, они смотрели на своих юных соотечественников, полвших траву. Те, заметив машину, смотрели на них. Ни одна из сторон не пыталась завязать разговор. Ни слова друг другу. Отчуждение? Взаимная неприязнь? Непонимание?

Но сильнее всего мне хотелось бы знать, что подвигло этих троих в светлых шляпах и женщину с козырьком на путешествие? Зачем они здесь, в Освенциме? Откуда польский язык у вислоусого толстяка?

В дневнике Георгия Егоровича я наткнулся на цитату (строки были взяты в кавычки), смысл которой до меня не доходил. Откуда сделана выписка? зачем?

«Вся наша семья отличалась необыкновенной любовью ко всему, что было связано с природой; все мы особенно сильно любили животных. Каждое воскресенье я ездил с женой и детьми по полям, ходили по конюшням, невозможно было обойти и псарни. Больше всего мы любили двух наших лошадей и жеребенка...»

Лишь после встречи с Чеславом Леошем, листая вечером воспоминания коменданта Освенцима Рудольфа Гесса (они изданы в Польше на нескольких языках, в том числе по-русски), я наткнулся на знакомые строчки. Это семья Рудольфа Гесса отличалась «необыкновенной любовью ко всему, что было связано с природой».

Неужто «необыкновенная любовь» к польской природе заставила степенных немцев предпринять дальнюю поездку? А может быть, ими, как и Рудольфом Гессом, повешенным у ворот Освенцима, владели еще какие-то увлечения, транс-

ти, заботы? Какая-то своя потаенная память? Не знаю. Уверен только, что в отличие от молодых земляков, молча половших траву, их привела сюда отнюдь не потребность участвовать в так называемой «акции искупления».

Вальтер Генц тоже был свободен от искупительных побуждений. Он вовсе не растаял в воздухе. Но, дрожа, забился в далекую щель, вроде бы в Латинской Америке. Затаился. Ждал. Год, второй, третий. Не подозревая, что на противоположной стороне планеты человек с юридическим образованием и судейским опытом обстоятельно, неторопливо вникает в каждую страницу его крайсхауптманской биографии, ведет досье, которое — наступит срок — ляжет на стол следователя.

Линия поведения Вальтера Генца, в общем-то, просматривается. Страх перед наказанием, отмщением не пересилит национальную спесь, коль она прочно угнездилась в человеке. Разгрому в войне подобрали удобные объяснения: фюрер подкачал, изменники-генералы накуролесили. Все равно мы — юбер аллес, прочие — на порядок, на два ниже, им не дарована стойкая память.

Жаль, однако, что тюремная администрация в Дюссельдорфе оставила заключенному подтяжки и таким образом дала уйти от ответа.

Не злорадство это; действительно было желательно получить от Генца кое-какие уточнения. Никто, кроме него, видимо, не в состоянии объяснить, почему Ясло подверглось уничтожению по той же схеме, что и Варшава,— поджигали и минировали дом за домом, улицу за улицей. Методично, последовательно. Отозвали из-под Дукли позарез необходимых там саперов и приказали им взрывать особнячки, лавчонки, больницы, коттеджи, скромные кирпичные строения.

Окончательное уничтожение Варшавы — в том признался и Гитлер — месть за восстание. За что мстил доктор Вальтер Генц городку Ясло?

Не располагая ответом, который прозвучал бы на суде, однако кое-что зная о характере и склонностях подсудимого, попытаемся ответить на вопрос.

Накал «партизантки» в районе, судя по всему, был столь велик, действия подпольщиков столь дерзки, помощь населения польским партизанам и советским разведчикам столь активна, что неумный, инициативный Вальтер Генц предло-

жил командованию свой проект ликвидации города и удостоился одобрения.

В условиях, когда у гитлеровских штабов уже был на счету каждый солдат, каждый килограмм взрывчатки, он получил нужные для задуманного предприятия средства и подразделения. Все расчертил, разметил, скалькулировал, распланировал и осуществил взлелеянную мечту — на прощание превратил зеленый прикарпатский город в дымящуюся пустыню.

Лишь память — тут не станешь спорить — одаряет народ мудростью, силой, прозорливостью.

Смешно предположить, будто какие-то поляки — он их достаточно хорошо знает — способны помнить, десятилетиями вести дознание.

Пора громких судебных процессов по денацификации миновала. Для страховки еще годик-другой отсидеться в укромном местечке. После чего доктор Генц как ни в чем не бывало вернулся в Дюссельдорф и в соответствии со своей вполне мирной профессией поступил на службу не то бухгалтером, не то экономистом.

Тем временем судья из Ясло завершил сбор обвинительного материала. Расследование, осуществленное им, было настолько весомо, что Вальтера Генца уперли за решетку.

Своеобразный растянувшийся на годы поединок между преступником и тем, кто выступает от имени его жертв, близился к финишной черте. Чья возьмет — память, вызывающая к правосудию, или забывчивость, благодаря которой человеческая кровь безнаказанно утечет в Лету?

Но прежде, нежели успели подбить судебный итог, обнаружилось: пытки, издевательства над истощенными пленными (дневной лагерный рацион — на 20 ведер воды 2 ведра гнилой картошки), расстрелы безоружных, милые затеи с «живыми канделябрами» и прочие утехы ничуть не обременяли нервную систему доктора Генца, не лишали спокойного сна и хорошего аппетита. Зато когда пробил час суда — кто бы подумал! — нервы сдали.

Не дождавшись процесса, так и не заняв своего места на скамье подсудимых, доктор Вальтер Генц повесился в тюремной камере...

На этом допустимо завершить беглое жизнеописание Вальтера Генца, поставить точку.

Но вдруг высветилась новая грань личности, характера.

Никакой он не сверхчеловек, вышеупомянутый Генц. Скорее — недочеловек. В том смысле, который вкладывали в него нацисты, т. е. натура ничтожная, слабая, не способная отвечать за свои действия. Только расовое происхождение ни при чем. Таков Генц по своей индивидуальной сути. Не сознавая, скорее всего — лишь догадываясь об этом, исподволь чувствуя, он обрядился в импозантные доспехи викинга, самоутверждался, пробавляясь теоретическими изысканиями, упиваясь садизмом. Шовинистическая спесь, как нередко случается, оказалась прибежищем для личности ничтожной и слабой, внутренне неуверенной в себе. Она не помогала преодолеть слабости, напротив, лишь увеличивала их...

Об этом мы тоже говорили с Чеславом Леошем. Наша беседа, начавшаяся в его служебном кабинете, продолжалась на кладбище, что широкими полукруглыми ярусами спускалось к центральной площадке, где высился обелиск. Мы стояли на земле, густо пропитанной кровью. Приближался полдень, осеннее солнце нехотя бросало под ноги куцые тени. Судья мял в руках вязаный берет.

Это кладбище, подобно всем польским кладбищам, где покоятся жертвы войны, находится под опекой школьников, харцерских отрядов.

В школе, однако, мы встретили не только ребят и учителей.

Старушка — крепко за восемьдесят — прослышала о человеке из России и принесла письмо: не прочтет ли?

Агата Завилянська берегла письмо с военных лет. Но добротная бумага не тронута желтизной, не поблекли чернила, которыми старательно выведены строки.

Беглецы из Сталага-325, скрывавшиеся у местной крестьянки, обращались к командованию «Красной Армии», заверяя, что подательница сего спасла им жизнь.

Советские части прошли стороной, никто ни о чем не спрашивал старую женщину.

Агата Завилянська — дай бог каждому такое сердце и такую память — неторопливо рассказывала, как и где прятала шестерых пленных. (Для доктора Вальтера Генца хватило бы и одного, чтобы расстрелять польку.)

«Как же не помочь людям. Хотя бы шести человекам из тринадцати тысяч!» — повторяла старушка.

Подобно всем преступникам, гитлеровцам отравляла жизнь мания преследования. Сверхчеловеков страшил дневной свет, они искали спасения, засекречивая всё и вся. Не полагаясь на прочность бетона, бункер фюрера укрывали

кронами деревьев, фабрику смерти маскировали под вокзал, возводили глухие стены вокруг всевозможных «объектов», шлагбаумами перекрывали подъезды к «особым зонам». Фюреры разных рангов мчались в «мерседесах» и «опель-адмиралах» с зашторенными окнами. Сколько усилий, средств! И все понапрасну. Польское сопротивление находилось в курсе нацистских начинаний, выведывало планы готовящихся акций. Достаточно сказать, что польский инженер участвовал в раскодировании знаменитой шифровальной машины вермахта «Энигма», благодаря чему союзники знали оперативные замыслы врага; польская разведка дала англичанам первые сведения для бомбежки испытательного полигона «Фау», партизаны похитили снаряд «Фау-1», польские ученые его демонтировали и результаты экспертизы вместе со снарядом переправили в Лондон. Старательно скрываемая численность пленных в каждом лагере, естественно, была секретом Полишинеля. Распространенные в послевоенной Западной Германии разговоры: «Мы не подозревали о лагерях, ничего не знали» — стоят недорого. Хотели бы — знали...

Сын одного из спасенных пани Завилянської каким-то невероятным образом разыскал ее адрес и зовет в гости. Город такой... Тбилиси.

Пани Завилянська конечно же знала о карах за укрывательство пленных и партизан, слышала залпы ночных расстрелов. Но — «Как можно не помочь людям!».

Преклоняясь перед величием малограмотной крестьянки, я думал и о спрятанных ею пленных. До писем ли им было, до обращения ли к армейскому начальству, находившемуся в ту пору за многие сотни верст? Выходит, до писем. Они на свой лад тоже заглядывали в будущее. С настойчивостью, равной настойчивости моего однополчанина, не хотели мириться с забвением добрых дел. Как не пожелал мириться с забвением Чеслав Леош, когда дело касалось кровавых преступлений.

КУДА ВЕДЕТ ЧЕРНАЯ СТРЕЛКА (СУДЬБА «СЕМЬДЕСЯТ ВТОРОГО»)

Все эти факты однозначны. Как однозначна их многочисленность: помощь советским разведчикам, партизанам, парашютистам, укрывательство беглецов из плена, из лагеря, из гетто. О них, таких фактах, тоже напоминали черные стрелки на металлических штангах, установленных вдоль польских автомобильных дорог.

Но человек, чьи записи побудили меня совершить путешествие, пожалуй, имел в виду не только их. Многого не зная и терзаясь неведением, он почувствовал сложность ситуации, времени, переплетение разнородных начал.

Эрудит Вальтер Генц вряд ли являл собой психологическую загадку и в крайсхауптманские годы, и в годы шкодливого бегства, и в минуту самоубийства. Однако как быть с начальником лагеря, расположенного близ Рыманува, что в двух шагах от Ивонича?

Фамилия: Шуберт, воинское звание — капитан, национальность — австриец. Дальше — головоломки.

Вальтер Генц занимал чисто административный пост, в принципе позволявший ему выполнять свои служебные обязанности с минимальным кровопусканием.

Совсем иное положение было у начальника лагеря капитана Шуберта. Но не известны случаи, чтобы он лично запятнал себя участием в акциях уничтожения. Зато известно: при малейшей возможности Шуберт помогал пленным. Слово невзначай — кусок хлеба, пара картофелин, луковица.

Когда сын Шуберта погиб на восточном фронте, капитан пришел с его портретом в ресторан, молча поставил две рюмки.

Мне, признаться откровенно, не очень-то верилось. Слишком непривычно, необъяснимо. Но едва я попробовал усомниться, ветераны местного подполья возмутились. Товарищ из Москвы не верит?! Да они каждого здешнего немца, будь то рядовой или какой-раскакой офицер, насквозь видели, знали как свои пять пальцев!.. Да может ли без этого конспирация!.. И т. д. и т. п.

Больше всех негодовал Анджей Щепаник — маленький, шумный, с острым красным носом, в расстегнутом плаще, сползавшей набок шляпе.

Вместе с братом, хладнокровным Эдмундом, он входил в число ближайших помощников доктора Алексевича и доцента Бросса. Им доверялись самые опасные задания. А сейчас, видите ли, приехал человек из-за тридцати земель, впервые услышал об «Ивоничской республике»...

— Впервые? Нех пан скаже!

Анджей Щепаник не на шутку разволновался. К тому же у него насморк и жена больна, надо поспеть в аптеку.

Ничего, ничего, он все успеет. Только давайте чистую — без примесей — правду.

Голодали пленные? Еще как! Обгрызали кожу с пальцев,

съедали легкие умерших, сердца расстрелянных... Курили одну сигарку, по очереди пуская дым в рот друг другу...

Страшно пану?

Ничего, он хочет настоящей правды. Про капитана Шуберта — тоже правда, и пусть тоже ее запишет. Что ж, что непонятно. Все равно — правда.

Таким был не один Шуберт.

В лагере для военнопленных работали также поляки-строители. Их начальник — немецкий коммунист Мадер.

— Коммунист?

— Так.

— Вы уверены?

— Так.

Говорливый Анджей Щепаник стал лаконичным, сдержанным.

Конспирация диктовала: максимум сведений обо всех попавших в поле зрения. Но действовал и другой закон: знать лишь то, что тебе лично необходимо, ничего сверх этого.

В сорок первом Мадер подвел Щепаника к карте: «Видишь, как наступают войска Гитлера? Обратнo побегут втрое быстрее...»

Это чтобы они, поляки, не пали духом. Чтобы чувствовали: и среди немцев есть друзья, союзники.

Мадер, будучи опытным нелегалом, понимал, кому доверять, а кого остерегаться. Лишних разговоров не вел, о своих контактах не сообщал.

Конспирация, наперебой объясняли мне, означает не только повышенную бдительность, но и чуткое доверие. Без него — пропадешь.

Все-таки интересно, имелись ли у Мадера контакты с кем-нибудь, действовал он в одиночку или с сообщниками, в каких отношениях находился с капитаном Шубертом?

Анджей Щепаник, шмыгнув носом, снисходительно усмехнулся, безнадежно махнул рукой. Слишком наивны мои вопросы. В условиях конспирации, «партизантки» так дело не делается. И снова о том, что надлежит и что не надлежит знать каждому...

Как бы ни сложились судьбы капитана Шуберта и коммуниста Мадера, двух антифашистов из вермахта, живы они, нет ли, в Ивонице и Рыманове поныне с благодарностью помнят о них. Пронесли память сквозь лабиринты, как го-

воят в Польше «подземной» войны, десятилетия мирной жизни.

Помнят, между прочим, и о некоторых немецких солдатах, находившихся на лечении в «Санато». Рассказывают без неприязни и без сочувствия. Солдаты как солдаты, ничем не примечательны. Разве что один не умел говорить по-немецки. Вероятно, эльзасец.

Другой... Подождите, панове, подождите минуточку. То был сын гитлеровского генерала. Он себя чувствовал неугодно в нашем госпитале.

Анджей Щепаник беззвучно смеется, чихает, опять смеется.

Почему генеральскому сынку должны нравиться польские доктора? Направду, почему?

Несмотря на серьезное ранение, сынок удрал из «Санато». Потом попал в плен к русским. Где-то под Дуклей.

— Но как вы узнали?

Анджей Щепаник морщится — то ли от насморка, то ли от смеха.

Совсем просто узнали. Он задал лататы в гражданских сапогах. В этих сапогах его вместе с другими пленными и привели в Ивонич...

Сегодня, спустя четыре десятилетия, нелегко понять тогдашнюю ситуацию. Отделить трагическое от смешного, подлинное — от фольклорных наслоений. Однако же в годы оккупационного кошмара люди различали оттенки, полутона. Малейшая оплошность, неточность вели к провалам, гибели.

Доктор Ян Ромб, историк и ксендз, рассказал мне о Владиславе Цыбульском, партизане-диверсанте из Ивонича Здруя.

28 февраля 1944 года, действуя в одиночку, Цыбульский взорвал склад в Рымануве — 270 тонн нефти.

Одеждой он разжился у пленных, прихватил советское оружие и, владея языком, выдавал себя за русского подрывника. С самого начала все предусмотрено: схватят — сочтут, что из Красной Армии, не станут искать родственников, мстить близким.

Его допрашивали, пытали два с половиной месяца; ничего не добились и 16 мая расстреляли...

Встреча с Яном Ромбом — из самых памятных. Не потому лишь, что он, приводя факт или цифру, тут же давал

подтверждение, ссылаясь на неотразимые свидетельства.

Да, в Важицком лесу 25 февраля 1943 года расстреляна группа душевнобольных детей из монастырского приюта (25 человек). Но у него нет надежных данных, подтверждающих, будто вместе с детьми уничтожили врачей и воспитателей, добровольно отправившихся в Важицкий лес. Версия существует...

— Мне было бы лестно сообщить, что монахи — воспитатели и опекуны — разделили участь больных детей и рядом с ними встали под пули. Но я прежде всего историк, — Ян Ромб виновато развел руками. — Для историка на первом месте факты. Приятные, неприятные, драматические, нелепые. Я должен их найти, взять, проверить и потом вернуть людям...

Безусловные факты, относящиеся к костелу Святого Михала и приюту при нем, таковы:

В 1944 году прятали сбитого советского летчика старшего лейтенанта Семена Щербакова.

Здесь же, в костеле, собирали английские автоматы марки «стэн». Нелегальная типография печатала листовки. В декабре 1940 года вышел первый номер подпольной газеты «Редута»...

Ян Ромб кивает в сторону кровати. На больничном байковом одеяле кипы сброшюрованной машинописи — заготовки для будущей книги.

В его санаторной палате потолок, повторяя форму крыши, конусом сходится над головой. Доктор Ромб лечится, работает, часами сидит за простым столом посреди комнаты, близоруко склонившись над бумагами.

Нездорово полный, отечный, он говорил горячо, торопливо. Минутами останавливался на полуслове, глубоко, хрипло втягивал воздух. Иногда чуть касался моей руки, обращившись, чтобы отыскать нужную страницу, и быстро читал, поправляя очки в простенькой оправе. Одет был по-домашнему, без галстука. И держался по-домашнему, будто мы знакомы тысячу лет.

Но разговор этот — я почувствовал с первых же слов — не ограничится экскурсами в прошлое, одними фактами. Случай с Владиславом Цыбульским приведен с дальним прицелом. Да и Ян Ромб, вспоминая о нем, догадывался, что я слышан и о другой истории. Подвиг Цыбульского — как бы вступление к ней. Пускай московский гость приготовится, настроится на соответствующий лад. Тогда, быть может, поймет, а поняв, согласится с рассказчиком и его подходом.

Не поймет — бог ему судья, такое трудно укладывается в голове, не слишком-то вяжется с привычными мерками. Ян Ромб — всего лишь скромный служитель костела и дошный летописец, не отказывающийся, впрочем, от своего взгляда на факты.

Черные дорожные стрелки привели меня в близлежащую Любатовку. К памятнику семидесяти двум расстрелянным полякам.

Расстреливали у самой кромки глубокой ямы, на опушке Грабинского леса. Последнее, что они видели, — своя родная деревенька. Дома, где появились на свет, где оставили матерей, жен, детей.

Не всем, правда, Любатовка родная. Из 72-х расстрелянных 23 — нездешние. Но семьдесят второй — местный. Его все знали, и он знал всех.

«Семьдесят второй» — так я про себя называл этого человека, не спеша выяснить имя. И мне не стремились его назвать.

«Семьдесят второй», еще не являясь таковым, смело участвовал в «партизанке». Был схвачен эсэсовцами, подвергнут диким пыткам. Сломлен.

Окровавленного, избитого, его поставили возле школьного окна. Двое поддерживали, чтобы не рухнул. Перед ним проводили арестованных, подозреваемых, задержанных при облаве. Он кивал головой: связан с партизанами. Гестаповец ставил мелом крест на спине. Человека вели ко рву...

(Когда я впервые слушал эту историю, Анджей Щепаник шумно прервал рассказчика: «Надо точно! Не всех, совсем не всех указывал. Меня не указал, а знал...»)

Семьдесят одного поляка, меченного крестом, расстреляли на опушке Грабинского леса. Потом привели «семьдесят второго». Со связанными руками, в кровоподтеках, видневшихся сквозь лохмотья. И — пулей в затылок свалили в общий ров, на еще теплые тела.

Миновало время, останки расстрелянных перенесли на кладбище. Но как быть с «семьдесят вторым»?

Восстали родственники погибших: ему не место на кладбище. Не все так считали, но многие. Вспыхнул мучительный, растянувшийся на долгие годы спор.

— Мой коллега, — произнес Ян Ромб, — убедил крестьян, что и этот человек должен покоиться на кладбище. Рядом с остальными. Он не изменник, не коллаборант.

Коллега ксендза, сообразил я, ксендз...

— Нет, нет,— словно читая мои мысли, хрипло продолжал Ромб.— Это вовсе не религия. Надо искать истинного виновника. Того, кто пытается, кто палач. Обрекает на мучения, которые человеку не отпущено выдержать. Поэтому, апропо, в конспирации нельзя знать лишнего...

— Цыбульский выдержал.

— Я ждал этого довода. Бывают разные натуры. Неодинаково подготовленные. А в Соппротивление втянулись тысячи, много тысяч. Питки тоже бывают разные.

— Вы, кажется, согласны со своим коллегой?

— Так,— с неожиданной твердостью отрубил Ян Ромб.

— На памятнике в Любатувке в камень вмонтированы фотографии расстрелянных. Я видел своими глазами — одна разбита, снимок сорван. Похоже, недавно сорван.

— Ничего удивительного, вполне доступно понимаю. Вы, друг мой, тоже ведь не торопитесь занести в блокнот его фамилию.

Он улыбнулся мудрой улыбкой, удержавшейся на его лице дольше обычного.

Мы проговорили еще часа полтора, откровенно, неспешно. Но Ян Ромб не возвращался к расстрелу в Грабинском лесу и памятнику в Любатувке, не пытался узнать моего мнения о «семьдесят втором».

— Историю Польши можно читать и по могильным плитам. Только это совсем не простое чтение. И не всегда написанное на камне до конца проясняет факт, людскую судьбу,— будто предупреждая, заметил Ян Ромб.— На кладбище возле Гарнова имеется могила; там всегда лежат белые и красные цветы. Польские цветы на могиле, где высечено немецкое имя: Отто Шимке.

Это был совсем молодой солдат вермахта. Он не захотел поехать на Восточный фронт и отказался расстреливать поляков. Суд приговорил его к казни. Гитлер дал телеграмму: «Расстрелять, как пса, кинуть в яму...» То был истинный герой. Кому не лестно было бы причислить его к какой-то категории, своей категории, считать коммунистом, либо религиозным человеком, либо гуманистом-интеллектуалом. Но мы совсем ничего не в силах установить. С годами все труднее получить ясность. Нам известно только, что Отто Шимке — молодой немецкий солдат. Будем помнить его таким...

Шаги за дверью затихли. Санаторий отходил ко сну. Мой собеседник порядком устал.

В дверях он порывисто обнял меня, и мы расцеловались.

На тихой улочке ночного Ивонича я спросил друга, который устроил эту встречу:

— Ты что-то сострил — я не понял. Сказал Яну Ромбу, трубку надо прополоскать, а то заржавеет. Он засмеялся.

— Прости, пожалуйста, забыл предупредить. Заметил, как Ян Ромб хрипит? Повреждено горло, и вставлена трубка... Почему?.. Как тебе сказать... Говорят, эсэсманы пытались вздернуть Ромба на веревке. Но что-то или кто-то помешал. Он не любит, когда об этом спрашивают. Да и как спросишь?.. Но, знаешь, охотно принимает шутки, когда с ним хотят выпить.

«РЕЧЬ ПОСПОЛИТА ИВОНИЧСКА»

Нет на карте и никогда не было такой республики. Да и откуда взяться государству без твердо очерченных границ, собственной конституции, правительства и т. п.? Само название, насколько я убедился, возникло задним числом, в пору воспоминаний, поисков и осознания прошлого. Поэтому и живет-то она, «Речь Посполита Ивоничска», лишь в людской памяти. Но прочно, до чего же прочно живет! С бесконечными подробностями, именами и псевдонимами, в переплетении связей, установившихся тогда, накрепко запечатленная в душах военного поколения.

При мне вспыхнул спор двух солидных деятелей, занимающих сегодня высокие посты. Оба они мальчишками бегали по улицам «Ивоничской республики» и теперь рассказывали, как однажды по ошибке, недоразумению на территорию их «Речи Посполитой» въехал лимузин немецкого генерала.

Спор, собственно, возник из-за того, генерал это был или полковник. Еще спорили, каким образом он проехал, коли баррикада преграждала дорогу.

Натурально, они величали друг друга по занимаемым должностям («Товарищ первый секретарь» — «Товарищ директор»), но минутами несолидно сбивались на сокращенные мальчишеские имена того далекого времени, о котором вспоминали. Ну, вроде, например, «Васек» и «Толик».

За окном с налипавшими и мгновенно таявшими снежинками стоял октябрь семьдесят девятого года. В кабинете,

отделанном полированной деревянной панелью, вспыхивал алый глазок селектора, вкрадчиво дребезжали звонки красного, серого и белого телефонов. Дел у спорщиков хватало. Сегодняшних и тех, что несла с собой зима, которую предвещал первый снегопад. А они — запальчиво — о давнем мимолетном эпизоде.

Да не из-за него горячились «товарищ секретарь» и «товарищ директор». То была их мальчишеская пора, полная опасностей и тайн, не всегда понятная тогда и не до конца ясная сейчас. Удивительная, ни на что не похожая.

Они тоже прятали оружие и листовки, учились по запрещенным учебникам и «преступным» программам. (Кто-нибудь стоял на страже у школьных дверей; малейшая опасность — тетради и книги в заранее приготовленные тайники. Всю войну на оккупированной земле Польши действовала система нелегального начального, среднего и высшего образования.)

Однако сверх известного, доступного обзору и постижению «Речь Посполита Ивоничска» таила в себе трудноуловимую притягательность. Не только сопротивление, но и гордое нравственное противостояние нацистскому изуверству. Доктор Юзеф Алексевич против доктора Вальтера Генца. Это противостояние предшествовало последующему поединку: судья Чеслав Леош — доктор Вальтер Генц.

В одном спорщики сходились: с генералом (либо полковником, — тут они не пришли к согласию) обращались вполне корректно и при первой же okazji обменяли на заложников и медикаменты.

«Республика» на вулкане постоянно нуждалась в боеприпасах, бинтах, лекарствах. Список членов самоуправления, осуществляющего местную власть, открывался именем доктора Алексевича, значившегося в оккупационной кенкарте под именем огородника Чеслава Новодворского.

Население «Речи Посполитой Ивоничской», если его грубо поделить, состояло из двух групп: раненые, больные и — персонал, их обслуживающий.

На лесисто-горных перевалах бои завязывались беспрестанно, приток раненых не сокращался, санитары под халатами носили пистолеты. Операции, перевязки делали не только в «Санато», но и в чащобах, партизанских землянках, похилившихся бараках. В местах, которые условно можно обозначить как пограничные. Поблизости размещались

немцы, вокруг шастали их патрули, в окрестных деревнях осели гарнизоны, неподалеку пролегла линия фронта.

Дважды гитлеровские части затевали наступление. Первый раз с севера, со стороны деревни Ивонич, второй — с востока, из Климкувки.

С гор стремительно спустились партизанские отряды, отбившие обе атаки.

После каждой схватки — новые раненые. Среди них — нетранспортабельные или такие, которых не следовало кому-либо показывать, чьи имена и псевдонимы оставались неизвестными врачам. Но кого можно, доставляли в Ивонич Здруй. И не всегда ночью, не всегда тайно. Да и какая фура проедет горной ночной тропой, не рискуя свалиться в пропасть?

— Значит, по дороге? — спрашиваю я.

В ответ кивают головами.

Однако дороги зачастую находились в зоне прицельного обстрела.

Да, рисковали. Что поделаешь?

Но никто не помнит, чтобы обстреляли повозку, везущую раненых. Не помнит — и все тут.

Пытаюсь все-таки понять. Сколько раз гитлеровцы бомбили палатки нашего медсанбата.

Мои ивоничские собеседники тоже знают о подобных случаях и не удивляются. Но здесь — показывают на горы вокруг и санатории — здесь такого не бывало. Почему? Пожимают плечами.

Может быть, потому, что среди раненых в Ивониче Здруе, этой удивительной «республике», находились и немецкие солдаты? Может быть, — снова пожимают плечами. Все может быть...

Едва уловимая невероятность присутствует в том, о чем мне сегодня рассказывают пожилые люди, вспоминая молодые годы, войну. Помимо общей необычности тех лет была еще и своя, отличительная, свойственная «Речи Посполитой Ивоничской».

Георгий Егорович не знал и десятой доли известного мне сейчас. Однако, несмотря на тяжелое ранение, контузию, языковой барьер, почувствовал, что находится в сфере чего-то выходящего за пределы привычных представлений. И силился понять, возвращался мыслью, ворошил память.

Однако и человек куда более осведомленный, ока-

зывается, с таким же трепетом берег воспоминания о «Санато».

Десятки раз при мне повторялось имя Виктора Бросса. Я слышал об операциях, которые он осуществлял в санатории доктора Алексевича, в лесу и в бараках, на чердаках. При свечах, «летучих мышах». Про шуточки, которыми подбадривал больных и коллег, про то, как помогал деньгами, хлебом, вместе с Алексевичем раздобывал фальшивые документы и в медицинских картах тяжелораненых проставлял: «тиф»...

Для него это — история, отброшенная далеко назад всей последующей деятельностью крупнейшего в Польше специалиста по сердечной хирургии, директора клиники, вице-президента Всемирной ассоциации хирургов и т. д. и т. п.

Когда в начале шестидесятых годов журналист Адольф Якубович принялся восстанавливать военное прошлое «Санато», то частенько натыкался на имя Виктора Бросса. Слышал он его с ребячьих лет, благо вырос в Ивониче, а родная сестра ассистировала молодому доценту в операционной «Санато», условно называвшейся «тройка» (по номеру, видимо, комнаты и по привычке к кодовым названиям)¹.

Адольф Якубович записал в блокноты и на магнитофонную пленку воспоминания давних граждан «Речи Посполитой Ивоничской» и прибыл во Вроцлав, в клинику профессора Бросса. Робея перед медицинским светилом, бормоча извинения, он сбивчиво объяснял цель своего визита. Профессор нетерпеливо переминался с ноги на ногу и всем своим видом давал понять, что времени у него в обрез, до интервью он не охотник...

Вокруг сновали врачи и сестры, на специальной каталке провезли укрытого одеялом больного, санитар нес кислородные подушки. Секретарша уже не раз выглядывала из кабинета.

Профессор с чувством пожал руку Якубовича и, стуча каблуками по сверкающему паркету, направился к большой,

¹ Репортаж Адольфа Якубовича впервые передан по радио в 1965 году, потом, дополненный новыми подробностями, в 1973 году повторен по Варшавскому вещанию. В сборнике жешувских журналистов «В эфире и в газете» (1974 г.) репортаж опубликован под названием «Операция». Откуда было знать Георгию Егоровичу об этой книге, выпущенной в воеводском центре?

матового стекла двери. Туда, куда посторонним входа не было.

Якубович видел: еще секунда, и уплывет журналистское счастье, захлопнется белая дверь, разрушая все его репортерские надежды. В отчаянии он крикнул спине, обтянутой накрахмаленным халатом: «Не помнит ли пан профессор «тройки?»»

Виктор Бросс замер, медленно повернулся, провел рукой по седым вьющимся волосам. Переведя дыхание, растерянно произнес:

— Почему вы сразу не сказали?

Он назначил встречу на пять часов. Не ведаю, сколько она длилась. Катушки магнитофонной ленты в архиве Жешувского радио сберегают воспоминания Виктора Бросса о «Санато», о «Речи Посполитой Ивоничской» и ее окрестностях.

Через некоторое время профессор приехал в Ивонич. Цветы, объятья, «Сто лят»...

Иных Виктор Бросс узнавал, и конопатый в прошлом паренек целовался с маститым профессором. Бывало, не мог вспомнить.

«Пуля, застряла тут пуля!» Сухощавый усач тыкал пальцем себе под ребро.

«Ну-ка, задирай рубашку!.. Вот, вот... Теперь помню...»

Наши дивизии форсировали Сан, развернули наступление на западном побережье, в предгорьях Бещад, приближаясь к не видимому глазом, но уже недалекому, судя по карте, грозно-коричневому с зелеными склонами Дуклинскому перевалу.

Противник отдавал себе отчет: тут решится будущее советского продвижения в юго-восточной Польше, откроются ворота в Чехословакию. Вспыхнувшее вскоре Словацкое восстание еще сильнее накалило обстановку...

Фронт приблизился к Ивоничу Здрую, стягивающееся кольцо охватывало «Речь Посполиту Ивоничску». Собственно, от «республики» осталась узкая полоска земли. Только и всего.

«Речь Посполита Ивоничска» никогда не придерживалась нейтралитета. Она сражалась неутомимо, изобретательно. И до того, как удалось избавиться «Экзельсиор» от гитлеровских офицеров, поднять над ратушей красно-белый стяг, и

потом, когда, наконец, остался «ничейный» пяточок. Всегда.

У каждого этапа, начиная с тридцать девятого года, свои особенности, трудности, жертвы и победы. Многое — с опозданием, правда, — стало известно, многое обрастало легендами, и уже никому не установить, генерал ли немецкий на полном ходу опрометчиво влетел в Ивонич, или полковник, а не исключено (слышал и такое), то был всего лишь капитан... А сколько безнадежно ушло в песок!

Я далек от намерения восстановить эту беспримерную историю во всей ее подлинности и многосложности. Только немногое, на что натолкнул чужой дневник, попавший в мои руки. Единичные эпизоды из сотен, отдельные имена из десятков. Да и как охватить всё, когда воевали все и — постоянно; борьба составляла жизнь, быт.

Этот случай известен, о нем помнят старожилы, он описан Адольфом Якубовичем.

Коровы, не считаясь с линией фронта, предпочитали низинные луга лесным склонам. Крестьянки, чтобы подоить своих буренок, миновали окопы, траншеи, пулеметные точки. Наши бойцы относились к этому с пониманием, не препятствуя ежедневным челночным операциям, совершаемым буренками и их хозяйками.

Однажды лейтенант-артиллерист остановил женщину с эмалированным ведром: «Куда? Зачем?» Ответы его вполне удовлетворили. Однако крестьянку не удовлетворяла стрельба наших артиллеристов. Будучи, как и подобает польке, женщиной «толерантской», она не спешила высказаться и вряд ли ни с того ни с сего позволила бы себе сделать замечание незнакомому мужчине. Но уж коль пан офицер сам завел разговор, она вынуждена сказать. Жительницы Ивонича умеют не только доить коров, разбираются не только в своем хозяйстве.

Извинившись, она заметила артиллеристу, что советские пушки ведут огонь не слишком точно.

Лейтенант, не ждавший критики от женщины с ведром, смешался.

— То есть как — не слишком точно?

Пан офицер полагает, будто пушки немцев стоят на поляне возле леса. Но они стоят не там.

Смущенный лейтенант извлек из планшета карту местности.

Что касается карт, то это не самая сильная сторона ивоничской крестьянки. С картами, проше пана, ей не приходит-

ся иметь дела. Но она и без карты сумеет все растолковать.

Самое удивительное — растолковала. Не глядя в карту, не умея изъясняться по-русски.

Крестьянке ничего не говорят топографические знаки, зато местность, слава богу, известна как свои пять пальцев.

При помощи пальцев и велся этот разговор, эта необычная корректировка артиллерийского огня.

Наш лейтенант — будем справедливы — тоже проявил сметливость.

Вначале определили местонахождение ручья, потом — моста, потом дошли до поворота ручья...

Тут крестьянка несказанно обрадовалась: как раз в излучине немцы укрыли замаскированную батарею.

Лейтенант от имени командования поблагодарил крестьянку, она зарделась. Мило улыбнувшись, подхватила ведро и отправилась через линию, которую я много лет спустя обозначил на своей карте зубчатыми дужками.

Назавтра прицельные залпы смели вражескую батарею...

В ночной ивоничской тишине, нарушаемой напевным перезвоном курантов, я просматриваю дневники Георгия Егоровича. Не целиком. Лишь те страницы, где торчат закладки — места, связанные с госпиталем в отрогах Бещад.

Приглушенный низким абажуром свет падает на страницы. Даже трудно поддававшееся расшифровке из-за почерка теперь прояснилось.

Хвостик за хвостиком, еще и еще, выдергиваю бумажные закладки и, скомкав, бросаю в пепельницу... Вскоре горка мятых полосок высилась в голубой пепельнице. Осталась одна, последнее белое пятно, пятнышко...

«Санато» закрыли на ремонт. Ежедневно я прохожу мимо заколоченных дверей, вымазанных белой краской окон, среди них и окна «тройки» — операционной.

Минет месяц, и «Санато» оживет, наполнится людьми. Они будут принимать ванны, гулять по горам, любоваться зимними Бещадами.

...Тот эпизод произошел в конце лета или ранней осенью сорок четвертого года.

Он потряс Георгия Егоровича своим высоким трагизмом — любовь и смерть сливались воедино.

Я не очень-то представлял себе, как спросить о нем моих

ивоничских приятелей. Поэтому начал косноязычнее, нежели всегда. Они прервали чаепитие. Вежливо прислушались.

Поначалу не совсем понимали, о чем я. Потом их лица выразили крайнюю степень недоумения. Я это истолковал на свой лад,— люди изумлены: откуда мне известен подобный факт?

Но всеобщее веселое оживление свидетельствовало о каком-то моем просчете.

— Почему умер? Совсем не умер. Она тоже жива. Все живы. Еще двоих детей имеют,— мне выразительно показали два пальца.— Запишите, пожалуйста, дво-их де-тей. Жи-вут в де-ре-вне Рувне...

— Подождите, подождите,— мои собеседники прерывали друг друга.— Он, я помню достоверно, Франтишек Микош. Она...

— Кажется, Анна...

— Нет, нет, только Анеля.

— Запишите: А-не-ля!

Единственный случай, когда Георгий Егорович ошибся. Вполне извинительно ошибся.

Был, был такой случай. В «Санато» от столбняка умирал парень. Его нареченная сидела рядом, прислушиваясь к стонам, прерывистому дыханию. В эти последние часы пригласили ксендза, и тот благословил брак.

Но часы оказались не последними.

Доктор Юзеф Алексевич сказал Анеле, которая только что стала пани Микош: Франтишка может спасти противостолбнячная сыворотка. У нас, в «Санато», в Ивониче, ни одной ампулы. Но у Красной Армии, в лазаретах, она имеется. Держи записку на русском языке, держи рецепт. Ступай!

Анеля миновала линию окопов. Показала советским бойцам записку. Ее проводили в санчасть. Офицер-медик (врач либо фельдшер) сразу же дал ампулы.

Растерявшаяся Анеля пыталась ему заплатить. Он вернул деньги и велел спешить.

Утром, едва Бросс вошел в палату, навстречу ему во весь свой длиннющий рост поднялся Франтишек. Виктор Бросс позвал Анелю: «Муж ходит, а ты где-то пропадешь...»

Вот и вся история. А вот — фотография.

— Та пани слева — Анеля. Да, да, улыбается. Долговязый, при галстукe... Смотрите, смотрите, платочек в карма-

не. Франтишек Микош. Рядом в белом костюме с букетом... То вам известно — профессор Бросс. Когда снимок сделан? В шестьдесят пятом году. Тогда у них имелось двое детей. Сейчас? Может быть, не только двое...

Последняя закладочка вынута из тетради.

Последняя тайна разгадана. По крайней мере, я так полагал, покидая Ивонич Здруй, размытый утренним осенним туманом.

Все, думал я, сидя в машине.

Конец, точка, удовлетворенно твердил я про себя, когда темно-коричневый «польский фиат» мчался по влажному гудрону шоссе Кросно — Варшава.

Мой чемодан лежал в багажнике. Дневники Георгия Егоровича покоились на самом дне.

ПРАВА НАСЛЕДОВАНИЯ

Мой опыт общения с замками гостиничных номеров горек. В Ереване, заперев за собой дверь, я лег спать, проснулся, разбуженный слепящим южным солнцем, весело прихватив папку, направился к двери. Два поворота ключа влево, два глухих щелчка. Дверь неподвижна. Обратно вправо, снова влево...

В отчаянии позвонил администратору. Милый девичий голос, перебив мои извинения, приветливо и твердо произнес: «Нет мест, дорогой!»

Через два часа мы все же установили взаимопонимание. Любезная администраторша назвала добавочный, по которому можно вызвать слесаря.

Заросший вороненой щетиной слесарь, даруя мне волю, философски заметил: «Бывает».

Он оказался пророком. Нечто подобное произошло со мной в волгоградской гостинице. На этот раз, правда, вышлѳление наступило минут через сорок.

В Варшаве, в «Европейской», заточение мне вроде бы не угрожало. Напряженность возникала, когда я открывал дверь снаружи. Если ключ проскальзывал чуть дальше установленного предела, крути его хоть до второго пришествия. Обратно он не выходил. То есть, конечно, выходил, но надо было уловить момент, когда ключ подастся назад,

бородка попадет в паз и дверь, виновато скрипнув, распахнется.

Желательно, чтобы никто не наблюдал за операцией бессмысленного верчения ключом и ловлей момента. Сегодня же, на беду, в маленьком закутке, образованном полукруглой нишей, в коричневом кресле развалилась волосатая личность неопределенного пола в сером свитере. Демисезонная вельветовая куртка брошена на подлокотник. Растоптанные спортивные туфли вылезли на ковровую дорожку.

Я чувствовал затылком: личность не только курит и просматривает газету, но и следит за моим единоборством с упрямой неподвижной дверью. Ключ прокручивался раз за разом.

— Пшепрашам.

Судя по молодому баску и пышным бакам, личность принадлежала к полу, который принято считать сильным. Это подтверждали и уверенные движения. Замок открылся как по волшебству.

— По-жа-луй-те,— гривастая голова склонилась набок. Парень нетвердо добавил: — ста. По-жа-луй-ста. Жду... на пана.

Неожиданный спаситель — он же непрошенный визитер. Последнее качество, перекрывая первое, вызывало досаду. Нет хуже незваного гостя, когда после изматывающего путешествия, теща себя мыслью «дело сделано», собираешься домой, уже созреваешь для того, что обступит с самого приезда, навяжет свой темп, свои волнения. Ты на распутье, ты отчаливаешь; вот-вот одна реальность сменится, вытеснится, обесцветится другой. Поблекнет, стухнет, станет призрачно-вчерашним все, чем живешь в эти последние часы зарубежной поездки. Сегодняшнее во всей его подлинности уйдет в зону воспоминаний, вызывая неизменно удивленное: «Неужто все это было?» Впрямь ли состоялся разговор, которому суждено начаться через пять минут в благополучно распахнувшей двери гостиничном номере, где на невысокой решетчатой подставке лежит обшарпанный чемодан, на столе беспорядочно перемешаны бумаги, журналы, чьи-то визитные карточки, а стена украшена трогательной розовой акварелью? Номер тоже уплывет в область забываемого, сольется с другими, где кровать стояла не справа, как здесь, а слева, на стене вместо наивного закатного пейзажика красовался черно-белый эстамп с яблоками и астрами, и ты будешь силиться отделить в памяти

этот гостиничный номер от его бесчисленных двойников. Будешь. Потому что предстоящий разговор не из тех, какие забываются после завершения.

Преодолевая первую скованность, мучения со словом «пожалуйста», беря за все это реванш, парень говорил быстро и запальчиво. Был он баскетбольного роста, темноглаз, смугл, курнос. Бакенбарды смягчали резкий контур подбородка. Даже я, привыкший к языковому коктейлю и сам грешивший приверженностью к нему, не представлял себе такой смеси польского и русского. С трудом и напряжением удалось понять: гостю крайне важно объясниться со мной. Но и мне столь же необходимо отвести с ним душу. То и другое в высшей степени серьезно.

Приглашая его садиться, я тоскливо думал: откуда у молодых людей берется подобная уверенность в том, что нужно кому-то другому. Долговязый хиппи — не такое уж исключение. Стоит вспомнить хотя бы письма Жоры, сына Георгия Егоровича.

— Будьте добры, говорите по-польски. Не пойму — переспрошу.

— Нет, — с вызовом возразил он, — нет, только по-русски, по-русски.

Быстро оглядел номер, задержался на безобидной акварельке над широкой кроватью.

— Иезус, Мария, господин бог, какое говно!

И пустился в гневные рассуждения: почему в гостинице, где останавливаются иностранцы, надо вывешивать позорное, изжившее себя малярство, когда имеются новочестные, современные шедевры...

Я уразумел примерно половину его филиппики. Ее было вполне достаточно.

— Полагаю, мой молодой гость не является дизайнером-инспектором польских отелей?

Он перевел взгляд с акварельки на меня и расхохотался. По-молодому залиvisto, не стесняясь булькающего клекота.

— Мое имя — Ян, — опустившись на диванчик, бросил он. Прикинув про себя, добавил: — Янек. — Помолчав, произнес: — Ваня.

— Выбирайте, Ян, кока или минеральная?

Он склонился на бутылки, стоявшие на подоконнике, и высказался в том смысле, что ему безразлично. К заверше-

нию наших переговоров обе «бутылёчки» — руку на отсечение — будут пусты.

Янек дымил зловонным «Спортом» — дешевле в Польше, кажется, только сигареты «Клубовы» — и как ни в чем не бывало прихлебывал из стаканчика пузырившуюся минеральную воду.

— Не есть нахал, хотяж вы так себе мыслите.

Правда, я немножко «так себе мыслил», «хотяж» не исключал обычной бравады, маскирующей смущение.

Парню было безразлично, как он сейчас выглядит, и мне это нравилось, примиряло с ним.

Разговор кружился по довольно бессмысленной орбите, куда Ян, энергично погасив сигарету, с видом человека, принявшего решение, не назвал, с явным нажимом, свою фамилию.

Ординарно шипевшая польская фамилия мне ничего не сказала. В этом я признался, не чувствуя за собой вины.

Он обиженно умолк.

— Мне должна быть известна ваша фамилия?

— Мало шанса. То фамилия — мамы.

Поверив, что я впрямь не знаю фамилии, Янек присокупил: вот когда бы он назвал фамилию отца, пан так бы подскочил — пробил головой потолок.

— Заверяю вас — потолок останется в целости. В «Европейской» он достаточно высок.

Не за потолок он беспокоился. Отцовская фамилия и составляла, видимо, причину визита, ожидания в коридоре. Приход — теперь я чувствовал — дался ему нелегко. Мне сообщилось его волнение.

В первый миг и сейчас снова почудилось, будто где-то когда-то я видел эту молодую физиономию, даже не физиономию — лишь профиль. Ничего удивительного. Кого только не встретишь в купе поезда, в автобусе, за столиком кафе, у газетного киоска, у билетной кассы, стойки аэропорта. Память охотнее всего коллекционирует лица, для нее это, вероятно, менее обременительно, нежели иная информация. И менее обязывающе: кажется, виделись, вроде бы встречались...

— Мы нигды не споткались, не встречались, — Ян угадал мою мысль и обрубил ее.

Он опять курил и между глубокими затяжками прихлебывал минеральную воду. Беседа давалась ему туго. Не из-за волапюка, от которого не желал отступить. Подозре-

ваю, он нарочно за него цеплялся. Было выгодно, чтобы я натужно докапывался до смысла его реплик и фраз. Мне трудно? — видимо, рассуждал он. — Пусть и тебе не будет легко. Но все равно — мы оба чувствовали — у меня преимущества. Еще не выявившиеся, правда. Однако уже ощутимые. Не я — он ждет каких-то разъяснений, нуждается в ответах.

Но преимущество преимуществом, а волнение не отпускает. Ни в какую.

— Простите, Ян. По-русски говорят: ближе к делу. Так-то оно будет лучше для нас обоих.

Он встает, нависает надо мной:

— Почему вас интересовал госпиталь в Ивониче Здруе? Почему через столько лет после войны вы приехали в эту местность?

Оба вопроса задаются по-польски. Они в пределах мне доступного. Я отвечаю по-русски, внятно и медленно.

Он слушал и на его молодом, покрытом растительностью лице читалось вежливое разочарование. Все эти общие соображения — гуманизм и тому подобное — он старается не переступить рамки корректности — ему, в переводе на русский, до фени. Пускай двадцать лет, но звонкими словами он сыт по горло. Чтобы не оставалось сомнений, Ян проводит указательным пальцем по кадыку. Однако и в национализме его не следует подозревать. Патриотизм? Верен афоризм англичан: это — последнее прибежище негодяя.

Кавалерийским натиском покончено с высокими понятиями. Однако торжествующую усмешку сменяет угрюмая сосредоточенность.

— Других причин у вас не было? Личных побуждений, импульсов?

— Как вам сказать, — мнусь я, выливая себе в стакан остатки минеральной. — Всегда ли можно установить, общие мотивы, личные?

— Можно. Всегда, — резко, наотмашь Янек рубит воздух. — Смягчая напор, просит: — Интересно, когда шло от вас или от какого-то человека?

— Ну, был человек. В войну находился в этом госпитале. Мой однополчанин.

— Так, так, — подхлестывает Янек. — Почему не приехал с вами?

— Почему? — переспрашиваю я. — Почему? Он умер.

Ян застывает. Опущена голова, губа прикушена, прикрыты глаза.

Я теряюсь.

Он стремительно проходит в ванную. До меня доносится шипение водопроводной струи, пущенной на всю мощь.

Ян появляется с мокрыми, слипшимися волосами, носовым платком вытирает лицо. Плюхается в низкое кресло, не спеша достает из нагрудного кармана жеваную пачку «Спорта», из заднего кармана джинсов — зажигалку. Открывает бутылочку «кока-колы», наливает в свой стакан. Меня словно и нет.

— То мой отец,— произносит он, отчетливо выговаривая слова. Будто многократно повторял их про себя.

Мы сидим друг против друга в коротконогих креслах с предупредительно выгнутыми спинками. Два человека, разделенные возрастом, языком, прошлым и настоящим. Чужие, в сущности, люди. Ничем не связанные.

Связанные. Накрепко.

Через день. Или через месяц, быть может, связь оборвется. Но сейчас — родственно близки. Бывает такое: неожиданная встреча, мимолетный разговор, общее молчание. Нет ничего в сию секунду сильнее. Кто не испытал на себе власть этой заведомо недолгой близости!

Да, я и о ночи, наступившей следом за «таким днем». Но не только о ней. О благословенной прихоти, что в суматохе и суетлоке спасительно сводит людей на минуты, часы, короткие дни, быстролетные ночи. Для обрывающегося на полуслове разговора, для рукопожатия, объятия, взгляда...

Пусть каждый вспомнит, скольким он обязан таким встречам, негаданным и нечаянным. Не замахвающимся даже на строчку в биографии, на твердо сохранившуюся дату. Но что без них наша жизнь...

«Так-то, сынок»,— говорю я про себя, дивясь своей нежности и чувству сострадания.

Мы связаны человеком, которого уже нет.

О том, что его нет, нет отца, сын услышал от меня в гостиничном номере, где на стене висит акварельный пейзажик, над разбросанными бумагами изогнулась настольная

лампа, в углу на невысокой подставке покоится обшарпанный чемодан. Приют для ночлега, телефонных звонков, недолгих встреч, для писания коротких открыток, для отдыха, не снимая одежды (ослабить галстук и брючный ремень). Перевалочный пункт. Казенное прибежище праздных туристов и деловитых командированных. Ключ с пластмассовой биркой, на которой сплющенное «е», стократно передающийся из рук в руки.

Не здесь бы вести такие разговоры.

Но именно здесь они часто и ведутся.

Ни одним стенам не доверено столько тайн, сколько гостиничным.

Это — тайна?

«Да»,— говорю я про себя, не совсем еще понимая, почему, чья.

«Так»,— сумрачно кивает мне парень, утонувший в кресле; его ноги уходят под стол, пыльные туфли красуются в середине комнаты.

Разговор сумбурен, польские слова перемешаны с русскими. Вопросы сталкиваются, то высекая ответы, то рождая очередное недоумение...

Сегодня это уже прошлое: гостиничный номер с капризным замком, наивной акварелькой, с алюминиевой лампой, бумагами, распахнутым желтым чемоданом, пепельницей, полной давленных окурков, смятым одеялом (я сбросил полуботинки и перебрался на кровать).

Пытаюсь систематизировать хаотичный диалог.

Я спрашивал, как они познакомились, его отец и мать. Он нетерпеливо перебивал: когда умер отец?

Я называл месяц, он требовал число и возмущался моим неведением. Почему так называется цментаж: «Ваганьковское кладбище»?

Они встретились во Львове, в сорок пятом. Советский офицер-инвалид, покинувший на костылях госпиталь, и юная поляка, собиравшаяся стать учительницей, пока что подрабатывающая шитьем.

Вырванные страницы дневника укрыли эту любовь от

чужих глаз. Подробности неведомы, многое останется неизвестным. Кроме одного: любовь сохранилась.

После войны большинство поляков из Львова, из городов, деревень Западной Украины и Западной Белоруссии отправились в Польшу. Но не все, не все ведь?

— Моя мама — полька!

— Вы смеялись над патриотизмом.

— То не патриотизм слепого идиота. То... то... отчизна, земля отцов.

При столь жесткой последовательности спорить бессмысленно.

Она, рассказывает сын, вернулась в Варшаву, кончила факультет славянской филологии. Вышла замуж за архитектора. Преподает русский язык.

— А он, отец мой? — спрашивает Янек.

— Стал отцом вашего брата.

— Кто есть мой брат?

— Советский офицер.

Янек присвистнул.

— Где живет?

— На Курильских островах.

— Ледовитое море?

— Нет, Тихий океан.

Он снова присвистнул.

Его мать овдовела в пятьдесят пятом году. Осталась с дочкой, трехлетней Эльжуней.

— Сестра — прима, — щелкнул пальцами, — экстра...

Они были с сестрой друзьями. Пока один плешистый идиот не сделался мужем Эльжуни. С ума сойти... Не такой, наравду, идиот. Но без него было лучше. Из-за него Эльжуня родила дочку, которая, кажется, дороже брата...

А сам-то он как, когда родился?

— Пан не ест атеистом? Пан веже в... Як то по-российску? Вада — порок...

— Непорочное зачатъе? Не верю.

— Може, пан напшетивку туристики мендзународовой?

Он предполагал, будто исковерканный польский мне доступнее.

— Туристка так сближает людей — даже рождаются новые люди...

Он приставил указательный палец к груди и без шуточек, ужимок рассказал, как они, его родители, встретились летом пятьдесят восьмого. Отец помнил довоенный адрес,

дом, откуда мама и бабушка ушли сентябрьской ночью тридцать девятого года... Адрес сменился, они уже не жили на Сѣнной, но отец нашел.

— Мама кохала тылько своего Юрка! — вырвалось у него с болью, с восхищением.

Я не сразу сообразил: ну, да, Георгий — Юрий — Ежи — Юрек.

Получалось, любила со дня знакомства и поныне.

Жалела, что не осталась во Львове и не вышла за него замуж?

Об этом речь никогда не велась. Мама сама определяла разрешенные темы и накладывала вето на остальные. Сын не смел ни о чем спрашивать.

Лишь год назад Яну стало известно: у него и Эльжуни разные отцы, человек, чью фамилию он носит, умер задолго до его рождения. Узнав об этом, Ян взял фамилию матери и мечтал увидеть своего настоящего отца. Мать внушила великое к нему уважение.

— Я его никогда не увижу. Никогда... Кошмарное слово: никогда.

Он стиснул опущенную голову, повторяя «кошмарное слово».

Сообщили отцу о его появлении на свет?

Нет. Вначале отец писал большие письма, но мама не отвечала. У него в Москве была семья, жена.

Была, да сплыла.

Янек вскинулся, услышав, что отец развелся с женой.

— Пан мысле... вы думаете... он любил мою маму, как она его? Да?

— Да,— неколебимо ответил я.

— То... хорошо, очень хорошо...

— Как вы узнали о моем приезде?

Узнал вовсе не он — мама. В воскресенье, 28 октября, они слышали по радио мое интервью. Я действительно дал такое в Жешуве.

Мама никогда не забывала про госпиталь где-то в лесу под Кросно. Во время войны там лечился отец. Но ему оставалось неизвестно место, имена врачей. Даже в пятьдесят восьмом году сохранялась эта неизвестность. Потом, уже не так давно, в Жешуве вышла книжка, в ней репортаж...

Его не очень привлекают сентиментальные воспоминания. Он не видит проблемы в том, что доктора спасали раненых.

— В чем проблема?

— Для мне? Отец — проблема номер один. Его лос... судьба.

— Госпиталь — тоже его судьба.

— Не понимаю.

— Хотя бы потому, что, благодаря госпиталю, он остался жив и стал вашим отцом. Стал тем, кем был.

— Не догадывался, что в Варшаве имеет сына.

— В том не виноват.

— Ну, — не слишком охотно согласился Ян. — Могло ли быть по-другому? Чтобы все мы жили вместе? Много русских женятся на поляках. И наоборот.

Эти вопросы он берег для отца и теперь запальчиво обрушил на меня. Мне отвечать: однополчанин, дружили всю жизнь.

— Янек, — осторожно вставил, — мы фактически незнакомы. Последний раз виделись в сорок четвертом году...

Он вскочил, ошалело уставился на меня.

Придя в себя, заговорил быстро, напористо.

Я не должен встречаться с мамой. Я вовсе не друг отца... Не ради него приехал... Он вообще терпеть не может литераторов... Пусть мама не знает о смерти своего Юрка...

Выкрикивал еще что-то. Но меня это не обижало, почти не задевало. Я уже решил, как заткну фонтан.

Он продолжал затравленно метаться по номеру. Не обращая на него внимания, я склонился над раскрытым чемоданом, сунул руку на дно.

— Держите. Это — вам.

— Что? Что мне? Простите...

— Одна, вторая, третья, — я выкладывал на стол тетради.

— Что это есть?

Я отодвинул бумаги, пепельницу, пустые бутылки и продолжал бросать на стол тетради. Мятые, замызганные, с погнувшимися переплетами.

— Дневники вашего отца.

— Но я...

— Прочтете. Не спеша. Со словариком. Там есть над чем подумать. Имеются проблемы.

Янек растерянно перекидывал тетради.

— Потом вернуть пану почтой?

— Нет. Они принадлежат вам. Сыну, который теперь узнаёт отца. Принимайте. Уже миновало свыше полугода со дня смерти. Вступайте в права наследования...

Он наугад открыл одну. Шевеля губами, прочитал несколько слов.

— Спасибо.

— Не за что.

— Мы не увидимся больше?

— Как знать. Кончите свою политехнику, приедете в Москву практиковаться. Или через «Orbis», — туризм сближает народы.

— Я сказал: сближает людей...

Передо мной, смущенно, растерянно улыбаясь, высился молодой человек восьмидесятых годов XX века. К груди он прижимал старые, истрепанные тетради с записями, начатыми в середине сороковых...

Ивонич Здруй — Москва
1979—1986

СОДЕРЖАНИЕ

ОТКРЫТЫЙ ФЛАНГ	5
ВОЗВРАЩЕНИЕ	133
ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	231

В. Кардин

(Эмиль Владимирович Кардин)

ОТКРЫТЫЙ ФЛАНГ

Редактор

И. А. НИКОЛЕНКО

Художественный редактор

Е. Ф. КАПУСТИН

Технический редактор

И. М. МИНСКАЯ

Корректор

Т. В. МАЛЫШЕВА

ИБ № 6823

Сдано в набор 26.05.88. Подписано к печати 03.02.89. А 05420. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага кн. журн. Журнальная рубленая гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 17,64. Уч.-изд. л. 18,70. Тираж 100 000 экз. Заказ № 384. Цена 1 р. 50 к. Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11. Тульская типография Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли, 300600, г. Тула, проспект Ленина, 109

Кардин В.
К 21 **Открытый фланг: Документальные повести.— М.: Советский писатель, 1989.— 336 с.**

ISBN 5—265—00564—1

Документальные повести, составляющие книгу, объединены фронтовой судьбой писателя, судьбами его однополчан — участников освобождения от гитлеровцев родной земли и Польши. Эти судьбы получают подчас самое неожиданное развитие.

4702010201—097
К **59—89**
083(02)—89

ББК 84 Р7